



НОМИНАНТЫ

ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ



НОМИНАНТЫ ПАТРИАРШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

Герои Людиновского подполья
в годы Великой Отечественной войны



Издательство
Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Москва 2012

УДК 242
ББК 86 372
Б306

Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 12-213-1264

Бахревский В. А.

Б306 **Непобежденные: Герои Людиновского подполья в годы Великой Отечественной войны.** — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 464 с. (Номинанты Патриаршей литературной премии.)

В. А. Бахревский, лауреат Пушкинской премии, номинант Патриаршей литературной премии — 2012, автор более 50 произведений, посвятил эту книгу героям Людиновского подполья, действовавшего в годы Великой Отечественной войны на Калужской земле. Партизанское движение там зародилось сразу после начала немецкой оккупации края осенью 1941 года и просуществовало вплоть до 1943 года. Ключевыми фигурами его были Алексей Шумавцов и священник Викторин Зарецкий. Но если о подвиге Алексея Шумавцова знала вся страна, то о протоиерее Викторине по понятным причинам не говорили. Но прошли те времена, и сегодня мы имеем возможность ознакомиться с историей непростого жизненного пути священника Русской Православной Церкви, который лишь в 2007 году был посмертно награжден медалью «За отвагу». Его подвиг служит для нас добрым примером того, как можно в своей жизни сочетать любовь к Богу с любовью к своему Отечеству, а значит, и к ближнему.

© Издательство Московской
Патриархии Русской
Православной Церкви, 2012
© Бахревский В. А., 2012

ISBN 978-5-88017-303-7

Слово к читателю

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от славного Дня Победы, когда в мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война и был повергнут, казалось бы, непобедимый враг — фашистская Германия. Тогда в дома миллионов людей по всей Земле пришли мир и спокойствие. Но чтобы достичь этого, нашим народом была принесена неоценимая жертва — десятки миллионов людей отдали свои жизни, боль и страдания вошли в каждую семью, но ничто не смогло заставить людей отказаться от любви к Богу и Родине. Люди разного сословия, в том числе и священнослужители, которые пережили репрессии, со дня объявления войны шли защищать свой дом, свои святыни, свою веру. Шли на верную смерть, воплощая в жизнь слова Христа: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13). И наш долг — помнить этот подвиг любви, передавая молодому поколению те героические события Великой Отечественной войны, из которых складывалась общая победа.

Ярким примером такого подвига любви к Родине является деятельность Людиновского подполья, одной из ключевых фигур которого был настоятель Свято-Лазаревского храма г. Людиново протоиерей Викторин Зарецкий. О его подвиге в советское время по политическим мотивам не говорили, и имя его не указывалось в учебниках истории, так как в коммунистической идеологии тех лет понятия «священнослужитель» и «герой» являлись несовместимыми. Но прошли те времена,

и сегодня мы имеем возможность с помощью этой книги ознакомиться с историей непростого жизненного пути священника Русской Православной Церкви, его семьи, близких и знакомых, которые ценой собственной жизни, не жалея ни сил, ни здоровья, помогали партизанам в нелегкой борьбе с немецкими захватчиками. Для примера можно привести свидетельство руководителя Людиновского подполья — В. И. Золотухина, который писал: «...если очень коротко, то мы получали от отца Викторина всю информацию упреждающего характера о проведении карательных экспедиций против партизан и партизанских семей с участием полицейских; приметах засылаемых в партизанский отряд вражеских агентов...» Благодаря этому были спасены жизни многих людей ценой ежедневного риска для жизни самого отца Викторина и всех его родных.

Пусть же подвиг протоиерея Викторина Зарецкого послужит для нас добрым примером того, как необходимо в своей жизни сочетать любовь к Богу с любовью к своему Отечеству, а значит, и ближнему, ведь мы знаем, что без последнего невозможно и первое, потому как *кто говорит, «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец»* (1 Ин. 4, 20).

Так будем же жить по правде Божией, ибо Бог есть *путь и истина и жизнь!* (Ин. 14, 6).

Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский
КЛИМЕНТ

Людиновский батюшка

Отец Викторин поднимал и поднимал голову, и сосны от его восхищения все подрастали и подрастали, и, чтобы увидеть вершины, голову пришлось запрокинуть.

— Господи, чудо!

Всё в Людинове чудо: озеро Ломпадь, река Неполоть. Сколько красоты и тайны в этих словах, в этой музыке звуков: Не-по-лоть! Лом-падь! Но самое-то самое — люди, как счастье.

В людях Людинова жива детская вера в торжество правды, потому и Богом любимы. Город мастеров. Испокон века творят людиновские мастера могущество русское. Русское умение в сметливости, в даровитых руках. Ну, а про лес один сказ: Брынский.

Между колеями дороги, проселочной, для телег, — свечи цветущего подорожника, ромашка-простушка, тысячелистник. Уж такой обычный, но ведь — изумление!

Земля — подзол, да не серый — в позолоте. От солнца? Скорее всего — это отсветы сосен. И — огромное, зеленое!.. Государь лес. По нынешним временам — товарищ. Брынский товарищ лес.

Батюшка, взглядывая на сосны, торопливо раздвигал треногу старенького этюдника, приготовлял тюбики красок, палитру, кисти. А сам все

посматривал на сосны, словно золотая застава витязей могла исчезнуть.

Принялся писать зеленое. Глазами радовался: то, что именуется «зеленое», посложнее радуги. Он это видел. Ивы, наклонившиеся над ручьем, — одно, лапы сосен, трава на пригорке — иное. А мох? Ах, какое это зеленое! Столбики одуванчиков, лишайники на камне — зеленые, но разница-то сколь велика! Самостоятельные цвета. А тона кроны березы, дуба! А полутона!

Даже сердце заболело. Привычно заболело. С детства знакомой болью. Врожденный порок.

«Уймись!» — сказал себе отец Викторин.

Нелепо разболеться, растрогавшись красотой земли и огорчившись скудостью мастерства: как, с чем смешивать краски, чтобы получить нужное? Киргизы различают сорок лошадиных мастей, а какова зеленая палитра России?

На тебе! Все померкло. Серая наволока затянула солнце. Зеленое стало одноцветным.

Отец Викторин ударил кистью сверху вниз. Вот и сосна. Пока что не живая, не чудо. Но ждать солнца сегодня не приходится.

Принялся за вторую сосну. Со смирением. Темная кора снизу, а к вершине юное, нежно-золотое. Для неба места осталось совсем немного, но синева удалась. Пронзительная. Истинная.

И почувствовал — ноги не держат. Сколько простоял за этюдником — неведомо. Счастливые часов не наблюдают. Сел в траву, виновато глядя на этюд. Начал, покорный природе, и, как всегда, нафантазировал.

Провел ладонью по траве: гусиные лапки, клеверок...

Вспомнил: матушка положила в сумку бутылку молока и пирожки. Прочитал молитву. Молоко выпил единым духом — жажда одолела. Пирож-

ки матушкины! Рис, яйцо, мука... Но все это на молитве и любви.

Улыбнулся. Полина Антоновна — непослушание родительской воле. А греха нет. Выбор не по расчету, не здравостью ума — счастье! Их любовь Господь благословил.

Вчера, в воскресенье, приезжал из Огори добрый человек Григорий. Квартиру в его доме снимали. Когда отказывал в постое — плакал. Обложили Григория за сдачу попу половины избы налогом дичайшим. Будто в Зимнем дворце та квартира.

В Огори пришлось трижды менять хозяев. Прямых гонений на священство нынче нет, вот только крыши над головой лишают. Невдомек им, что над советской семьей изгаляются — у попа и попадьи паспорта с серпом и молотом.

Впрочем, велика ли напасть по квартирам мыкаться. Не на Соловках, чай, не в разлуке с семьей. С храмом Божиим, Господи, неразлучен!

Смотрел на сосны и уже не видел сосен.

Почему не посадили, не пытались превратить в соглядатая за батюшками, за паствой? Может быть, спохватились: сколько в стране священников осталось? Сколько их нынче в Орловской области?

Перед глазами возникло удивительно спокойное лицо батюшки Афанасия Нагибина. Ему ставили в вину церковную пропаганду среди детей. Просил бабушек петь с внуками стихиры и народные песни о Богородице, о святых угодниках.

— Расстрелян, — вырвалось вслух. — За попечение о детских душах. — И вздрогнул: дети поют молитвы и на его службах. Детское пение сродни пению птиц весной.

— Господи! Неужто большевикам не надобны совестливые люди? Совестливый народ?

Вера в Бога совесть человеческую в чистоте содержит.

Нечаянно пропущенные клубни на картофельном поле — вот что такое нынешнее священство.

И диво! Душа исполнилась прикосновения Духа Святого!

— «Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей. От конец земли к Тебе возвах, вегда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси. Яко был еси упование мое, столп крепости от лица вражия...»

В счастье облекся, в силу. И ужаснулся.

Из лесу по дороге шел человек. Слышал, конечно, молитву. Совсем юноша.

Высокий, худощавый. Лоб открытый, а по глазам не определишь, доброе ли несет в себе. Глаза спрятал за ресницами. Вдруг глянул. Быстро, цепко. Слышал. Донесет? Но молитву творил поп. Однако ж громко! За пределами церкви. А сие — пропаганда религии. Птицам проповедовал учение Христа? Соснам? В такие мелочи «особая тройка» вникать не станет.

Поравнявшись, прохожий склонил голову, осенил себя крестным знамением и, так и не подняв глаза, подался с дороги лугом, прочь.

Вскрутилось в груди отца Викторина. Не боль, не смута... Даже матушке Полине Антоновне объяснить бы не сумел странного чувства.

Матушка всякую перемену в жизни прозревает, как прозревает птица свою небесную дорогу.

Сердце услышал.

Советская власть о воспитании народа крепко печется. Соловками воспитывала, Беломорканалом. У нее даже тюрем нет — трудовые колонии.

Тоска объяла: «И во мне трус сидит. Этакый советский зайчишка».

Собирал этюдник, когда на дороге появились с корзинами, с лукошками женщины. Увидели батюшку, обрадовались. Под благословение пошли.

Благословил. А на краешке сознания горестное: этакое увидят, напишут куда надо.

«Куда надо!» — устоявшееся нынче словосочетание.

Могут посадить, могут закрыть храм.

Но женщины такие благодарные, такие домашние — семья. Приход! Легко стало на сердце.

В корзинах у всех грибы, в лукошках, в туюсках ягоды.

— Пришла пора белых! — старшая из женщин, Анастасия (он и фамилию помнил — Мартынова), поставила перед ним свою грибную удачу: — Бери, батюшка! Справные какие грибочки-то!

— Красота! — согласился отец Викторин. — Увы! Грибы мне противопоказаны. Для печени тяжелы.

Знал, Мартыновым грибы — подспорье, у них семеро по лавкам.

Подружка Анастасии, Татьяна Хотеева, подала в руки батюшки лукошко с малиной:

— Не откажите! Полина Антоновна варенья наварит.

У Хотеевой пять дочерей и сынок. Старшая дочь замужем, вторая — студентка. Младшей — лет десять, а последнему, сыну, седьмой годок.

Дом у Хотеевых большой, красивый. Глава семейства, Дмитрий Тимофеевич, на локомотивном заводе работает. Нужный производству человек.

— Спаси Бог! — принял ягоды.

— Батюшка! Никак не запомню, ты по четным дням служишь али по нечетным? — Лицо Лукерьи Софроновой — святая простота, а вопрос ужасный.

Второй священник храма — отец Николай Кольцов, из местных. Архиерей перевел протоиерея Викторина из Огори в Людиново ради повышения. Отец Николай в ту пору служил диаконом. Это было в 34-м, а в 37-м грянуло судилище над церковно-кулацкой группировкой тринадцати.

Мужчинам, их было девять, — расстрел, четверем женщинам — десять лет лагерей...

Диакона Николая облекли в священнический сан, и уже через малое время пошло в жизни Свято-Лазаревского храма нестроение.

Невежество нового иерея отец Викторин терпел, но что поделаешь с народом? На службах отца Николая в храме пусто.

— Добрые вы мои прихожане! — Отец Викторин поклонился женщинам. — Церковь — дом Божий, нехорошо, когда в нем мало прихожан.

Женщины согласно кивали головами, а Мартынова за всех сказала:

— С тобой, батюшка, покойней. С тобой, батюшка, легче день дожить и завтрашнему дню порадоваться.

Вступать в спор, упрашивать?..

Погрустнел отец Викторин, и тут явно городская приезжая, потому-то, знать, во всем деревенском, задала вопросец:

— Батюшка, война будет?

Ответил строго:

— На дворе мир. Радуйтесь миру.

— Забудь про войну, и война тебя забудет! — зыркнула глазами на молодуху умница Хотеева.

— Батюшка, а ты в прошлое воскресенье пришлых крестил. Из Огори к тебе приезжали! — опять спроста брякнула Лукерья.

— По старой памяти.

— В Огори церковь-то не закрыли?

— Служат.

Женщины торкали Лукерью: экие разговоры завела! Отец Николай письма на батюшку пишет, и ладно бы архиерею — властям. Всё-де не так у Викторина, всё против правил, против законных указаний. Чем больше пишет, тем меньше паствы видит. А где зависть, там и худо.

— Батюшка! — сказала Мартынова. — Батюшка, про войну мы знаем. «Если завтра война, если завтра в поход... побьем врага в его берлоге». Ты нам скажи главное, ты скажи, как все будет-то? Мы перемрем, батюшки состарятся... После нас-то без Бога будут жить? По своему разумению?

Отец Викторин засмеялся глазами, лицом — худым, болезненным — порозовел.

— С Богом в душе и с Богом в жизни будут жить внуки и правнуки, ибо сказано: «Услыши, Боже, глас мой... от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду». В истории всякое было. Храмы с землей выравнивали, целые народы становились рабами... Но когда вспоминали Бога, Бог приходил и спасал.

— А нас подавно спасет! — обрадовалась Мартынова. — Россия от века православная.

Попрощался отец Викторин с женщинами, к себе пошел, а навстречу — отец Николай. Воззрился на лукошко с малиной. Так воззрился, что забыл на «здравствуй» свое «здравствуй» сказать.

Благословение

До восхода солнца начинал служить утреню отец Викторин.

От семисвечника света больше, чем от окон.

Один пред Богом. Слово в пустом храме тоже одинокое, ударяется, как птица, о стены, ищет... Человека, должно быть.

Очень уж рано. Лазаревская церковь — кладбищенская, на краю Людинова. Старым далеко, а кто не стар, досыпают сладкие минуты перед заводскими гудками.

И матушки нет. Отправилась вчера в Пиневици — Олимпиаду перевозить. Подводу в Людинове

нашли. Дал Бог Олимпиаде ума, красоты и уж очень много сердца. Обрела себя на жизнь старой девы. Хранила покой родителя и родительницы. Отец Александр преставился в 33-м году, теперь и матушка отошла к Богу, а дом, где половина жизни прожита, казенный. Олимпиада переезжала к брату. Профессия у нее востребованная, будет работать в людиновской больнице хирургической сестрой.

Все это в голове отца Викторина промельком; суетная обида царапает по сердцу. Протоиерей, восьмое поколение священников Зарецких и колокольный дворянин! Без кола, без двора. Собственности: крест, ряса и грехи. Прочь, суета! Прочь!

И услышал с клироса слова тринадцатого псалма: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог».

Будто время остановилось.

Спиною чувствовал огромное. Это огромное — всего лишь воздух. Но в воздухе, как на иконе Спаса, проступают лики: отец, сонм Зарецких. Людиновские священники: Петр Казанский, Афанасий Нагибин, псаломщик Алексей Бондарев, колчинские батюшки Александр Кушневский, Сергей Рождественский, из Курганья отец Петр Куликов, отец Николай Воскресенский. Сукремльский батюшка Георгий Булгаков. Все расстреляны, все страстотерпцы. А лики-то — стеною. Да что стеною — морем! Горем-морем. Он, настоятель Лазаревской церквушечки, на дне этого моря. Лики причтов всей земли Русской. Господи! Всех приходов! Всей братии и всего сестричества монастырского. И через море бескрайнее — лик Святейшего Патриарха Тихона. Воистину отца, человека русского.

Батюшка Викторин в изнеможении опустился на колени, пал на лицо свое:

— Господи! Изыми душу народа русского из бездны.

Бог ведает, какими жизнями оплачена русская правда, вера родная, православная.

Собрался с силами, закончил службу, поднял крест для целования. И от двери к амвону, постукивая посохом, направился кладбищенский сторож, пришел-таки на службу.

Из храма вместе выходили.

— Не горюй шибко-то! Без народа-де отслужил, — утешил батюшку Агафон Семенович. — Худого тоже не думай о Людинове! В тридцатом году Людиново явило Богу свою любовь. В Казанском храме каждую ночь по дюжине человек затворялись. Комиссар Башкиров зверей Ленина на баб наших напустил. Латышские стрелки, слышал? Ткнуть штыком в живот беременной бабе зверью этому — как за ухом почесать. Вот, погляди — на!

Вытряхнул на ладонь ладанку. В ладанке Людиновская икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих». Два дюйма на два.

— Эти малые иконки были сделаны для хрустальной трости Сергея Ивановича Мальцова. В трость собрали все лучшее, что произведено на его заводах. В Дятькове в Преображенском соборе иконостас был хрустальный и у нас, в Казанском.

— Где же все это? — вырвалось у отца Викторина.

— Поколотили... Ребятишки череп генерала, Сергея Ивановича, вместо мяча гоняли.

— И все это утрачено? — Батюшка держал в руках хрустали, как птенцов живых.

— Много чего утрачено! — Сторож принялся заворачивать в тряпицы хрустали, прятать в посох. — Над Царскими воротами благословляла народ «Тайная вечеря». Говорили, Леонардо своей рукой рисовал.

— Леонардо да Винчи?!

— Кто его знает! Мальцов, однако, великие деньги за икону пожертвовал. Большая икона до сих пор в Милане, а малая — Людиновская.

— Где же она?! Агафон Семенович!

Старик дал посох бабушке, глаза утер обеими ладонями:

— Латышский стрелок не поленился, полез, финкой вырезал «Вечерю» из рамы, своим кинул. — Из глаз сторожа мелким бисером сыпались слезинки. — Раздирали в клочья. Так волки добычу рвут, я это видел. И волков, и стрелков.

Отец Викторин взял старика за руку:

— Но разорванное... Ведь что-то могли подобрать.

Старик крутнул головой:

— Батя! Были бы красноармейцы русскими, бабы докричались бы до их совести... А чужие? Чужие, сам знаешь, над русским народом власть изгаляются... Все клочки сгребли и сожгли. Прямо в церкви. Иконы прикладами расшибали, кресты с куполов сорвали, колокола с колокольни уронили.

Сердце в груди отца Викторина росло и наполнило всю грудь.

— Агафон Семенович! Что-либо от хрустального иконостаса, хоть малость какую, уберегли?

Старик вдруг засмеялся:

— Звон хрустальный уцелел! До сих пор в ушах звенит. Штучек пять подвесок от пятиярусного паникадила имеется. Внучата мои солнышко хрустальными ловят.

— Не понимаю! Я не понимаю! — Отец Викторин всплескивал руками, как птица крыльями. — Уничтожили иконы, кресты... Но часы с боем? Люстры? Паникадила — это те же люстры!

— Четыре! Их было четыре в Казанском! — Сторож перекрестился. — Красота — она тоже Божия. Потому и ненавистна. Попомни мое слово, бабуш-

ка! Все, что есть красота, заменят на безобразную погань.

Стояли, молчали. И вздрогнули разом. Тишина вздрогнула. Над Людиновом поплыли гудки заводов — локобельного и Сукремльскаго чугунолитейнаго.

Сукремль к своим железным делам звал густо, по-богатырски. Побудка локобельного была схожа с паровозными кликами. Паровозы в дорогу зовут, в дальние дали.

— Люблю это время, — сказал отец Викторин. — Когда народ на работу идет — Россию видишь.

— Да, это конечно! Вся Россия руки-то свои несет дело делать! — Сторож, смеясь глазами, смотрел, как легко взбегает отец Викторин на колокольню. На вид суровый, болезненный, но до чего же радостный человек!

Отец Викторин благословлял людей и город на труды. Для властей нынешних молитва и крест — мракобесие. Да Господь Бог Россию не оставит.

С колокольни народа не видно, а вот судьба его как на ладони. Где сходятся границы, там волна волну бьет. В здешнем краю мало двух — три границы сходились: Литвы, Московии, Черниговскаго княжества.

К Владимиру Красному Солнышку в пресветлый Киев из города своего, из Мурома, богатырь Илья ехал дебрями Брынскаго леса, скорей всего, через Людиново, и наехал на Соловья-разбойника.

Былины русские упираются в княжескую междоусобицу, но Бог послал на Маковец Сергия Радонежскаго, и срослось по святой молитве разрубленное на части тело Великой Руси. Вот только народу не пришлось передохнуть.

В Петербурге Петр, в Людинове — Демидов. При Петре железо кнутом добывали, из жил народа.

Руда «манинка», копанная для заводов Демидова в Людинове, слезами вымочена.

О петровском крепостничестве, о зверствах Демидова да Мальцова отец Викторин многое слышал от местных жителей. Людиново с окрестностями больше двух веков — царство рабочего народа. Железо и чугун, стекло и фаянс, паровозы и пароходы, локомобили, рельсы, чугунное литье: цветы, решетки, чаши, персидские кувшины, камины... Все это — деяния генерала Мальцова Сергея Ивановича, его преемника Нечаева-Мальцова. Нечаев Музей изящных искусств в Москве построил.

А с народом было все то же. Сергей Иванович отечески призывал пороть сыромятными ремнями по пяти, по шести мастеровых ежедневно. Для вразумления и чтоб не шалили. Того, кто норму не выполнил, тоже пороли. За малое прилежание и ради будущих успехов.

Успехи были изумительные. Гостям давали мирового качества английский напильник и кусок железа из «манинки». Стирался напильник.

Было царство рабочих, теперь — Союз Социалистических Республик, Страна серпа и молота.

Батюшка обнял молчащий колокол, крест поцеловал:

— Господи! Помилуй народ-дитя! Ты же любишь детей, Господи!

Сошел с колокольни лицом ласковый, но глазами далекий. Агафон Семенович ждал батюшку.

— Не даю тебе сокровища хрустального, отец Викторин, сам понимаешь почему. Коли будут снова брать священников и прихожан, о стороже в последнюю очередь вспомнят.

— Я понимаю, — согласился отец Викторин. — Очень, очень надеюсь: люди хранят иконы, сосуды, ризы. Время воскресения нашей церкви придет!

— Чтоб воскреснуть, сначала помереть надобно! — сказал сторож беспощадно.

Ушел.

Отец Викторин смотрел на его посох, на согбенную спину. И вдруг ужаснулся. Увидел Гефсиманский сад. Услышал в себе: «Душа Моя скорбит смертельно».

Душа и впрямь скорбела и стонала. А все ведь слава Богу. Все пока мирно и нестрашно.

Вечер семейного счастья

Олимпиада привезла из Пиневичей красного дерева буфет, аналой (в семье помнили: прапрадедовский, наследство колокольных дворян Зарецких) и две иконы.

Буфет поставили в столовой.

— Праздник! — захлопала в ладоши Нина. — С таким чудом в большой комнате у нас всякий день будет праздник.

Аналой занял главное место в батюшкиной келье. Иконы поставили на божницу.

— «Предвозвестительница!» — прочла надпись Нина. — Какая редкая икона...

— Афонская, — сказал батюшка. — «Предвозвестительница» прославлена в трех афонских монастырях. Иноков Зографской обители Она предупредила о пришедших с мечом и огнем латинянах, в Костамонитской чудесным образом наполнила кладовые припасами, а пустой кувшин — маслом для лампад. Но более всего меня поразил в детстве рассказ о царевне Плакидии. Царевна, нарушая монастырский указ, явилась в Ватопедскую обитель. Богородица спасла багрянородную пленницу от наказания смертью за гордыню. В юности я мучительно искал причину гибели нашего Царя и Царской семьи. Бог

наказал? Но за что? Народ русский ведь тоже наказан.

— О таком не следует вести разговоры! — сказала матушка Полина Антоновна.

— В детстве меня тоже пугала история царевны Плакидии, — призналась Олимпиада. — Я горевала об участи женщины. Почему даже непорочным девочкам, святым девам, святым матерям воспрещено молиться на Афонской Горе? Сердцем я и теперь не принимаю такого запрета.

— Про женщин я тебе вот что скажу. — Матушка встала рядом с Олимпиадой, смотрела на икону. — Не пускают на Святую Гору женщин поделом... Ты приходи на службу в нашу церковь. Бабки не столько молятся, сколько судачат о батюшках: отец Викторин уж очень-де печется о бородке своей, а вот отец Николай, как лесник, зарос. Углядели, что я дырочку на батюшкиной рясе заштопала.

Отец Викторин кашлянул:

— Помолимся. Нина все уже на стол поставила. Помолились. Сели.

— Батюшка, дочь-то у нас выросла.

— Восьмой закончила? — спросила тетушка.

— Восьмой. А я уже тревожусь: примут ли в институт? — Матушка вздохнула.

— По Конституции все равны. Лишенцев теперь нет. Это нам запрещено было учиться в вузах, детям попов... У твоей дочери, Полина Антоновна, даже красота умная.

Нина засмеялась:

— Это у меня от учительницы. Она меня школит, как в пансионе благородных девиц.

Полина Антоновна взглянула на отца Викторина.

— Мы как сюда из Огори переехали, стали Ниночку немецкому и французскому учить. Мадам Фивейская преподавала когда-то в гимназии. — И снова посмотрела на батюшку.

— Согласен, — улыбнулся глава семейства, — это все представляется нелепым. Рабочий городок Людиново, дочка попа, никакого тебе высшего общества, заграничных вояжей... Но знание языков являет собой уровень культуры. Нина свободно читает Гёте. А Гёте на немецком языке — это иное, чем Гёте, улучшенный переводчиками.

Матушка подложила Олимпиаде на тарелку Ниночкиной стряпни:

— Оцени, как она у нас готовит!

Нина, сердясь, глаза в потолок подняла:

— Наверное, так расхваливают невест перед родителями женихов.

Отец Викторин рассмеялся:

— Нина! Ты же наше единственное богатство, единственная радость. Потерпи. А лучше всего — почитай нам.

Обед был с кагором. Щечки у Нины разрумянились. Она не спорила, почитала Гёте, стихи Виктора Гюго. Впрочем, с некоторым умыслом. Чтобы досадить, выбрала стихотворения весьма простран-ные.

Не досадила. Французская речь, немецкая речь... Музыка, и какая разная!

Отец Викторин взял книгу, привезенную Олимпиадой.

— Я словно бы в пенатах батюшки и матушки. С детства испытываю трепет, когда в моих руках этот том. «Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. В двух томах. Санкт-Петербург. Книжный склад “Родины”, Литовская улица, собственный дом № 114. 1902 год». Все это было жизнью, у всего этого был адрес.

Открыл наугад.

— «Граф Габсбургский» (Из Шиллера). «Унди-на» (Старинная повесть из Ламот-Фуке). А вот и «Светлана»!

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...

— «К Нине»! Слушай, Ниночка:

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?

— Не надо! — запротестовала матушка.

— Хорошо. Будет вам «Фиалка»:

Не прекрасна ли фиалка?
Не прельщает ли собой?
Не амброзией ли дышит
Утром, расцветая весной?

То алеет, то бледнеет
Сей цветочек в красный день;
Сладкий дух свой изливает,
Кроясь в травке там, где тень.

Что же с нежною фиалкой,
Что же будет с ней, мой друг?
Ах, несчастная томится,
Сохнет и увянет вдруг...

— Ужасные стихи! — замахала руками Олимпиада.

— Но это — Жуковский!

— Я согласна на фиалку, которая прельщает, но зачем нам засохшая?

— Викторин, спой! — матушка улыбалась губами, а в глазах стояло давнее, дивное, в чем угадал он свое счастье.

Нина принесла гитару.

— Голубушка! А почему ты у нас не поешь? Почему гитары стало не слышно? В наше время

все пели, все играли. Чем увлечены твои сверстники?

— Играют, — усмехнулась Нина. — В футбол. Вот завтра будет сражение, улица на улицу.

— Футбол — это мужская битва, она занимает полтора часа. А что еще?..

— ОСОАВИАХИМ. Старшекласники в Жиздру ездят, с вышки прыгают. На парашюте...

Викторин Александрович ударил по струнам, запел:

Под душистою ветвью сирени
С ней сидел я над сонной рекой,
И, припав перед ней на колени,
Ее стан обвивал я рукой...

— Поля, а не забыла «Новые кирпичики»? И такое ведь пели.

Помню, как пошла я работницей
На помещичий двор, к господам,
Сколько зла от них испытала я,
Как страдала и мучалась там.
Но забил набат, наступил Октябрь,
И восстал угнетенный народ,
Сбросив рабства цепь, к быту новому
Он пошел неуклонно вперед.
С той поры моя изменилась жизнь.
Я узнала и счастье, и свет.
А на третий год меня выбрал сход
Кандидаткою в сельский Совет.

— Папа! Вы это пели? — вырвалось у Нины.

— Время пело. А жили мы все надеждами. Люди, голубушка, не столько живут, сколько надеются пожить. Потом, когда станет лучше.

Полюбил меня там селькор Андрей.
Полюбился он так же и мне.
Вот сошлись мы с ним, стали вместе жить
И трудиться на пользу стране.

После чаю сидели на крыльце. Пахло садовым табаком и рекой.

— Батюшка, ты хорошее спой! — попросила матушка.

Запел тотчас, тонко, чисто:

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина.
И на штыке у часового
Горит полночная луна.

И так это было прекрасно! И все было о непоправимом...

— Папа, еще! — Нина роняла слезы, не таясь. — Папа! Пожалуйста!

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди.

Они наплакались сладко, счастливые, любящие, благодарные редкому часу, случившемуся вдруг.

— Спасибо вам! — Отец Викторин поклонился своим женщинам. — Хочется что-то очень нужное сделать. Пойду приготовлюсь к проповеди. Знаю, чего ждут люди от своего пастыря.

Сражение на футбольном поле

Год и неделю ждали болельщики футбольной битвы: привокзальские-плекхановские на Шумавцова, скачковских.

Пацанье Красного Городка заняло единственную скамейку, но плехановские пришли с ухажерками. Вся команда в белых рубашках, брюки — в стрелочку. Галстуки до пупа! На ухажерок глаза поднять страшно. В шелковых чулках, тонюсеньких! Туфли на высоком каблуке. На трех барышнях крепдешиновые платья. Остальные тоже как невесты. Платья — на заводской клумбе таких цветов не найдешь.

— Нам все равно виднее будет! — сказали пацаны и полезли на деревья.

Можно было с бревен у больничного сарая болеть, но сарай чуть в стороне. Не то.

Кто на ногу быстрый, усаживались за воротами: мяч будут подавать вратарю.

Играть улица на улицу — обычное дело в Людинове. Но Шумавцов на плехановских — это матч! Поле размеченное, ворота с полосатыми штангами. В Москве «Динамо» — «Спартак», в Людинове команда Шумавцова и команда Митьки Иванова.

Иванов на часы уже два раза глядел. Со старой липы крикнули:

— Наши!

Шумавцов привел своих строем. В строю, как положено, двенадцать. Двенадцатый запасной.

С Митькой Ивановым и его причесанными быками команда Шумавцова поздоровалась издали, по-футбольному:

— Физкульт-привет!

— Будьте здоровенькими! — шутовски откликнулся дружок Иванова Медведь Доронин.

Привокзальские совсем уже мужики. У Доронина спина, как русская печь, Софронов с усами, Митька Иванов — интеллигент. В Брянске, в Лесном институте учится. Ему девятнадцать.

Рыбак Коликов, взрослый мужик, — великий знаток футбола — пожалел команду Шумавцова.

— В кости тонки, ребяташки. Подросточки.

Алешке Шумавцову шел пятнадцатый. В девятый перевели. Толяну Апатьеву и его двоюродному брату Витьке по шестнадцать. Миша Цурилин — Шумавцову одноклассник. Другой Цурилин, Сашка, совсем мальчишка, тринадцати нет.

— Пролетарии всех стран! — хмыкнул Доронин, тыча рукой в сторону команды противника.

Ребята Шумавцова раздевались за воротами. Трусы у всех разные. Майки застиранные, потерявшие цвет. А на привокзальных — форма! Голубые футболки с красными номерами. Трусы тоже голубые. Гетры голубые с красными полосами.

Но у ребят Шумавцова был заготовлен сюрприз. Майки скинули, а на спинах — полуметровые, выведенные сажей номера.

Шумавцов — «девятка». Центр нападения. Сашка Цурилин, пацанчик, — левый край: «одиннадцатый». Половина команды — босиком, в ботинках трое, трое — в тапочках. А у Митькиной команды только запасной без бутсов.

Зрители на деревьях заволновались:

— Чего у Шумавцова на левой?

— Вроде ничего...

— Договорились, что ли? С левой бить не будет?

О правой ноге спартаковца Старостина в Людинове знали. Старостин на правой носил красную повязку. Запретная была нога. Вратарей насмерть убивал.

Баски в ворота обезьяну поставили непробиваемую. Старостин со штрафного как дал! Обезьяна мяч поймала, но ее о штангу и всмятку.

Рыбак Коликов сказал снизу:

— У Шумавцова всё впереди, ему бы в ЦДКА, в юношескую. Левая у него золотая.

Левой ногой Шумавцова пацаны Красного Городка не зря интересовались. В прошлом году

большой спор получился. Шумавцов со штрафного снес верхнюю штангу. Штанга, может, и подгнила, но ведь держалась, покуда Алеша к мячу не приложился. Метров небось с двадцати!

Плехановские сегодня на полчаса раньше пришли. Вратарю постукали. Ногами помахали, руками. Разминка.

Митька снова поглядел на часы и вышел на середину поля.

По-футбольному поджав локти к бокам, выбежал на центр Шумавцов.

— Сговариваются! — объяснили друг другу болельщики, сидящие на деревьях.

Иванов пожал руку Алеше.

— Пора играть в настоящий футбол. Не до шести голов, а по времени. Тайм — сорок пять минут, перерыв — пятнадцать.

— Согласен! — обрадовался Шумавцов. — А часы?

— Часы есть, — Митька показал руку с часами.

— Судьи нет. Играть надо по совести, не заспаривать голы. По всей правде играть.

— По всей, — то ли согласился, то ли передразнил Иванов. — Часы отдаю девчатам. Объявят, когда время кончится.

Встреча плехановских на Шумавцова потому и редкая, что приходится Шумавцова ждать. Он приезжает в Людиново, когда учебный год заканчивается. С младенчества живет у дяди, у брата матери, — в Ивоте. Яков Алексеевич женат на учительнице Наталье Михайловне. Бездетные. Алеша стал их радостью. У него даже две фамилии. В Людинове он Шумавцов, а в Ивоте — Терехов. Комсомольский билет ему на Терехова выписали.

Барышня в кремовой блузке приняла от Митьки часы, поглядела на стрелки, подождала и махнула шелковым платочком.

— Начинай! — крикнул Иванов Шумавцову. —
Время пошло.

Алеша откинул мяч Шурке Лясоцкому. Лясоцкий рванулся мимо нападающих привокзальцев. Обвел Иванова, показал спину Цыганку и оказался перед Медведем. Подождал, когда Мишка двинется на него, перекрутился с мячом, оставил защитника позади себя, а на удар сил не осталось.

Вратарь поймал мяч играючи. Выбил на Иванова. Иванов — известный водила. Корпус влево — мяч вправо. Защитник раскорячился, глазами вдогонку хлопает. Второго защитника Иванов финтом на землю уложил. Вратарь выбежал на перехват, а Митьке это и надо — перекинул мяч через вратаря: один — ноль.

Деревья аж застонали и примолкли. Мальчишки уже через минуту подавали «нашему» вратарю второй пропущенный мяч. Дружок Митькин, Мишка Доронин — Медведь-битюг — проломил защиту и вколошматил мяч с трех шагов. Крепдешиновые девочки в ладоши захлопали, «браво» кричали. Будто футбол — это им опера.

— Спокойно! — сказал Шумавцов своим. — Апатьевы, играйте ближе к Лясоцкому.

Получилось. Втроем против одного защитника проскочили к штрафной площадке. Лясоцкий ударил, вратарь мяч отбил, но перед собой, в ноги Толяну. Апатьев для верности катнул мяч вперед, чтоб все было наверняка. И тут Доронин — до мяча ему было далеко, а ноги нападающего близко — снес Толяна, как сносят городошное «пулеметное гнездо». Мяч подхватил вратарь, выбил в поле.

— Нет! — Шумавцов поднял обе руки. — Это грубость. Штрафной удар. Пенальти.

Прибежал с мячом Иванов.

— Штрафной — согласен, но до ворот больше шестнадцати метров.

— Ты видишь, где Толян сидит?

— Он, падая, пробежал вперед.

Толян, кривя губами, поднялся.

— Вроде цел. Соглашайся. Они же сам знаешь какие.

Неправду девочки крепдешиновые видели. Но футбол — война.

— Сам ставь мяч, — сказал Шумавцов Митьке. — Чтоб без спору потом.

Мяч Иванов поставил на край штрафной, избегая прямого удара.

— Бью! — объявил Шумавцов.

Однако от мяча отошел. Разбежался, приложился, и мяч натянул висящий уныло бредень.

— Штука! — закричали с деревьев мальчишки за «нашими» воротами, прыгали не хуже козлят.

— Ребята, нажмем! — шлепал себя по груди Толян Апатьев.

В нападение побежали даже защитники. Доронин отнял мяч у Лясоцкого, дал пас Иванову, Иванов — Попову: три — один.

— Все! Хватит! — замахала руками барышня с часами. — Стрелки на двенадцати. Перерыв.

* * *

Иванов, непривычно конфузясь, объяснил своим легко дающуюся победу:

— В прошлом году было не очень заметно, но теперь все определилось. Они — пацанье. Мы за год стали мужчинами. Больше семи голов — не забивать!

Команда Шумавцова сидела на лужку за воротами, помалкивая.

Безнадежность гасила вражду. Ни те, кто сидел за правыми воротами, ни те, кто за левыми, не понимали, чего ради они бьются друг с другом, голами доказывая неведомую правоту.

Улица Привокзальная, теперь Плеханова, в Людинове для людей полезных и значительных. Мальцов строил здесь дома для инженеров, для мастеров. Теперь это чистая публика из «бывших», огородники. Живут, как на даче. Иные самогончику гонят. При царе Горохе здесь была Винокуровка.

Детки хозяев прежней жизни и теперь не пролетарии: тот же Шумавцов — сын замначальника, Толян Апатьев — начальника цеха; правда, вторых штанов у них, наверное, нет в помине. Нынешние начальники вкалывают не ради капитала. Им подавай счастливое будущее для всего народа.

Отец Иванова, когда время было другое, имел двадцать пять лошадей, полсотни коров, тридцать три десятины пахотной земли, две мельницы, магазин. Митька до второго класса яблочки кушал из своего сада. Сад был на треть версты. Всё отняли! Потому что Иван Иванович Иванов по социальному положению — форменный кулак. За это и отсидел восемь лет.

Ограбленные, имея семь душ детей, не подошли с голодухи. Работать умели.

На Плехановской дом купили. Иван Иванович, вернувшись, возчиком устроился. Чем не рабочий класс? Так нет. Энкавэдэшники пристроили рачительного человека, семьянина в заговор церковников. Расстреляли.

Не знал Шумавцов, гоня мяч, что Митька Иванов не силами мериться пришел на поле. Митька правду ищет. Митька за отца своего, убитого безвинно, мстит.

В перерыве так и не решили ничего ребята Шумавцова, но, когда переходили на другую сторону поля, менялись воротами, правый край — Фомин — сказал:

— Их надо хитростью взять. Я буду стоять на поле. Они про меня забудут, а вы мячик — мне. Я бью метко.

— Согласен! — Шумавцов быстро пошептался с Цурилиным Сашкой. — Меня двое стерегут. Мы Фомина оставим на концовку игры. На тебя большая надежда. Ты для них мелкота, внимания не обращают, не знают, как ты бегаешь. Пас получишь — лети к штрафной. Меня не ищи глазами. Сам забивай. На штрафной обязательно притормози, погляди, где вратарь. Замахивайся в одну сторону, но бей в другую. Обманно.

— Я обманно умею бить, — сказал Сашка.

Начали второй тайм, и уже через мгновение вратарь команды Шумавцова проводил мяч глазами. В его воротах сетки не было. Иванов искренне пожалел Шумавцова:

— Бывает! — а глаза смеются. Разгром, конец славы Шумавцова.

Плехановские принялись катать мяч, измываясь над слабаками: побегайте, как собачки.

Цурилин-старший яростно кинулся в ноги Митьке, мяч отскочил малолетке Рыбкину. Рыбкин побежал вперед, но оглянулся, остановился, пасанул назад Шумавцову. Шумавцов с края на край — младшему Цурилину.

Саша стоял один. Вокруг него пусто. Вратарь кинулся навстречу, а Саша — в сторону. И по пустым...

— Сократили! — крикнул своим Шумавцов и, пробегая мимо Сашки, распорядился: — Ты опять мчись по краю. Без мяча. Пасовать будем Лясоцкому.

Лясоцкий лез через защиту, его снесли. До ворот тридцать метров. Шумавцов поставил мяч и сразу ударил.

— «Девяточка»! — засвистели по-разбойничьи деревья.

— Тебе же везет! — Митька стоял перед Шумавцовым, кривя рот, покусывая нижнюю губу, еще через мгновение орал на своих: — Мяч! Мне мяч!

Пошел мотать мелюзгу, но запутался в своих же ногах. Лясоцкий дал пас Фомину, а тот махнул ногой мимо мяча. Митька засмеялся, пяткой катнул мяч своему инсайду Попову, но у Попова мяч срезался, лег в ноги Саше Цурилину. Того опять как из лука пустили, обогнал дылду Доронина, пыром протолкнул мяч между ногами вратаря. Тотчас же вратарский кулак въехал мальчишке в лицо.

— Я думал — мяч, а это голова! — похохатывая, придурился вратарь.

У Саши губы стали красными от крови. Пришлось поменять удаленного маленького на большого Евтеева. Евтеев — одноклассник Иванову, но в очках. Очки снял, и — беспомощный человек.

Шумавцов поставил мяч на отметку пендаля. Подошел Иванов, отбросил мяч в сторону.

— Гол забит. Два раза не наказывают за одно и то же нарушение. Вратаря, разумеется, можно выгнать, но у нас другого нет.

— Я думал — мяч, а это голова! — снова вытаращил бесстыжие глазищи плехановский голкипер.

— Заткнись! — приказал Иванов.

Заткнулся.

— Ладно! Играем дальше! — сказал своим Шумавцов. — Четыре — четыре.

— Давим! — Иванов руками позвал команду вперед и уже в следующий миг снес Лясоцкого.

— На испуг берут, — объяснил рыбак ребятам на деревьях.

Лясоцкий захромал, а штрафной — не опасный. Центр поля. Но сидящие на деревьях дружно закричали:

— Шумавцов! Бей с левой!

Плехановские даже стенку не поставили. Далеко до ворот.

Шумавцов постоял над мячом и начал отходить для разбега.

— Добежит до мяча, и дух вон! — громко хмыкнул Доронин.

Шумавцов начал разбег с подскока. Вратарь подставил под летящий снаряд ладони. Ладони обожгло, отбросило. Бредень, заменивший сетку, опутал мяч, как рыбу.

Иванов уже во все горло кричал на своих:

— Чумички! Мне! Мне!

Вел команду вперед, но с мячом не расставался. Митьку защитники окружили, мяч выцарапали, и старший Цурилин послал его всеми забытому Фомину.

Фомин обещание сдержал, забил.

— Время! — кричали с деревьев.

— Времени навалом! — Доронин погрозил кулаком, но не Шумавцову, не Фомину, а девушке с часами.

Та сидела на лавке пунцовая. Молчала. Стрелка прошла лишнего целых пять минут.

Вратарь плехановцев поймал мяч от головы Лясоцкого, кинул себе в ноги и не хуже Кандиды¹ погнался к воротам обидчиков.

Толян Апатьев пристроился к нему сбоку, ткнул мяч в сторону. Витька, брат, ударил куда подальше. Мяч от железной груди Доронина взлетел и упал в ноги Шумавцову. Алеша рванулся к пустым воротам. Оглянулся. Все позади. Все стоят. Все смотрят. Повел мяч шагом и в метре от ворот остановился. И не тронул мяча. Пошел к скамейке, где сидела пунцовая от стыда ухажерка.

Спросил:

— Время кончилось?

— Ага! — сказала ухажерка.

Шумавцов поднял руки:

— Конец игре. Айда купаться!

¹ Кандида (Антон Кандида) — главный герой фильма «Вратарь».

Все смотрели на пустые ворота. На одинокий мяч. Не забитый.

Деревья разом засвистели, будто на них опустилась огромная стая соловьев-разбойников.

Митька смотрел на пацанье, на козлят радостных. Чувствовал: черно в груди. Всех бы расстрелял... Дикая мысль. Дикая злоба. Так не проигрывай! Сопливым не проигрывай, врагам.

Он подошел-таки к Шумавцову, сказал серьезно: — Физкульт-привет! — Глянул в глаза. — Почему тебе везет?

— Мы — красные! — улыбнулся Алеша. — Красный Городок! Красная армия всех сильнее.

— А мы какие? Лично я — советский студент! Говори, да не заговаривайся.

Проповедь

В Свято-Лазаревский храм на службы батюшки Викторина стекался народ со всей округи. Женщины. Женщины, не страшась властей, молились о даровании жизни сыновьям, мужьям и самой России.

Для очередного поучения отец Викторин избрал тему насущную: о терпении.

— Древний мир не так уж стар, если мы помним и чтим Святых Отцов! — Батюшка говорил, призадумываясь, и прихожанки затаивали дыхание, чтобы не только слово, но и молчание батюшкино пережить, как он. — Беды и напасти во все времена горькие, разорительные. А лекарство для одоления страстей, ломающих жизнь человека, милые вы мои, ведь то же самое, что и во дни пришествия Христа, при Ное, при Адаме: терпение.

Отец Викторин склонил голову, стоял перед людьми, за его спиною Царские врата. И женщины, и даже девочки верили — с их батюшкой ниче-

го дурного случиться не может. В алтаре, возле которого молится отец Викторин, Бог живет.

Батюшка вздохнул:

— Чтоб не забылось сказанное, назову вам имя: пророк Иона. Помянем добрым словом этого праведника. Ради спасения корабля и людей он своею волей согласился стать жертвой. А на самом деле вручил жизнь Господу Богу. И не сгинул в пучине морской. Иону проглотил кит, но в этом и было спасение смиреннейшего пророка.

Отец Викторин не искал глазами среди прихожан «чужих», для кого слушать священника — работа. Тема проповеди опасная: большевикам подавай борца, а Церковь учит смирению.

Сколько потерь перенес народ Людинова, сколько добрых, честных людей если не в могилах, так в тюрьмах, в лагерях Колымы, в пустынях Казахстана! Пора народу научиться хранить себя. Именно хранить! Ради жизни племени русского, государства именем Россия.

— Иисус Христос претерпел крест, — говорил отец Викторин, переводя глаза с одного лица на другое. — Во времена могущества Рима крест был позорнейшей казнью. Но Иисус Христос пренебрег посрамлением. Сам Бог, Сам Вершитель судеб, Сам Устроитель Вселенной отдал Себя на истязания, позволил совершиться смерти, но ведь... — Батюшка просиял, и женщины тоже улыбнулись. — Но ведь Своим смирением Он показал нам путь следования за Ним. Своей смертью Он поразил всеобщую смерть, Своим схождением в адские бездны Он явил Свет всем томящимся там и извел души праведников в обители небесные. Своим Воскресением Он соделал человеческое естество сопричастным вечной жизни, открыл человекам путь жизни под благодатным покровом Святой Троицы, через торнии страданий и скорбей, путем терпеливого

несения жизненного креста — к Радости, к Свету!
Со Христом, со Крестом и ко Христу!

Отец Викторин умолк, но женщины ждали.

— Вслушайтесь! Проникнитесь! Апостол Павел так говорил о нашей жизни: «С терпением будем проходить подлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...» И назидал нас апостол: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».

Ради этих слов и отважился отец Викторин на проповедь о терпении. Конца гонениям на верующих не предвиделось. Охота на священников и на бывших кулаков прекращена, но, скорее всего, только потому, что сажать стало некого.

Впрочем, была еще одна причина, вынудившая отца Викторина учить терпению. Отец Викторин прощался с прихожанами, со службою. Фининспектор обложил священников налогом столь обременительным, что содержать двух батюшек или даже батюшку и диакона стало невозможно.

Отец Викторин — протоиерей, настоятель, среди его наград — серебряный наперсный крест, но он уступил место отцу Николаю.

Дело решилось два дня тому назад. Виктор Александрович Зарецкий уже ходил на курсы, учился на бухгалтера. Прихожане пока что не знали этого.

Из храма отец Викторин вышел в пиджаке, он и рясу снял. Привычно благословлял женщин, подходивших к нему, но душа криком кричала: «Кто ты, оставляющий овец среди волков? Разве имя твое не пастырь?»

Тут только голову опустить. Не заплатив налога, он окажется в тюрьме в тот же день, как отслужит хотя бы одну службу.

Стоит ли беречь себя?

Отец Викторин смотрел на прорехи в облачках. Изумительная, праздничная синева. Положа

руку на бороду — бороду придется сбрить, — стоял перед Людиновом, как на суде.

Женщины, одинокие и с детьми, в основном с девочками, складывали руки, он молитвенно благословлял и кланялся.

Потом все они поймут эти его поклоны.

Наконец остался один. Странное положение. Скорее всего, он не сможет ходить в церковь, потому что его пребывание там наверняка произведет смуту в прихожанах.

Сказал вслух:

— От сана я не отрекся. Господь, сладчайший Иисус Христос, не оставит священника без служения.

Прошел в палисадник пока еще своего дома, смотрел на молодые деревца яблонь, вишен.

— Придет час, и покроются цветами.

Хлопнула, как выстрелила, калитка.

Нина.

По сердцу тепло волною: такая же, как вишенка.

Увидела отца, подошла, сверкнула глазами:

— Папа, это невыносимо!

— Что произошло?

— То, что происходит каждый день. За мной шли трое балбесов и пели дразнилку. На всю улицу орали!

Отец Викторин потупил голову и вдруг спросил:

— Как же они тебя дразнят?

— А вот так! — и пропела отцу в лицо:

Гром гремит, земля трясется,

Поп на курице несется,

Попадья идет пешком,

Чешет гребешком,

А попова дочка Нина

Обожралася конины.

Конина засохла,

Нинка сдохла.

— «Гром гремит, земля трясется...» — повторил отец Викторин, лицо его покрылось румянцем.

Нина смотрела на отца и точно, как он, краснела. «Дура! Ну что я наговорила!»

— Голубушка! — В глазах отца появился гнев. — Понимаешь... Мне только что пришло на ум ужасное. Я вдруг сказал себе мысленно: «Они рады будут конине...» Кто они? Прихожане храма, подвижницы? У тех, кто сидят по кабинетам, под портретами, всегда особые пайки.

Взял в ладони руки дочери.

— Папа! У тебя пальцы как лед. Ты не заболел?

— Немножко знобит... Ниночка! Ненависти или даже неприязни я не испытываю к тем, кто дразнит тебя. Это все — подростковое, если ребятами не руководят взрослые... Но каков я! Почему пожелал людям конины? Чего ради?

Слезы хлынули из глаз отца.

— Папа! — ужаснулась Нина. — Прости!

— Нет! Нет! — покачал головою отец Викторин. — Тебя не будут больше дразнить. Тебя с нынешнего дня дразнить не за что. Я буду счетоводом в лесхозе.

Нина накрепко зажмурила глаза:

— Не надо, папа! Папа, я люблю Бога! Не надо! Я потерплю! Подумаешь — конины обожралась.

Отец Викторин поцеловал Нину в бровки.

— Голубчик! Мы будем дома молиться. О себе и о всех. О Людинове нашем.

Дома отец Викторин нашел один из своих рисунков, устроился возле окна. Его не трогали, а он то сидел, закрывши глаза, то вглядывался в рисунок, и карандаш взлетал над бумагой.

Пришла Олимпиада. Она тоже теперь курсистка, учится на хирургическую сестру.

— Викторин! Иисус Христос, я это чувствую, страдает.

— Да, — сказал отец Викторин, глядя на рисунок. — Получилось!

Старец

Виктор Александрович лошадку понукать советился, лошадка шла себе в удовольствие привычной дорогой, радуясь доброте возчика и благодати леса.

Деньги счетовод вез в Радомический участок: здесь собрали лесников на общее собрание и заодно на политучебу.

Лесникам платили семьдесят пять рублей в месяц, их в лесхозе было двадцать пять человек; пятерым объездчикам по сто десять рублей; техникам, начальнику лесоохраны — чуть меньше, чуть больше пятисот рублей. Нищенство, но с привилегиями. Дрова — бесплатные, сено — бесплатное, огород — шесть соток. Такую бы привилегию в Огори иметь.

В Огори, в священниках, Виктор Александрович с Полиной Антоновной корову держали, Вербочку. Непростое было дело — сена на зиму заготовить. Впрочем, заботы о Вербочке были недолгими. За неуплату налогов уполномоченный свел корову со двора. Покупали для Ниночки: родилась здоровья некрепкого.

— Ну, что ж ты, милая! — упрекнул Виктор Александрович лошадь, но даже вожжой не стал взбадривать.

Лошадка согласно мотнула головой и пошла рысью. Веселей, без натуги.

— Спасибо, спасибо! — Улыбнулся, а на сердце — маета. Не мог принять себя, преображенного невзгодю.

Отец Викторин — в прошлом. Ряса, привычная с семинарии, — в прошлом. Борода — в прошлом. Пиджак после выпускных экзаменов куплен. Первый и последний. Не раздобыл в полах. Рубашка с вышитым воротом — труд матушки. Когда носила под сердцем Ниночку, рукодельем занималась.

Бороду сбрил, чтоб начальников не раздражать. Но ведь и крест снял. Силу священника, силу России.

Виктор Александрович закрыл глаза. Благословенную тяжесть креста на груди воскресил в себе. Без креста — товарищ товарища. С квартиры не погонят. Корову не отнимут.

Корову придется купить. На оклад счетовода в городе жить голодно. За уроки Нины молоком можно будет расплачиваться.

Мадам Фивейская за пять лет дала Нине, школьнице, знание немецкого языка на уровне выпускницы института. Французский тоже идет хорошо. И это еще не всё. Нина даже с очень деревенскими девочками не позволяет ни малейшего превосходства... Пригодятся ли аристократические манеры в жизни?

Дорога пошла в распадок. По ложбине струился ручеек. Виктор Александрович свернул с дороги, лошадь и телега проторили в высокой траве зеленый тоннель. Не хотелось выслушивать политграмоту от какого-нибудь малограмотного, не спешил к лесникам.

Виктор Александрович лошадь разнуздал. Лошадка принялась хватать траву, а он встал среди цветущего шиповника и молился.

Не ради корысти, не ради страха оставлена служба. Но ведь оставлена.

— Господи! — молился Виктор Александрович. — У меня не хватает ума прозревать Твой замысел. Господи! О чем Ты говоришь всему народу русскому и нам, живущим в Людинове? Смирять-

ся? Смирились. Терпеть? Терпим. Прости меня, Господи! Вразуми...

Запел: «К Богородице прилежно ныне притецем... Погибаем от множества прегрешений... Кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил донныне свободны? Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых».

Собрал в ладонь лепестки цветущего шиповника. Пахло медом, розами, но душа жаждала запаха ладана...

Не мог решить: кто он без храма? Из сана не извержен, от священства не отрекался. В мыслях того не было. Но как жить теперь? Священник за прихожанина в ответе, за каждого человека в Людинове. И в России! И в мире! А за что в ответчиках счетовод? За ведомость и за рубли?

Власть грозит тюрьмой, а то и казнью, если он втайне будет совершать требы. Хоронят теперь без отпевания, брак не венчают, но регистрируют, новорожденных не крестят, а нарекают гражданами СССР. России не существует для властей и для народа русского. Есть Татарстан, Узбекистан, Якутия, Калмыкия, а России нет — РСФСР.

В деревнях расшифровывают сие наименование: «Ребята, смотрите! Федька серит редькой».

Подошел к осинке. Изумительный цвет коры! Тоже ведь зеленое. Из осины резали купола деревянных церквей. Осиновые покрытия со временем обретают серебряный цвет.

Сорока вдруг затрепала.

От ручья шел человек. Скорее всего, крестьянин, то есть колхозник. Длинная, до колен, рубашка, домотканая. Плисовые штаны, но босой... На голове же — баранья ушанка.

— Лесная роза цветет! — сказал человек, кланяясь в пояс. Борода с проседью, но не стариковская. Глаза веселые, щеки — яблочками.

— Да, цветет, — Виктор Александрович смотрел на лепестки в ладони.

— Кажинный день одно зацветает, а иное уже отцвело. У нас понятия про то нет. Одно зацветает, а иное уже отцвело.

На бровях улыбчивого человека сияли капли воды, и щеки сияли, и глаза.

— Умылся! — объяснил колхозник, а скорее отшельник.

Поклонился, коснувшись рукой земли, и пошел себе, в свою жизнь.

Виктор Александрович проводил взглядом странного путника, лепестки завернул в носовой платок, запряг лошадку, поехал, не позволяя себе думать о чем бы то ни было. Жить, имея в себе Бога, — это значит быть в Божьей воле.

Грозвые песни

Начальник лесоохраны, он же парторг лесхоза Никитин, глядел комбатом. Голубая гимнастерка с петлицами. На темно-зеленом бархате околыша фуражки золотые дубовые листья. Голос командирский.

Собрание проводили на воздухе, в тенечке. Сидели прямо на траве, а у кого штаны поновее — на лавке.

Речь Никитин сказал в духе времени, комиссарскую, командирскую.

— Взвейтесь, соколы, орлами! — В глазах — гроза, кулаком по столу. — Мы, лесники Людиновской земли, — стражи Брынского бора, над облаками летаем, как горные птицы. Прежние гари ликвидированы. На горях нашими трудами не кипрей-трава цветет, а стоят ряды сосновой поросли. Сажаем по-ученому, до десяти тысяч штук на гектар. Внуки и правнуки станут рассказывать

своим внукам и своим правнукам: «Этот лес нам родня, посадил его и взрастил лесник Лясоцкий». А поглядите на лесника Сныткина! Через век на месте, где стоит его избушка, будет шуметь маньчжурский орех. Фанатов! Что так далеко сидишь? Посаженная тобой дубрава станет украшением Брынского социалистического леса.

И вдруг Никитин посуровел:

— Я вам так скажу, товарищи! Мы не зря носим форму военного образца. Мы — люди государственные, ратные. Леса — не только богатство великого Советского Союза, но это щит от врагов. Лес надежно укроет своих от любых пришельцев. Да только не бывать чужим во глубине России! Страна, ведомая товарищем Сталиным, — непобедимая. Непобедимая ныне и во веки веков непобедимая. Споемте, товарищи! В этой песне все слова надежные.

Сам и грянул:

— «Если завтра война, если завтра в поход...»

Дирижируя, спросил:

— Практикант Иванов, слов не знаете? Ах, голос? Когда поет весь народ, всякий голос к месту и прекрасен. Громче, Иванов! Веселей!

Пришлось практиканту легкими работать.

— Молодец, Иванов!

Ударники соцсоревнования получили грамоты и премии: половину оклада.

Перенесли конторские столы в тенечек. Пошло застолье.

— Вы все мне крылатые товарищи! — после третьего стакана объявил парторг. Он пил до дна. — Виктор Александрович, у вас, я слышал, чудесный голос. Спойте.

И подал гитару.

Счетовод тронул струны, но был растерян.

— К месту было бы что-то ратное...

— Ратное! — обрадовался слову парторг.

— Есть песня о войне с германцами в 1914 году.
О войне с кайзером Вильгельмом.

— С германцем? — На лице парторга отразилось сомнение. — У нас дружба с великой Германией... Впрочем, песня о войне с кайзером, с царем, так сказать.

Кивнул, соглашаясь, разрешая.

На возморье мы стояли,
Ой, да на германском бережку, —
запел Виктор Александрович.

Эх, на возморье мы стояли,
Ой, да на германском бережку.
Эх, с моря-моря мы смотрели,
Ой, да как волнуется волна.

— Наша песня, людиновская! — заулыбались лесники.

Эй, не туман с моря поднялся —
Сильный дождичек пошел.

Песню подхватили лесник Сныткин и объездчик Ефремов.

Эх, как у етом у тумане
Враг, да германец, наступал.
Ой, как у етом у тумане,
Ой, да враг-германец наступал.

— Я етого немца во как видел! — растопырил ладонь Захар Машуров и запел, тонюсенько пере-крикивая счетовода:

Ох, врешь ты, врешь ты, враг-германец.
Ой, да тебе не соткиль зайти.

Ой, у России войска много,
Вам да его не победить.

Никитин замахал на лесников руками, и те смолкли, слушая удивительный голос своего счетовода.

Эх, угостим, ой, свинцовой пулей,
Ох, на закуску штык стальной.

Тут все подхватили:

Эх, штык стальной, ой, четырехгранный,
Ой, да насквозь тебя пронзит.

— Тишина! — вскочив на ноги, рявкнул парторг и допел песню басом:

Эх, штык стальной, ой, четырехгранный,
Ой, да насквозь тебя пронзит.

Виктор Александрович устроил бурю струнную, заставил петь самую тонкую струну, до тоски.

И передал гитару.

— За народ! — поднял парторг стакан выше головы. — До дна! Ибо за народ!

От стаканов треск, но в стаканах свет, в стаканах чистый, как слеза, людиновский самогон.

Практикант Иванов пил с мужиками как ровня, однако в разговоры не лез, глядел на гуляющих, будто через микроскоп.

Объездчик Ефремов, сидевший по правую руку парторга, подкладывал начальнику куски пожирнее.

Глаза Иванова искали подхалимажа, но объездчик не угодничал. Экое веселье, ежели герой с петлицами под стол ухнет.

Счетовод тоже пил стаканами, но квас. На тарелке — грибок и нетронутое крылышко глухаря. День постный.

Никитин пить был здоров.

Время на планете грозное, и героя потянуло на марши.

Спели «По долинам и по взгорьям...», «Смело, товарищи, в ногу!».

У парторга в глазах огонь, грудь от социалистического товарищества распирает. Раскатил басом:

Широка страна моя родная!

Много в ней лесов...

— Лесов, товарищи! В том числе наших — Людиновских, Брынских.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек.

У практиканта Иванова желудок винтом скрутило: советская воля известная. Кровь в голове бухает не хуже колокола, а Никитин красуется:

Над страной весенний ветер веет,

С каждым днем все радостнее жить...

Назад пятками отпрядывал практикант от счастливых идиотов. Спinoй напоролся на орешник. За куст, за другой. Брел, света не взвидя. Да и замер. Среди тонких березок — счетовод. Стоит, закрывши глаза, неподвижно, словно сам уже стал деревом. Перекрестился.

— Ага! — вырвалось у практиканта. — Молишься! Я ведь знаю: ты — поп.

— Священник, — сказал счетовод, не испугавшись, не смутившись. — Служить в храме возможности лишен. Но я — священник.

Практикант, раздвигая ветки, подошел ближе:

— Ты — молился. Ты — счетовод, но ты молился.

— Молился! — твердо сказал счетовод. — Ты помешал мне молиться.

— Ты молился, чтоб все это кончилось. Чтоб все коммуняки сдохли.

— Я — священник, я молюсь о даровании жизни и блага.

— Они попов, как вшей, — к ногтю. Ты их должен ненавидеть.

— Я люблю всех людей.

— И тех, кто с церковью купола сбрасывал?

— Я молюсь за всех.

— Дай вкусить Святых Даров, Крови, Тела!.. Сам говоришь, ты — поп. Я тебе исповедуюсь, а ты мне грехи простишь.

— За святым причастием иди в храм. На Литургию.

— А я тебе все равно — исповедуюсь. Ты с ними песни пел, а я их всех ненавижу. Скоро будет война. Их забьют, как забивают телушек на скотобойне.

— Враг, кем бы он ни был, Советского Союза победить не сможет. Большинство народа в Советском Союзе — русские.

Практикант засмеялся. Тихо, зло.

— Я ведь тоже русский, но я их буду убивать... Ну что, батюшка, побежишь докладывать? А не побежишь — пособник.

Лицом чист, а рот ненависть кривит.

— Знаешь, Иванов, в чем беда твоя непоправимая? — Виктор Александрович вздохнул и еще раз вздохнул: правды этому человеку нельзя говорить, но и молчать недостойно.

— Что же замолчал-то? — улыбнулся, и ведь не гадко — тревога в улыбке, тоска.

— Скажу, Иванов. Вот пропадет пропадом нынешнее время, голодное, плохо одетое, еще хуже обутое. И русский народ, а его ведь с земли прогнали, будет горевать. Об этом времени горевать. Потому что русский народ — русский. Сокровенный, но как на ладони, прост и со всех сторон обозрим.

— А я непрост! Я ничего не прощу. И ничего не забуду. Сколько у меня было! И не стало. Не дали, чтоб стало.

— Буду молиться о тебе.

— Уволь! Ты не поп, а счетоводишка. Раньше о таких, как ты, говорили — беглый. Ты — беглый поп.

— Недалеко я убежал, но грешен.

Иванов кинулся вдруг в заросли бересклета. Вывернуло. Отплевался, сказал трезво, продуманно:

— Знаешь, чего нужно? Война нужна. Тогда РСФСР, может, и вспомнила бы, что она — Россия.

И засмеялся, гадко, слюняво:

— Эй, поп! Донеси на меня. Глядишь, церковку тебе вернут. За успех соцсоревнования будешь Бога молить?

Виктор Александрович стоял бледный, в глазах горе.

— В тебе же все переломано, Иванов. Ты зло сердцем кормишь. Я исповедаю тебя.

— Пошел ты! — наотмашь махнул рукой, по лесу пошел ломиться.

А лесники распелись. Свои пели песни.

Рожь на яблоки меняли,

А солому на табак.

Эх, рожь на яблоки меняли,

А солому на табак.

Дела не для погляду

Отец Викторин, творя Иисусову молитву, знал: он спит. Это во сне так темно. Впрочем, на дворе ноябрь. Ноябрьские ночи, как подполье.

В левом краю окна, где тьма безнадежнее, почувдился всполох. Промельком! И вдруг — свеча. Свеча плыла по пространству сна, к правому его пределу.

Свеча — в руке! Свет озарил лицо несущего.

Матушка Харита!

...Матушка Харита Крицкая с матушками Евгенией Беловой², Александрой Казанской, Ириной Сычёвой³ осуждены на десять лет лагерей. «Церковная контрреволюционная группа тринадцати» — так это именуется. Четверо священников, диакон, псаломщик, трое мирян — мужская часть группы. Без суда, приговором «тройки» при Орловском НКВД расстреляны.

Был под следствием и четырнадцатый, иеромонах Тихон, служивший в подпольном монастыре на хуторе Манинский. Старца освободили ради преклонных лет, а Иерусалимскую пустыньку разорили.

...Матушка Харита подняла свечу, словно светила кому-то. И все померкло. В окно застучали.

— Слышишь? — обмерла Пелагея Антонова. — Не открывай!

Отец Викторин опустил ноги с постели.

— Если за мной, в дверь бы грохали.

Вышел в сени, отворил дверь. Быстрый шепот из тьмы, сквозь шум дождя:

— Батюшка! Старица Серафима тебя зовет.

— Заходите.

— Я тут... Я подожду.

² Монахиня Евлалия.

³ Монахиня Евстолия.

Женщина. По голосу — совсем юная.

— В сени заходите. Оденусь...

И вот неведомо куда, по чавкающей грязи...

Матушка Серафима — монахиня чуть ли не из разгромленного Дивеевского монастыря. Дорога во тьму может закончиться очередной расправой над священником. Однако молчаливый проводник ведет уверенно. Женщины на Руси отважны не менее мужчин. Город миновали. Ночь. Лес.

Церковную группу тринадцати людиновское НКВД соорудило в считанные дни. Мода! Дело пятидесяти, сорока, тридцати... «Тринадцати» тоже звучит броско. Брянский капитан госбезопасности Коллегов — о ромбе майора грезит, людиновский начальник Быстров в старших лейтенантах засиделся, к «большой» работе стремится, в большом городе.

«Меня-то почему не тронули? Оставили на нынешнюю ночь? Хотят взять с поличным еще одну церковную группу? Группа двух, отходящая ко Господу, — монахиня и священник, замаскировавшийся под счетовода».

Отец Викторин горестно ищет ответ на мучительный вопрос: почему доля страстотерпца минует его? Прогневил Спасителя?

Заговор и контрреволюцию в Людинове чекисты придумали, не напрягая извилин. Скорее всего, зачищают последышей кулачества.

Людиновский священник, отец Афанасий Нагибин, до революции имел шестьдесят гектаров пахотной земли, мельницу, бакалейный магазин.

Сукремльский священник отец Георгий Булгаков для нынешней власти тоже кулак. В 31-м у него отобрали землю — тридцать гектаров, двух лошадей, двух коров. Сад. И отец Александр Кушневский, колчинский батюшка, из раскулаченных. Все арестованные в 37-м году служители культа, по меркам советской власти, — кулаки. Батюш-

ки курганьевской церкви Петр Куликов, Николай Воскресенский, колчинский батюшка Сергей Рождественский — все одного поля ягоды, владели землей, садами, коровами, лошадьми. На землю зарилась советская власть. Земли лишали народ. Своей земли, семейного достояния. А что до мирян — Ивана Ивановича Иванова раскулачили еще в 30-м. Четверых батраков имел.

Кулак Дмитрий Андреевич Арчаков — владелец двухэтажного дома, большого магазина.

Никифор Васильевич Новиков — из крепких хозяев, пятнадцать гектаров земли, три лошади, три коровы. Раскулачили, но, как и Арчакова, в тюрьму не сажали, а вот Иван Иванович — восемь лет отбывал за свое богатство. Детей у него семеро — не пощадили.

— Батюшка, еще чуточку, и придем! — шепчет провожатая.

Пришли. Изба. Потаенный чулан за печью. Кровать. Лампада. Икона Богородицы.

После темени — и от лампы светло. С подушки — глаза, не померкшие от старости, от страданий. Матушка Серафима сказала внятно, с ласковой строгостью:

— Ты береги себя! За всю Россию ответчик. В особицу за малых...

Отец Викторин поклонился старице, достал дароносицу, облачился в епитрахиль.

— Батюшка, я грешна. Завидовала матушке Перпетуе. В восемнадцатом на солдатню с образом Спаса пошла. Ризы с икон срывали... А я отступила, жизнь спасая.

— Господь знает, для какого делания укрыл нас.

— Ох, батюшка! Твое делание грядет неминуючи... Помолюсь о тебе Всевышнему. Мне уж скоро... За матушку Хариту буду просить, за мать Евлалию, за мать Евстолию...

Отошла схимонахиня Серафима ко Господу на рассвете. Могила была уже приготовлена. Отпел. Проводил.

Домой батюшку привезли на телеге. Полмешка муки привез. То была не плата — для отвода зорких глаз. Батюшка пропитание семье добывал.

Молитва в святом месте

Новый, 1941 год Виктор Александрович и Полина Антоновна встречали в собственной комнате хирургической сестры Олимпиады Зарецкой. Больничное начальство предоставило нужной работнице жилье. Коммуналка, в квартире четыре комнаты. Большие, по двадцати метров, заселили Олимпиада и сестра-хозяйка больницы Клавдия Антоновна Азарова, еще две комнаты пустовали.

Нина встречала Новый год с одноклассниками.

Буфет Олимпиада не захотела перевозить в новое свое жилище, поднесла Полине Антоновне, на новоселье в складчину купили стол, стулья, платяной шкаф и кровать.

Пришла в гости мадам Фивейская, подарила Олимпиаде дюжину горшочков с кактусами. Один кактус расцвел ради Нового года.

Женщины принялись готовить стол, а Виктор Александрович взялся их просвещать. У Клавдии Антоновны нашелся старый номер «Огонька» с рассказом Константина Паустовского.

Читал Виктор Александрович выразительно, и женщинам, интеллигенции Людинова, нравилось, что праздничный вечер начинается так просто и так умно.

Рассказ назывался «1916 год».

«В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Бестужев, только что

окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова во флотилию миноносцев.

Зима стояла очень теплая. За Ревелем море было уже свободно ото льда. Бестужев долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумерками берега, — там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Бестужева, корабельный инженер, давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам — теткам Бестужева, и пенсии всегда не хватало.

<...>

В Ревеле в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров, бархатных портьер и занавесей на окнах воздух казался тусклым и зеленым, мать Бестужева, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Павла. Все-таки интересно.

<...>

В дверь постучали. Вошел портье — лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что по старой традиции владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку...

Бестужев с матерью спустился в зал...

— Я выберу сама, Саша, — робко сказала мать и взяла карточку.

Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

<...>

Мать заказала чай с пирожными. Официант долго не подавал, и ждать за пустым столом было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел...

Мать Бестужева встала из-за стола, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок...

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Бестужева и сказал:

— Уберите это!

<...>

Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и почтительно положил его на стол около матери Бестужева.

— Обронили, — сказал он тихо и пятясь отступил.

Бестужев смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо чернело от гнева.

<...>

Капитан жадно ел, не обращая на Бестужева никакого внимания...

— Пойдем отсюда, — сказал Бестужев матери. — Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Бестужев смолчал. Они вышли. Только на лестнице Бестужев договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь. Мало их топили в Кронштадте в пятом году.

Мать замахала на него руками...»

— Все-таки непонятно, — сказала Клавдия Антоновна, — какой год они встречали, 1916-й или уже 1917-й?

— Разве это важно? — Олимпиада подошла к окну и подышала на замерзшее стекло. — Здесь показано расслоение общества. Война для всех одна, но одни пируют, а другие только делают вид, что и у них праздник.

— Сороковой год был хороший! — Клавдия Антоновна принесла блюдо с крошечными пирожками. — Олимпиада, посмотри, что у нас с заливной рыбой?

— Посмотрю. Но сначала хотелось бы в эту вот проталину разглядеть, каков он будет — грядущий новый год.

Мадам Фивейская улыбалась:

— Дорогая моя! О всяком новом годе одно всегда известно: он будет — лучше и достойнее минувшего во всех отношениях.

Олимпиада окинула взглядом свою комнату:

— Жалко, елки нет у нас. Теперь елки ставят, это уже не пережиток. А что касается нового года... Этот штурман, матушка его, добрый официант, грубиян офицер... Разве они знали, что вступают в год революции? Что революция произойдет и победит?

— Ты хочешь прозреть, каков он будет, сорок первый год? — спросила Клавдия Антоновна. — Жизнь страны обещает очередное свершение. Откроют в Ледовитом океане неведомый остров, облетят на самолете земной шар.

— Мне совершенно точно известно, — просияла глазами мадам Фивейская, — милейшая Полина Антоновна сошьет мне жакет, по изяществу равный жакету английской королевы. И это произойдет в Людинове.

— Винегрет недоделали! — всплеснула руками Клавдия Антоновна.

— А заливное удалось! — объявила Олимпиада.

Виктор Александрович полистал журнал. На обложке строгая, красивая женщина с пистолетом. Наискось надпись: «Засл. арт. республики орденосец В.Н. Давыдова в роли Груни в опере “Броненосец Потемкин”».

Первая страница журнала занята пятью портретами. Сверху председатель Совета народных

комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Под ним четверо заместителей: Влас Чубарь, Анастас Микоян, Станислав Косиор и председатель Госплана Николай Вознесенский. 30 января 1938 года.

Клавдия Антоновна беспечно держит такой номер «Огонька» в доме.

Двоих из этой четверки уже нет в живых.

Следующий разворот — народные комиссары. В школьных учебниках заливают теперь чернилами маршалов Советского Союза, ставших врагами народа: Блюхера, Тухачевского, Егорова. И здесь надо бы закрасить Ежова, Михаила Кагановича, Эйхе, Бермана, Брускина, комиссара флота Петра Смирнова, комиссара торговли Михаила Смирнова, внешней торговли Чвялева и других... Чубарь и Косиор двух месяцев не усидели в креслах.

Рассказ Паустовского хоть и никакой, но интересен тем, что в правительственном номере дан эпизод из жизни дворян, пусть бедных, недовольных, но дворян! Это же сигнал: жизнь вошла в берега. Половодье революции угомонилось... И пожалуйте! Половина правительства — враги.

Подошла Олимпиада.

— Зачем это у вас? — спросил Виктор Александрович.

Пожала плечами, взяла:

— Выброшу в нужник. Но знаешь, о чем все это говорит? Власть Советов незыблема.

— Власть Советов, как и наша страна, — победоносные! — согласился Виктор Александрович. — Уничтожь от греха... Не надо давать повода...

Сам он повода не доверять ему не давал властям.

В канун Рождества ходил в кинотеатр — культпоход лесников устраивал парторг Никитин. Смотрели фильм «Волочаевские дни».

А на другой день после Крещения за ним приехали из деревни Усохи. Не отказал. Женщины

в крошечной избушке собрали пятерых ребятшек. И он крестил их. Младшей было три месяца, старшему из крещеных, мальчику, шел девятый год.

Обратно просил везти себя через Манино. Посто-ял над оврагом, засыпанным снегом. Здесь в зем-лянке жил старец иеромонах Тихон. Когда еще пустынька была не разорена, на горочке возле дере-вянной церквушки во имя Иерусалимской Божией Матери в келейке ютились матушки монахини.

Было — и нет. Белая пустыня. Еще одна убитая молитва на Русской земле.

Да, повода не надо было давать, но и праздни-вать труса — не по сану.

Отслужил молебен над святым местом.

В награду кинулся в глаза куст вербы. Крещен-ские морозы, а верба в жемчужинах. Расцвела.

Сломал несколько веточек. Домой привез, как чудо.

— Я так по весне соскучилась! — касаясь губа-ми живых жемчужин, сказала Нина.

— Осталось февраль пережить! — вздохнула Полина Антоновна. — Доченька, не торопи время. Лучшее все-таки позади, хотя надежды наши — на завтра.

Тетеревиная охота

Дни весенних каникул. Всероссийское бездо-рожье. Река разлилась — разрезало на полови-ны городок, село. Из деревни в деревню пройти-проехать невозможно. Дороги поплыли, настоящее тесто. По иным улицам ребятня на деревянных корытах Америки открывает.

Алеша Шумавцов вторую неделю каникул жил у папы с мамой в Людинове. К братьям Павлу, Витюшке, Сашке и сестричке Дине заново привы-кал, родством душа умывалась.

А вот первую неделю каникул Алеша провел в деревне у бабушки Евдокии.

Алеша на порог: «Здравствуй, бабушка!» А друг сердечный, охота, заждавшись за зиму своего верного приятеля, в окошко заглядывает, птичьими кликами зовет.

Русская весна — птичья, а бабушкин лес — сама сказка — тетеревиное место.

Отец передал Алеше юношескую свою страсть без возврата. Железная дорога время забирает у человека без остатка. Завтракает Семен Федорович до свету, ужинает, когда ночь на дворе, но это он дал сыну ружье в руки. На глухариную охоту сводил. По глухарям ни отец, ни сын не стреляли — глухариные песни слушали.

Шалаши Алеша ставил отменные. В его шалаше тепло, сухо, весной пахнет: травушкой-муравушкой, водой, почками березы. Без шалаша то весны, может, и больше, но чуда не дождешься.

В то утро заря уродилась светоносная, будто где-то зеркало поставили. А как разлилось розовое по небесам, охотничка сладкая дрема сморила. Всего на мгновенье. Тут чудо и ударило крыльями над шалашом: косач.

Сел близко, хоть не дыши! Сердце в груди громыкает. Громкое сердце досталось Алеше.

Почудилось, на самом краю земли тетерева токуют. Косач молчит, слушает супротивников. Влюблены до смерти, подходи в открытую, стреляй — песня самой жизни дороже.

И — кап! Кап! С берез. То ли слезы, то ли сок из раны.

— Чуф! Чуф! — совсем близко. Еще один косач пожаловал.

— Чуф! Чуф! — со всем великолепием ответил Алешин красавец и пошел гнать незваного гостя.

— Чуф! Чуф! — Песня чужака такая же гордая, непреклонная.

Не разодрались. Принялись токовать, чья песня слаще.

Вдруг один за другим грохнуло два выстрела. И сразу пальба. Вразной, поспешная. Было кого стрелять. Алеша смотрел на своего тетерева. Шагах в пятнадцати. Вертит головой, опустя крылья, перепуганный выстрелами. Большой. Опытный. Не кинулся улетать, в воздухе скорей убьют.

Алеша выстрелил.

Положил добычу в сумку, ружье на плечо — и прочь из леса.

Выйдя к дороге, портянки перемотал, ноги стали влажные.

Нагнали двое: обоих знал по футболу — Иванов и Доронин.

Иванов остановился, снял кепку:

— Здравствуй, футболист! Один выстрел — один косач. Патронов больше нет?

— С меня довольно. У Доронина тоже один косач.

Иванов засмеялся:

— Потому что мазила. Когда убиваешь, нужно хладнокровие. А Дороня спешит, курок дергает. — Сощурил глаза, щелкнул ладонью по ягдташу. — Мне много надо. Студентам голодно живется.

Повернулся, пошел, сердито дернув плечом: пацаненок! Помалкивает, но взглядом осудил охотничью жадность. Комсомолия! Покричат «слава-слава» и забудут на часок про голодное пузо.

Алеша долго провожал взглядом охотников: удачливого и мазилу! Всего раз глянул на то место, где стоял Иванов. На траве кровавая крапль. Справедливости ради осмотрел землю около себя. Капелька, еще капелька.

Охота...

Опасные стихи

Окон Зарецкие не зашторивали. Зашторенные окна — соблазн сексота.

Утреню отец Викторин служил затемно. Суббота. Память Феодора Стратилата.

Дни Литургии священники ожидают со сладким трепетом в сердце. Божию искру в душе Литургия преображает в Божественное пламя. Предстояние престолу не может стать обыденностью, хоть служи половину века.

И вот — отвержен. От алтаря, от храма. Да ведь не от Бога!

Ладана в доме отец Викторин не воскурял. Свечи ставил, дождавшись солнца. Молящихся и поющих — он да матушка, а нынешним утром Нина поднялась ранехонько.

У тихого пения слушатель — сердце. Ради Литургии, от молитвы ли, воздух в доме в позолоте.

После утрени отец Викторин отслужил панихиду по девяти людиновским страстотерпцам, казненным безвинно.

Устал, но благостно.

— Полюшка! Уж очень долг путь народа русского на Голгофу. И Симона Киринаянина нет — крест нести. Всё сами.

Матушка ради праздника пироги затеяла. Нина тут как тут, перенимает лепоту домашних кулинарных секретов.

Батюшка пил кофе с цикорием, кушал, искренне ужасаясь, ватрушки.

— Спасибо, не расположен к полноте. Три умял и на четвертую смотрю с возделением.

— Эту я месила, я в печь ставила! — сказала Нина. — Моего кушанья тоже отведай.

Попробовал. Женщины ждали приговора.

— Очень вкусно! — порадовался за дочь батюшка.

— Так-то вот! — погордилась матушка. — Много ли учеников, вышедших из стен школы, говорят по-иноземному? А Ниночка: «филе данке», «се ля ви!» И стряпать мастерица.

— Что-то Олимпиады давно не было! — обеспокоился отец Викторин. — Ватрушки — ее слабость.

— За книжками сидит, — сказала матушка. — У нее скоро экзамен. Будет самая нужная медсестра в больнице. Хирургическая! — и на иконы перекрестилась. — Батюшка, ты слышал? В Колчине собираются храм закрывать.

— У Господа чудеса, а у людей чудесы! — Отец Викторин взял с письменного стола учебник Ниночкин. — Товарищ Сталин! — Взял другой. — И здесь товарищ Сталин. Власть рядится в атеизм, но в каждом селе ставит памятники вождю. Нередко на месте взорванных церквей. Явное стремление к единобожию по-советски.

Махнул досадливо рукой:

— Прости, матушка! Пойду к воде. Подышу.

Шел к плотине, думал о роде Зарецких. У каждого поколения случалось свое недовольство. Интересно, чем был недоволен семинарист Иван Глаголев, принявший по желанию учителя семинарскую красивую фамилию? Кстати, фамилию этого учителя. Зарецким Глаголев стал в 1790 году. Выходит, в царствование Екатерины II... При Екатерине был бунт Пугачева, разогнали, попересажали масонов, Радищев оказался в крепости. Глаголевы, впрочем, люди сельские, о хлебе насущном неклись. Тоже ведь священнический род. Поискать бы в древних приходских книгах. Увы! Россию накрыло время беспамятства. Отрекаются от Отечества. А где Отечество, там и Родина.

Вышел к реке. Смотрел, смотрел и вдруг понял: чуда хочется. Вот отразилось бы в воде лицо Полюшки. И даже за грудиной тесно стало. Пришлось

вздохнуть. Что он дал, протоиерей Викторин Зарецкий, священник в восьмом колене, матушке? Колокольный дворянин крестьянке? Шестнадцатый год в супружестве. Шестнадцатый год без своего дома. Вечные квартиранты, не угодные властям.

Слава Богу, руки у матушки золотые. С отроческих лет знает с иголкой.

...Родители отдали дочку в няньки одиннадцати лет от роду, в Москву. Хозяйка-богачка имела славу известной модистки, а девочка-крестьяночка оказалась сметливой, в учении прилежной. Мастерицей вернулась на родину.

Жены больших людиновских начальников наряды свои имеют от Полины Антоновны.

Когда-то для семьи Зарецких брак Виктора Александровича был неравным, негодным. Отец у невесты рабочий, мать — крестьянка.

— Моя жена — самого высокого рода! — объявил выпускник семинарии строгим родителям своим. — Девица Полина Антоновна в семейном гербе имеет два составляющих элемента: серп и молот.

...Стрелочка-стрекоза полетела в водные просторы, за собой позвала.

Вода — образ утешения и образ надежды. Худое вода уносит, а доброе всегда в пути, имей терпение дожждаться.

Перетерпишь — и будет. Непременно! Неотвратимо даже.

Вода тянула к себе удивительным запахом чистоты и детства. О таком воздухе говорят: не надышишься.

Виктор Александрович сел на камень. Камень был теплый. Тепло такое, будто ждало.

Вода, небо, человек... Завтра воскресенье — день Всех святых, в земле Российской просиявших. И ныне сияющих! День, когда время и пространство сливаются в единый вдох и выдох. Творение.

Господи! Господи!

Отец Викторин смерил взглядом небо и простор воды. Во сколько рядов стоят над Россией ее страстотерпцы! Соловецкие, колымские, лесоповалов Мордовии, шахт Ухты, Караганды, заповянных фантастических железных дорог по бездонным трясинам тундры, обожженные солнцем Голодной степи, герои Гражданской войны, упрянтанные в каменных мешках тюрем и все, бывшие наукой, бывшие музыкой, поэзией, театром, палитрой Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Казани... Какой город ни назови — не промахнешься. Сидят во Владимире, в Сызрани, в Тотьме. Сидят дети, сидят матери, родившие за решеткой... Урал, Арал, Сибирь, Карелия... Всякое место в России пригодилося быть тюрьмой.

И со всеми Бог. Любовь.

Отец Викторин споткнулся мыслью о Любове. Отверг сомнение тотчас. Нет в России такого печальника среди сидящих в заточении, который не уверовал бы в Любовь. Любовь — врата будущего. Самые жестокие карцеры не в состоянии вытравить из человека Любовь. Она в яйце одиночества, она и за скорлупой. За скорлупой весь Божий мир.

Само собой явилось: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня».

Рука нашла в нагрудном кармане крошечную записную книжицу и карандаш.

Ниневия пожрала здравый ум,
Долина Русская — ты поле зла и скорби.
На плаху совесть и любовь влекут,
Злодейство, души искалечив, горбит.

Записал. Превозмогая слабость, не позволял себе оглянуться, но оглянулся-таки. Никого.

Плескались о берег волны. Ветер с озера прилетал, теплый и летний. Лодка. Девичий смех колокольчиком.

Рука снова потянулась за карандашом.

Стрекоза отражение в озере ищет,
Смех девичий, как птица, летит над водой.
В лодку просятся волны и бьются о днище.
Лето. Наше Людиново. День золотой.
Нина с мамой, но в зеркало смотрит украдкой.
Поспевают духмяно в печи калачи.
А под окнами парни с трехрядкой
Вдруг являются в сладко манящей ночи.

У кого стихи получаются, тот летать умеет.
Поспешил к Полине Антоновне.

Полина Антоновна накрывала полотенцами румяные пироги.

— Запах — объеденье!

— Вот тебе пирожок за доброе слово! — наградила хозяйка хозяина.

— Матушка! Сначала послушай!

Прочитал запретное четверостишие. Строгое лицо Полины Антоновны совсем уж построжало.

— Батюшка! Сам знаешь. Ты их ничем не проймешь.

Виктор Александрович, не раздумывая, выдрал листок со стихами, кинул в печь, на угли. Листочек полежал, полежал и принялся корчиться, пыхнул и сгорел.

— Теперь иное! — улыбнулся поэт. — Нина на урок пошла?

— Праздник с одноклассницами готовит. Господи! Девятый класс закончила.

Виктор Александрович изумленно покачал головой.

— Мы с тобой те же, а девочка наша вошла в пору девичества. Послушай!

Прочитал стихи про стрекозу, про пироги, про будущих женихов.

— Даже сердце обмерло, когда про трехрядку-то! — призналась матушка.

— Нет, не Пушкин! Даже не Есенин! — Виктор Александрович разорвал листочек надвое.

— Батюшка, так не годится! Хорошие стихи. Будет чего вспомнить.

Полина Антоновна отобрала разодранный листок. Ушла к себе. В ларец убрала.

Виктор Александрович снял гитару со стены. Потянул басовую струну, запел, заиграл:

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Матушка, опершись плечиком о косяк двери, слушала, не шелохнувшись.

— Такая удивительная песня, и, Господи! — запрещенная.

Ночь песен

Ниночка ушла на гулянье: пятнадцать лет.

Да ведь и ночь замечательная: выпускники расстаются со школой, с отрочеством.

Самый долгий день все длился, длился. На улице серебряно, где-то близко ходят тайны, готовые открыться.

Отец Викторин постоял в матушкином цветнике и, понимая, что ночи не дождетя, пошел спать. Матушка оставила дела и тоже легла.

Потянулась за простыней, укрыться, а тут за-
пели. Озорно:

Черновские-то ребята
На все дела мастера.
Эх, черновские-то ребята
На все дела мастера.

— Черновские-то, наверное, учениками на за-
воде, — сказала матушка.

— Черный Поток — большая деревня. Народ
там с изюминкой.

Черновские пели азартно, удаль свою нахвали-
вали:

Эх, черновские-то ребята
На все дела мастера,
Они день работают,
Ночь на улице гуляют,
Всё посвистывают.
Эх, за колечко берут,
Ой, приговаривают:
«Дома ль Варя, дома ль Катя,
Дома ль душечка моя?»

— Даже звездочки не дождались! — улыбнулась
матушка. — Наша-то где? Не рано ли ей гулять-то?

— Полюшка! Балы сегодня школьные. Сама
знаешь, час молодости равен году преклонных лет.
Все ведь неповторимо.

Слушали:

Наша Варя у амбаре,
Она запёрта, заперта,
Она запёрта, заперта,
Запечатована.

— А знаешь, батюшка, чего я вспомнила?

— Да уж что-нибудь молодое.

— Ан нет! Вспомнила, как ты в Калуге, на архиерейской службе, по-гречески читал и пел.

— Это было при владыке Феофане Тулякове. Его потом перевели в Псков. Из Пскова в Горький, митрополитом. А дальше — тридцать седьмой год.

Опять молчали. Где-то в другом конце Людинова играли частушки:

Подружка моя, говорушка моя,

Мне с тобою говорить — головушка заболит.

Из-под моста выплывает уточка с утятами.

Научи меня, подружка, как дружить с ребятами.

Окна стали темными, сладкий запах ночных цветов звал в соучастники гуляющему в ночи молодому народу.

Гармони, будто светлячки, вспыхивали весельем то где-то в центре Людинова, то на его улицах и в окраинных слободах.

— Ты послушай! Послушай! — удивлялся отец Викторин.

Из-за леса, из-за гор

И шла ротушка солдат.

Раз-два-три, любя да люли.

И шла ротушка солдат.

— Ребята, пожалуй что, строем идут.

Раз-два-три! Перед ротой капитан,

Перед ротой капитан

Хорошо маршировал,

И совсем уж весело.

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша,

Здравствуй, любушка моя.
Здравствуй, любушка моя,
Дома ль мать с отцом твоя?
Раз-два-три, люба да люли!
Дома ль мать с отцом твоя?

Вдруг ответили с хохотом девчата:

Дома нету никого,
Полезай, солдат, в окно.
Раз-два-три, люба да люли,
Полезай, солдат, в окно.

Ребята разобиделись, голоса ухнули мрачно:

Ой, какая эта честь —
По-собачьи в окна лезть.
Раз-два-три, люба да люли,
По-собачьи в окна лезть,
По-собачьи в окна лезть.
На то двери в доме есть.

— А ведь это манинская песня! — вспомнила матушка. — Мы с папой и с мамой в Иерусалимский скит ездили, неделю в Манино жили. Там это пели... Как думаешь, батюшка, у нашей Нины вздыхатель есть?

— Она же у нас красавица!

— Господи! Совсем ведь былиночка!

— Былиночка! — согласился ласково отец Викторин.

И тут дверь скрипнула, отворилась.

— Да ведь это нашу провожали! — ахнула матушка.

Война

В оконную раму стучали и, должно быть, двумя кулаками. Матушка металась по комнате:

— Отец! Пришли!

Отец Виктор надел пиджак, открыл окно.

На грядке с цветами — батюшка Николай Кольцов. Глаза вытаращенные. На бледных щеках дорожки пота.

Светло, свежо.

— Доброе утро! — поклонился отец Викторин.

— Война! — тонким голосом закричал Кольцов. — Без объявления. Батя! Делать-то что? Служить молебен? Может, в колокол ударить?

— Война? — ужаснулась матушка, выглядывая из-за плеча мужа.

— Молотов по радио объявил. Вероломная.

— С немцами? — уточнил отец Викторин.

— С немцами. Батюшка! Не оставь!

— Открывай двери храма. Молебен служи о даровании победы.

У Кольцова глаза совсем круглыми стали.

— В какой книге молебен-то?

— Требник полистай, батюшка! Своими словами моли Господа.

Отец Николай подхватил полы рясы, кинулся бегом, топча ирисы, укроп и редиску.

— А мы о женихах на ночь глядя размечтались, — сказал Виктор Александрович, обнимая матушку, дрожащую как лист осиновый.

— У немцев-то — Гитлер!

— А у нас — Сталин, — отец Викторин коснулся пальцами листочка календаря. — двадцать второе июня. Наполеон этак начинал. В самую короткую ночь и тоже без объявления. Вероломно.

Слезы навертывались на глаза матушки.

— Ниночка-то сладко так спит! У нее во сне мир. Господи! Война. На всех невинных пропасть! — Припала головой к груди батюшки: — Скажи, победим, хоть он и Гитлер?

— Наполеона изничтожили. Наполеон всю Европу на Россию навел. Правда, на своей земле дрались. На немецкой территории воевать будет тяжело. Немцы давно к войне готовились.

Открыл Библию. Удивился.

— Книга пророка Ионы. Много терпением, матушка, запасайся, и надолго. — Прочитал: — «И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться...» Дальше ты, матушка, знаешь: бросили Иону в море, и его проглотил кит. Но нам важен венец события. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой...»

— Да-а-а! — закивала головой матушка. — Кит проглотит нас.

— Ты принимаешь прочитанное, как ребенок! — Батюшка взял матушку за руки. — И слава Богу! Правда за детьми. Сердце все знает... чего ждать, чему быть. Ум противится. Даже Господь в Гефсиманском саду страшился Голгофы, — и замолк. — Полюшка! Я не представляю, что нас ожидает.

От взгляда ли матушкиного, от сердца ли любящего — тепло волной.

— Будем жить, батюшка. Бог жизни дает.

Проводы

Из своей Ольшаницы бабушка Евдокия Андреевна приехала рабочим поездом, Павлушу проводить. Пирожков ему напекла. С грибами, с телятиной. Сосед теленка зарезал. Павел в Москву собирался, в институт поступать, но теперь путь его лежал в иную сторону, навстречу войне. Воевать — молод, а вот рвы копать, преграждая дорогу танкам, сгодился. На рвы, на окопы забирали студентов, незамужних женщин, девушек.

Вещмешок брату нес Алеша. Сумку с продуктами — Сашка. В сумке — картошка в мундире, банка соленых огурцов, спичечный коробок с солью и в белой тряпице кусок сала.

Авоську, где буханка хлеба, завернутая в газету, пара луковиц и бутылка молока, тащил Витька. Дина держала Павла за руку, а бабушка несла лукошко с пирогами да еще платок — слезы утирать.

Трехтонки военных, полуторки, собранные в Людинове, стояли на площади. Оркестр сыграл «Интернационал», командиры в португелях поверх шинелей крикнули:

— По машинам!

Павел пересыпал пирожки из лукошка в авоську, бабушку поцеловал, сестрицу на руки взял, пошептал ей что-то. Братьев обнял, сразу всех троих.

Павлу досталась трехтонка людиновская. Трехтонка — машина надежная, не увязнет в луже.

Алеша, держа Дину за руку, побежал за Павлом. Может, Павел забыл что-то важное сказать.

Бабушка охнула, выронила платок.

Машины тронулись.

— Павка! — крикнул Алеша.

Павел привстал со скамейки, оглянулся, скользнул глазами по толпе, увидел:

— Алеша! Дина!

— Бабушка-то вон где! — показывал старшему брату Сашка.

Павел бабушку увидел. Лицо его стало радостным.

— До свидания! — рукой взмахнул, но шофер переключил скорости, машина дернулась, и Павел стал заваливаться. Его подхватили, усадили.

Оркестр во все тяжкие надрывал сердца маршем летчиков: «Всё выше, всё выше, всё выше стремим мы полет наших птиц».

Отец отправлял вчера эшелоны с техникой, с новобранцами. Красный командир, летчик, прибывший за пополнением, сказал ему правду:

«Немцы все наши самолеты на земле сожгли. Я на Северный полюс летал, а меня — на железную дорогу. По канавам от немецких самолетов бегаю прятаться. Бомбят безнаказанно! Мы по ним из пистолетиков пукаем».

Алеша посматривал на небо. Чистое. Вот только где теперь немцы? Минск они взяли через неделю, как начали войну.

— Все-таки не фронт, — сказала бабушка, сама себя утешая.

А Сашка с Витькой уже затеяли стрельбу, перебегая от дерева к дереву:

— Пах-пах! — Трах-трах! — Пах-пах! — Тры-ты-ты! Алеша передал Дину бабушке:

— На озеро схожу!

Евдокия Андреевна остановилась у Казанского, давно закрытого собора:

— Господи! Помолиться негде!

— Церковь у нас на кладбище.

— На кладбище, — согласилась бабушка. — Ты, Алеша, не загуливайся. Я отдохну и схожу в храм. Поленишься — век себе не простишь. Молебен закажу.

— Я быстро.

Алеше показалось — озеро ждет его. Вскинул глаза на дома по набережной. Настоящие советские дома. Для стахановцев. А вот озеро было и будет. На все времена.

Вода — зеркало для неба. Зеркало-то зеркало, волны нет, а земля взгудывает: озеро ломит берега. Гулы тревожные, будто на душе у земли пусто. Не желает быть отданной немцам? А как ее защитить, родную землю? Отцу проситься на фронт запрещено. Для заместителя начальника транспортного цеха тыл — передовая. Павла в Киров повезли, в бывшую Песочню, всего за тридцать километров. В Кирове готовят линию обороны.

Но лопата — не винтовка.

Самому пойти в военкомат? Ребят 1925 года рождения прочь гонят — военкому нужно самое важное доказать: от каждой семьи должен быть воин. Тогда немцев на фронте будет меньше... У комиссии один ответ: ваше дело — учиться. «Их хабе ди натур...» чего-то там «флюр». Вольфганг Гёте... А наши отступают. Товарищ Ворошилов, товарищ Буденный, товарищ Тимошенко — маршалы Советского Союза, герои Гражданской войны, непобедимые... Как же так? Толю Апатьева в военкомате даже слушать не стали. Он в дверь, а ему: «Кругом марш!»

Надо пойти вечером, когда военком устанет. Алеша поднял руку перекреститься. Как бабушка. И дотронулся до кармана, где комсомольский билет. На себя надо надеяться, на свою страну.

Вода, леса, простор... Если люди ослабели, пусть земля за себя постоит.

Одними губами, но всею силой, какая есть в человеке, попросил:

— Немцы придут, поднимись, Ломпадь, поднимись, Неполоть! Утопите все их танки, все их пушки!

Домой пришел. Евдокия Андреевна в церкви, Дину с собой взяла.

— Бабушка говорит, детская молитва самая сильная, — сказал Витька.

— Вот и помолись обо мне. Я к военкому. Только помалкивайте. И ты, и Сашка.

В военкомат поспел перед закрытием. Чуть было не столкнулся с рабочими отцовского цеха. За угол отскочил. Всех троих Алеша знал; мрачные, смотрят перед собой, молчат — погнал военком, хоть и очень, наверное, усталый. Локомобильный завод оружие делает, а отцовские эшелоны все ценное, что есть на заводе и в Людинове, за Волгу перевозят. Локомобильному заводу назначена для эвакуации Сызрань.

Потомившись за углом, Алеша нырнул в опустевший коридор строгого казенного здания.

Открыл дверь в кабинет и услышал:

— Школьники — подспорье фронту в тылу. Без надежного тыла врага не одолеть.

Алеша все-таки переступил порог, дверь за собой затворил. Лицо у военкома серое.

— Еще навоюешься. Сколько тебе?

— Шестнадцать. Я — комсомолец.

Военком уперся лбом в ладони:

— До свидания, Шумавцов! Отцу будь помощником, матери — опорой.

Алеша помедлил еще одно мгновение. Он был крепыш, хорошего роста, лицо серьезное. Юный мужчина. Повернулся, толкнул дверь. Сидевший за столом военный быстро поднялся, догнал Алешу в коридоре:

— Хочешь быть с армией?

— Хочу, — Алеша не посмотрел на военного, не остановился.

— Давай без обид.

Алеша поднял глаза:

— На молодость не обижаются, товарищ сержант госбезопасности.

— В знаках отличий разбираешься, Шумавцов. Фамилию я запомнил. Как зовут?

— Алексей.

— Сын Семена Федоровича?

— Так точно.

— Приходи ко мне в пятый кабинет, в 20.00.

О войне будем говорить.

Сержант не шутил.

— Где ваш кабинет?

— Возле хлебзавода. В райотделе НКВД.

Алеша кивнул и только потом удивился.

— О нашем разговоре знать не положено даже отцу с матерью. Если дежурный, когда придешь, остановит, скажи: по вызову Василия Ивановича Золотухина. Себя не называй.

Алеша снова кивнул.

Сердце вдруг защемило. Дело плохо, если он, школьник, нужен войне.

— Зову на хорошее дело, — просто, как своему, сказал Золотухин. — Будем работать на победу.

Государственная тайна

В восьмом часу вечера Алеша открыл самые страшные двери в Людинове, самые государственные. У дежурного в кобуре пистолет, в петлицах треугольник — младший сержант.

— В пятый кабинет, — сказал Алеша.

— Второй этаж.

Лестница деревянная, но беззвучная. Сердце постукивало. В коридоре темновато, горит одна лампочка. Ага! Дверь старинная, как в купеческом буфете.

Самый секретный начальник в Людинове, почему же он тратит время на школьника? Ладно!

Потянул витиеватую медную ручку на себя. Дверь, уж такая тяжелая с виду, отворилась легко.

Стол, на стене портрет Дзержинского.

— Проходи, садись.

Золотухин встал, открыл сейф. Из картонной папки достал две небольших стопки картинок. Одну положил перед Алешей:

— Запоминай. К этому надо быть готовым.

Алеша сначала посмотрел на Золотухина. Лицо, как у машиниста, который пассажиров возит. У отца Алешиного все друзья машинисты.

— Устал маленько, — признался Золотухин. Сел рядом. — Такие вот дела, Алеша Шумавцов.

На картинке петлицы, погоны, значки на пилотках, на фуражках, на рукавах, нагрудные эмблемы.

— Рядовые солдаты разных родов германских войск. Различать надо безошибочно.

Василий Иванович из другой стопки взял несколько картинок. Пушки, танки, пулеметы, винтовки.

— Лучше бы это видеть. — И усмехнулся: — Насмотришься.

Алеша держал в руках картинку с пушками. За крепким столом, на крепком стуле, а в животе ухнуло, будто с трамплина на лыжах сиганул: немцы в Людиново придут.

— Еще раз посмотри на знаки отличия, и вот тебе лист бумаги, карандаш. Зарисуй, что запомнил. Немецкую армию тебе надо будет знать лучше самих немцев.

Алеша снова и быстро взглянул на сержанта.

— Лицо приучи к невозмутимости. Интересоваться вражеским оружием надобно со всею страстью, а на лице хранить равнодушие. Дурака из себя никогда не разыгрывай! Тот, кто будет следить за тобой, должен углядеть единственное

в твоих глазах, в твоём лице — тебе страшно и ничего не надобно. Только бы дали жить.

— Хорошо, — сказал Алеша.

— Теперь о главном, — Золотухин пересел в свое деревянное креслице. — Я — будущий командир партизанского отряда. Мое место в лесу. Ты останешься в городе. Ты — подпольщик. Будешь собирать сведения о немецких частях, стоящих в Людинове. Вся добытая информация пойдет через связных в отряд.

Забрал картинку с погонами:

— Нарисуй, что видел.

Алеша нарисовал.

— Хорошие у тебя глаза. Отменные. Завтра будем учиться, как нужно вести наблюдения и как самому не стать объектом вражеского интереса.

Снова сел рядом, положил руку на Алешино плечо:

— Я знаю, ты человек верный. И все-таки прошу подумать. Алексей! Тайная борьба вызывает у врага особую ненависть. Если подпольщик попадает в лапы гестапо, его пытаются, выбивая имена товарищей. Разведчиков к работе готовят годами, сколько у нас времени, мы не знаем, но очень мало. Подумай.

— Я же пришел!

— Верно. Ты — пришел.

Подавал Алеше руку. Пожатие взрослого, обремененного государственной властью человека, — награда.

Домой возвращался подпольщик Шумавцов, ни о чем не думая, все уже сделано. И вдруг — Толя Апатьев с мешком угля в тачке! Алеша не сбавил шага, но свернул в первый же переулочек. Не мог он посмотреть Апатьеву в глаза, будто ничего не произошло.

Произошло. Прежнего Шумавцова на белом свете уже нет. Немцы пока далеко, а в Людинове партизаны, подпольщики...

Запнулся возле крыльца своего дома. Готов был повернуть, да через окошко на него посмотрела Дина.

Длинными сенями шел на ватных ногах. Два часа тому назад он был школьником, старшеклассником. Был сыном, внуком, братом, товарищем Толи Апатьева, другом футболистов. И всё — в прошлом. Даже на маму посмотреть страшно. Она ж не поймет: сын теперь совсем другой. Он человек, избранный государством вести против Гитлера секретную войну.

А у мамы оладушки.

— Поешь, пока теплые.

Алеша черпнул оладушкой сметану.

— Слышишь? — испугалась мама.

— Что?

— Гремит.

Положил оладушек, вышел в огород. На краю земли и впрямь вроде бы поухивало. Мама тоже вышла из дома.

— Может, гроза?

— Это война, мама. Ка-но-на-да называется.

Шагнул в сад.

Мама ждала его на крыльце.

— Неужто в Людиново придут? Или все-таки отгонят?

Алеша смотрел на яблони. Для немцев, выходит, сажали.

— Оладушки у тебя вкусные. Пойду поем.

Ел, чтоб только маме в глаза не смотреть.

— Мы немчуру все равно побьем. Били поляков, били французов. Немцев тоже били. На Чудском озере.

Мама охнула:

— Лешенька! Уж очень страшно. От Людинова до Калуги — сто восемьдесят километров и от Калуги до Москвы — тоже сто восемьдесят.

— Километрики, мама, дорого будут немцам стоять.

— Что нам немцы. О Паше сердце болит. Сколько уже полегло! Сколько еще ляжет...

— За Родину умирать не страшно.

— Молчи! — вскрикнула мама. — Не страшно ему... Матерям страшно! Матерям, нарожавшим наш народ. Дай тебе ружье, бегом побежишь стрелять. А пушки землю рвут вместе с людьми. Кто останется с твоей матерью, чтоб защитить ее? А у нее на руках трое.

Алеша опустил голову:

— Прости, мамочка.

Опустил руки, опустил плечи.

— Ты меня прости.

Машина подъехала к дому. Отец — большой, решительный.

— Оладьи? — Ополоснул руки, сел за стол. — Поем, и на завод. Оборудование будем отправлять. Завтра начнем эвакуацию людей. Где малые?

— Татьяне Дмитриевне помогают сад убирать. Хотеевой. Татьяну поварихой взяли в истребительный батальон.

— Ты, Ксения Алексеевна, тоже времени даром не теряй, собирайся, но умно собирайся. Бери самое необходимое. Наш эшелон последний, но будь готовой к отъезду уже через день, а еще вернее будет, что и через час.

Поел, выпил кружку молока, и с оладушком в руке — к дверям. Остановился перед Алешей:

— Совсем тебя не вижу. Как наш Павел-то, Господи!

Впервые у отца этакое с языка сорвалось, Бога вспомнил. Павел то ли в Кирове, то ли под Брянском, а война от Брянска уж очень близко.

Учеба

Утром за Алешей машина заехала, в машине Григорий Иванович Сазонкин — заводской человек. Контролер ОТК, великий изобретатель.

— Ксения! Алешу на завод беру. Рук не хватает, сама знаешь.

— А мы? — тотчас поднялись малые: Витя, Саша, Дина.

— Вы помогайте матери собираться в дорогу, — сказал Сазонкин. — Берите с собой самое нужное. И об Алешке позаботьтесь.

Повез Сазонкин Алешу не на завод, в лес.

— Я от Золотухина, приказано обучить тебя подрывному делу. Правду сказать, я сам вчерашний курсант. В Брянске меня учили.

Машину Сазонкин отпустил возле болота.

— Здесь комары, но пора их почти миновала. Главное, сюда грибники не ходят.

Через черемушник вышли на моховую поляну. Сухую, а грибы — вот они — красноголовые.

— Не до грибов! — сказал Сазонкин, раскладывая на плащ-палатке странные штуковины. — Это разные типы капсюлей. Знать их надо, как родную мать.

Учеба шла скоростная. На первом же уроке Алеша заложил и рванул первую в жизни мину.

«Первая в жизни мина», — даже головой вскрутил: мины стали частью жизни.

Вечером Алеша был у Золотухина. Василий Иванович поделился информацией: образован Брянский фронт. Командующим назначен генерал-лейтенант Еременко. Силы фронта — две армии: 13-я и 50-я.

Показывал Алеше, как готовить конспиративную встречу. Тайного тут было немного: точно знай место, имей несколько вариантов отхода. Познако-

мил Золотухин ученика с азами топографии. Прощаясь, сказал:

— Меня вызывают в Брянск. Продолжай учебу у Сазонкина. В минном деле надо быть мастером.

— В нашем деле даже хорошистов нет, не то что троечников, — Сазонкин обучал Алешу обезвреживать мины. — Отличная оценка — жизнь. Простая философия.

Алеша открутил подряд десять капсулей. Рубашка мокрая от пота, в глазах вопрос.

Сели на пеньки передохнуть.

— Боюсь, занятие наше последнее, — сказал Сазонкин.

— Не гожусь? Из десяти единожды дрогнул.

— Одного раза довольно.

Сазонкин свернул сигарку, закурил.

— Твое дело — ставить мины. Разминировать нашу землю будем, когда немцы побегут в Берлин.

Лоб у Алеши напрягся, глазами в глаза.

— Вы прямо скажите: гожусь?

— Алешка! Алешка! — Сазонкин вдруг засмеялся, пустил облако дыма. — Ты годишься девок целовать, а мы тебе вон каких невест подобрали.

Дотронулся рукой до мины, нагнуться не поленился.

— Экзамен немцы будут принимать. С Богом, солдат!

Алеша поднялся, постоял.

— Спасибо за учебу.

— С Богом, говорю.

— Вы верующий?

Сазонкин улыбнулся:

— Я — человек русский. Все русские — православные.

Алеша глядел вверх сосен. В облаках синие прорехи. Октябрьские.

— Православные... Слово хорошее.

— Лучше не бывает, — сказал Сазонкин; смотрел он очень хорошо.

— Я пойду... До свидания.

Шел не оглядываясь. Чуть ли не украдкой на ладони взглядывал. Десять обезвреженных мин — десять спасенных жизней. А десять поставленных, замаскированных мин?

По кустарнику продрался к свету. Поле. Показалось что-то не так. И обмер: поле шевелилось. Поле, широкое, просторное... текло.

— Мыши!

Мыши уходили. Не мог сообразить — от войны или наоборот. А наоборот, значит, шли на войну.

Все-таки нехорошо это — столько мышей видеть. Даже не во сне, наяву.

Орел

В истребительный батальон записали двести пятьдесят человек. Большинство бойцов — рабочие Людиновского локомотивного и Сукремльского чугунолитейного заводов. Оружия — два пистолета: у оперуполномоченного НКВД командира Золотухина и у секретаря райкома Суровцева.

Из двухсот пятидесяти отобрали сорок — в партизаны.

Фронт по Десне, по Болве совсем близко, но держится. В эти считанные дни советской жизни Золотухин подготовлял к тайной войне старых и малых, закладывал схроны продовольствия.

— Соображай, Василий Иванович, соображай! — приказывал себе начальник партизанского отряда. Ошибиться в одном человеке — всю организацию на виселицу отправить. Просматривал списки сексотов. Стукачи — племя подлое. Первыми побегут в гестапо.

Поставил на схроны двух рабочих. Александр Николаевич Трунов партиец, но выдвиненцев и говорунов на дух не терпит. Работает хорошо, семья у него хорошая, спокойный, знающий себе цену человек.

Для Герасима Семеновича Зайцева Людиновские леса — дом родной. Опять-таки семьянин, а вот биография с пятном. В Первую мировую был в плену. Два года работал на хозяина Фрица. По-немецки умеет. Трудиться научен аккуратно, совестливо.

Трунов и с виду — рабочий человек.

Зайцев носит рабочую кепку с широким козырьком, усы у него, как у заводского питерца, но в лице, в глубоко посаженных глазах крестьянская хитреца. В деревне, в Думлово, у него свой дом. С женой живут в любви, дочку растят, Лизоньку.

Тайники Трунов и Зайцев закладывали за рекой Птиченкой. Леса истинно Брынские.

Доставляли провизию к схронам со всею секретностью. Землю копали не ленясь, маскировали так, чтоб и опытный глаз не увидел перелопаченного дерна. Таиться было от кого. Свои — невелика опасность. Деревню стороной можно обойти, затемно. Но по лесам бродили дезертиры, красноармейцы разбитых частей, немецкие разведчики, немецкие диверсанты из наших солдат, завербованных в концлагерях, покупающих предательством жизнь, а глядишь, и будущие поместья.

Мужичков Золотухин нашел стоящих: ни единого схрона не было разграблено. О своих сорока героях тоже позаботился.

Через Суровцева договорился со штабом дивизии подготовить партизанский отряд к боевым действиям. Под пулями над головой смелые тоже ищут скорейшего спасения, а скорейшее в бою — смерть.

Командование 218-й стрелковой дивизии, державшей оборону по Десне, выдвинуло партизанский

отряд людиновских рабочих на передовую. Быть частицей дивизии — лучшее лекарство от смертельного страха. А тут еще винтовки дали, пострелять разрешили. По немцам! Праздничным получился день крещения огнем.

Вечером заместителя начальника партизанской разведки Короткова вызвали в штаб. Вернулся с боевым заданием: переправиться через Десну, добыть сведения о немецких тылах, есть ли у немцев резервы для наступления.

Первое дело, и сразу такое суровое: ошибешься — поставишь под удар целую дивизию.

По тылам врага ходить смелого сердца мало, тут нужны дар терпения и счастья. Добудешь «языка», обманешь караулы, а «языку» этому сказать нечего.

Перебрался Коротков со своими ребятами через Десну. Дожидаясь ночи, неподалеку от села залегли.

Видят — идет полем человек. Мужик, а рубаха до колен, волосы бабьи, по плечам, по груди. Чего-то бормочет, поет, но негромко и вроде по-церковному.

Взяли, привели в убежище разведчиков, в заросли ракитника.

— Допросить! — распорядился Коротков.

А странный мужик — вопросы мимо ушей, лег на живот, ромашки гладит, поет. И впрямь церковное:

Я сам к Тебе, Матушка, буду,
Я сам Тебя, Деву, споведую,
Я сам Тебя, Деву, причащу.
Я сам Твою душеньку выну,
Я сам Твои мощи привпокою.
Спишу я Твой лик на икону.

— Сектант, сумасшедший! — решили разведчики.

Отпустили. Покружил-покружил болезный по полю, поласкал цветы и в село ушел.

А через несколько минут с колокольни по раки-товым кустам, срубая деревца, ударили пулеметы. Земля-матушка от смерти спасла наивное воинство.

— Ведь это разведчик ихний был! — Коротков кулаком по лбу себя стучал. — «Язык» сам пришел, а мы ему расположение свое показали и отпустили с миром.

Ложбиной ушли к реке, под защиту высокого берега.

— Хороший урок получили! — не мог успокоиться Коротков. — Ладно хоть бесплатный. Никого не потеряли.

Первый блин комом, а второй удался.

Вернулись разведчики, собрав нужные сведения, где и что у немцев, «языка» приволокли языкастого.

Командир дивизии обратился к Суровцеву, к Золотухину с просьбой: отдать партизанских разведчиков армии, но в отряде лишних бойцов не было.

Возвратившись из командировки на передовую, Золотухин сказал Алеше Шумавцову:

— Я жалел, что тебя не было на Десне. Мы все храбрые, только храбрость моя теперь с глазами. Война — учитель жестокий, но она учит оставаться живым.

Положил руку на плечо своего тайного солдата:

— Вот что, парень! На немца в одиночку ходить — все равно что на стаю волков. Собирай группу. Не по приятельству, а таких, чтоб не дрогнули.

— Скоро придут? — У Алеши сердце заныло. — Отец последний эшелон формирует.

— Прости ты нас, но для тайной войны Алексей Шумавцов очень нужный человек.

— Футболистов своих возьму! Уж они-то умеют биться. Толю Апатьева. Его, правда, хулиганом зовут...

— Хулиганство, драчливость — это для прошлой жизни. Когда сражаешься за Родину — ты сын Родины, дочь Родины.

Алеша не решился посмотреть в лицо учителю. Неужели не боится немцев? Картина нарисовалась: на площади танки с крестами, на улицах вместо женщин и детей марширующие солдаты. У зданий часовые. На крышах флаги со свастикой.

Лицо Василия Ивановича простецкое, но это игра в простака.

— У Брянского фронта всего две дивизии. Володя Коротков с нашими разведчиками в немецком тылу обнаружил сосредоточение войск. Немцам не Людиново нужно — Москва. Мы у войны на пути. На разгром СССР Гитлер шесть недель отпустил своим генералам. Не учел: с русскими мужиками воевать придется, с русскими бабами, с такими хлопцами, как ты. Слушай самый главный и самый секретный совет: терпением запасайся. Вся война еще впереди.

Алеша посмотрел-таки на Василия Ивановича: до того усталый человек, улыбнуться сил не имеет. Однако плечи развернул, сел, как начальники сидят.

— Ты будешь у нас Орел. Это имя твое. Боевое.

— А девчат брать? — спросил Алеша.

— Еще как брать! В женщинах не видят воинской силы. Слабый пол. Но для тайной войны женщина — все равно что бомбовоз с верткостью истребителя. Алеша! Девки — будущие бабы, живучие. Нам в этой войне выжить надо.

Встал, подал руку. Обнял.

— Приказы и донесения пойдут через связников. Высокого тебе полета, Орел!

— Отряд уже уходит? — вырвалось у Шумавцова.

— Не сегодня, а про завтра сам не знаю.

Обман ради высшей правды

Ветер ударил в грудь по-бандитски, будто за дверью ждал. В парке золота по колено. Деревья голые, тянутся в небо, а в небе не спрячешься.

Возле Казанского собора (теперь это кинотеатр) Алеша остановился. Что-то было здесь непростительно не так.

— А-а-а!

Никогда этого не замечал, и вот открытие.

Крестов нет. Ни единого. Немцы придут с крестами. С черными.

— А наши были золотые, — вслух сказал.

Летчики Бога в небе не видели. Ученые сказали: мир сотворен не семь тысяч лет тому назад, как говорит Библия, а многие миллионы веков вглубь времен...

Перекрестился.

— Я не из страха! — снова вслух, громко, но кому? — Я как все русские. Как на Бородинском поле. Как на поле Куликовом. Как на Чудском озере.

На площади пусто.

Огромный разоренный собор. Без крестов. Без Бога. Огромные черные деревья. Небо огромное. Людиново, по здешним меркам, тоже огромное. А он — единственная сила против немцев. У них Франция, у них Польша, у них Россия, занятая по Десну, а потом будет по Людиново и дальше.

Дальше Москва.

Об эшелоне вспомнил. Домой бегом бежал. Отец стоял на крыльце.

— Где ты ходишь? Как стемнеет, грузимся, ночью отбываем. Подвезу тебя к станции. Рабочий

поезд пойдет до Дятькова и обратно. Привезешь бабушку. Из вещей берите самое необходимое.

— Я на минутку домой!

Вошел в сени — не Орлом, мальчиком Лешенькой, с бьющимся от любви сердцем. В свои семь лет он очень не хотел уезжать от мамы к тете Наташе, к дяде Якову Алексеичу. Но тетя Наташа нынче для него — тетя-мама.

— Мама! — сказал он с порога.

— Костюм, рубашки я в сумку твою сложила. Что хочешь взять с собой?

— Не знаю.

Смотрел на маму. Он почти десять лет, кроме двух-трех летних месяцев, жил у Тереховых, у него комсомольский билет на Терехова, но мама своего Алешу любила. Мама очень его любила.

— Шахматы я к себе положил, — сказал Витек. — В эшелоне сыграем.

— Обязательно. Немцев надо, как в шахматы, обыграть.

— Немцев колуном по башке! — Сашка хоть и маленький, но грозный человек.

Подошла Дина, глаза у Дины, как небо синее. Потянулась, поцеловала в щеку.

— Тебе к бабушке? Ты торопись. Бабушка ходит медленно.

Слезы хлынули по щекам. Слезы и вправду соленые. Сграбастал Витьку, Сашку.

— Мама!

— С Богом, сыночек!

Ксения Алексеевна перекрестила Алешу.

— Не позволяй бабушке в узелках копаться. Возьми... Господи, какие у нее сокровища? Крестик серебряный да дедушкины швейцарские часы.

— Икону брать?

— Бабушку не огорчай. Бери. С Богом, Алеша! Вот тебе хлеб. До Ольшаницы недалеко, поешь в дороге.

Потянулась, поцеловала в волосы над виском.

— Мальчик мой! Ты ведь выше матери.

Машина гуднула.

— Отец сердится.

— Ладно. Лечу!

Вздыхнул уже в сенях. Дома не знают: он у них — Орел.

— Будь с бабушкой потверже. Не опаздывайте к поезду! — Отец, прощаясь, хлопнул сына по плечу, а потом коснулся ладонью лица, ласково.

По гористой Ольшанице Алеша шел быстро, а торопиться не надобно. Его место — Людиново. Боевое место. У каждого красноармейца на войне свое место.

Евдокия Андреевна сказала ему, хотя он еще порога не переступил:

— Кому я нужна в Сызрани? Ольшаница — село корявенькое, с оврагом посредине. Чего тут немцы не видели? Придут, так не задержатся.

Алеша принес со двора охапку дров, затопил печь.

— У огонька повечеряем. Утром с рабочим в Людиново поедем.

— Немцев ждут, а всё работают.

— Для фронта. Танки чинят.

Бабушка складывала нужное на лавке. Шубу из цигейки, две кофты, две юбки, два платья.

Открыла сундук с приданым.

— Немцам оставлять?

Расшитые рубахи, паневы, надевники.

— А это что?

— Занавески, — объяснила бабушка. — Сначала надевник, сарафан, а занавеска сверху. Как раз грудь закрывает.

— И все это ты сама вышивала?

— И сама. Есть мамины занавески, бабушкины.

— Возьми по одному всего! — сказал, а сердце застучало. В Сызрань это не уедет...

Бабушка поставила горшок с гречей.

— Аксинья, соседушка моя, банку сметаны принесла. Со сметаной съедим.

Села на свою скамеечку подле внука.

— Синие огоньки бегают по полешку, — показал Алеша.

— Огонь в печи всегда был мне в радость, — пригорюнилась Евдокия Андреевна. — Сегодня огонь свой, роднее нет его, а чей приветит завтра? Свой огонь сказки рассказывает.

— Вот и расскажи! — Алеше хотелось бабушку занять, а сам дыхание затаил: не кричит ли гудок поезда, созывая народ на станцию?

Бабушка разглаживала на коленях любимую занавеску.

— На вечерки в ней хаживала.

— Бабушка, ты сказку обещала.

— Не хитри. Не до сказок. Жизнь перед глазами прожитая... Взять этот надевник. Рукава видишь, как вышиты? Подруженька моя вышивала. Я над ее надевником трудилась, она над моим. Славная была девушка. Из Думлова к нам парни ходили на вечерки. Настенька Гришу выбрала. Кудрявый, голосистый. Дело к свадьбе шло, и — беда. Отбила у Насти жениха наша девка Акулька. Девка как девка, в Ольшанице все девки пригожие. Но только в этом деле не обошлось без приворота. Акулька к дядьке своему ходила, дядька у нее был колдун. Ради Гришиных кудрей души своей не пощадила. Когда помирала, крышу пришлось поднимать — на всю Ольшаницу стоял вой.

Бабушка повздыхала, положила надевник в кучу вещей, какие надобно с собой взять.

— Я не ради Акульки историю рассказываю. Настя, когда Акулька приманила к себе Гришу, вышла замуж за его родного брата. За Василия. Двенадцать лет жили — не тужили. Но как толь-

ко Акулина померла, Настя оставила Василия и пошла в дом Григория. Акулина Григорию нарожала девятерых. И своего Настя родила, а от Василия детей не было у нее. Вот такая притча вышла у нас в Ольшанице. — Бабушка снова села на огонь смотреть. — Чего ради я все это вспомнила? Тут и зла предостаточно, и горьких обид. Но Василий простил Анастасию, Анастасия простила Григория. Все десятеро ребятишек выросли людьми хорошими, семейственными.

— Каша гречневая полезная, но давай картошек напечем! — предложил Алеша.

— В ведре возьми. Такой урожай хороший! И всё бросим...

— Проклятая война. Проклятые немцы.

Бабушка перекрестилась.

— Ты, Алеша, проклятиями не бросайся. Уж очень это страшно. — У бабушки глаза синие, как у Дины. Дина, должно быть, в эшелоне. — Знаешь, Алеша, сколько хороших, работающих людей среди колонистов?

— Бабушка, тебя бы вместо Калинина.

— Пусть сидит себе на своем месте. Калинин многие церкви спас. Взорвали бы! А он заступился. Теперь, в час недобрый, есть где Богу помолиться.

— Бабушка, а ты самая настоящая верующая?

Евдокия Андреевна глянула на внука без укора, но строго:

— Потому и бежим из Людинова, что отшатнулись от веры. Господь, наказывая, половину России отдаст врагу на поругание. Божие вразумление, как пришествие всадника на белом коне, который забирает мир с земли. Дан ему большой меч, а нынче у всех людей в руках мечи, чтоб убивали друг друга.

Алеша вскочил, подошел к иконам.

— Бабушка! Ну что ты говоришь? Мы ведь дружили с немцами, а они вероломно, без объявления...

— Свою совесть надо держать в чистоте. Тогда, как бы тебя ни предали, останешься в правде. Тебе будет дана победа.

— Бабушка, мы возьмем икону?

— Лоб перекрести и бери. Какую возьмешь, та и будет судьбой.

Взял Иерусалимскую икону Божией Матери.

— Это из Манинского хутора, из Иерусалимской пустыньки. Мне иконку матушка Харита подарила... В тюрьме сидит. Слава Богу, хоть от войны далеко.

* * *

В Людинове ключ лежал под ковриком.

На столе, в большой комнате, листок бумаги:

«Алеша, я договорился. Можно уехать на машине. Сходи на завод, но иди сразу с бабушкой. Поезда движутся медленно. Вы нас догоните. Деньги в книжном шкафу».

Открыл толстый том Горького. Деньги немалые. На дорогу хватит.

— Интересно, какие деньги у немцев?

Бабушка опустилась на диван:

— Алеша, я никуда больше не побегу.

И — грохот. Мощный.

Дом трясануло.

— Бомбят? — спросила бабушка.

— Может, в подпол спрятаться?

— Там темно. Придавит, намучаешься.

— Ладно, — сказал Алеша. — Ладно.

Еще бы миг, и жизнь ждала иная...

Полуторка — самая ласковая машина на белом свете. Кабина кепочкой, кузов как раз для богатств советского человека. Невелик кузовок, но везет полуторка с песенкой.

Зарецкие грузили добро. Ближе к кабине — мешок с мукой да куль из рогожи с мешочками крупы, сахара, соли.

Подняли, поставили матушкин сундук, к сундуку Ниночкин чемодан. В чемодане два платья, два сарафана, юбка, комбинация и прочее девичье.

В батюшкином чемодане иконы, облачение, книги.

Отец Викторин поглядел-поглядел на свои картины:

— Незачем немцев тешить!

Снял со стен, поставил к порогу, где ждали погрузки гитара и скрипка. Для них место в кабине.

Женщины складывали в деревянный ящик кухонную посуду. А ведь еще кочерги, рогачи! Господи, топор не забыть! А пилу-то! А гвозди!

Без чугунов, без кастрюль, без топора и пилы в чужих людях — намаешься.

Отец Викторин забрался в кузов принимать тяжеленный ящик.

И тут к машине подошел человек в штатском, но в полувоенной фуражке:

— Виктор Александрович, товарищ Зарецкий! Вас просит для короткого разговора Афанасий Федорович Суровцев, второй секретарь райкома партии.

Руки у батюшки Викторина опустились.

— Не волнуйтесь! — быстро сказал посланец секретаря.

Серьезные двери серьезного кабинета. Навстречу поднялся молодой совсем человек, лобастый, глаза небольшие, взгляд доброжелательный, но жесткий.

— Государство нуждается в вас, Виктор Александрович! Правильнее сказать, нуждается в священнике, отце Викторине.

Показал на стул, сел напротив. Только теперь отец Викторин увидел еще одного человека.

— Золотухин, оперуполномоченный НКВД. Товарищ Зарецкий, ваша помощь в деле борьбы с оккупантами представляется нам бесценной.

— Моя?!

— Немцы откроют церкви, и вы снова будете служить, — сообщил секретарь райкома.

— Это видимая сторона будущей вашей деятельности, — уточнил Золотухин. — Сотрудничая с немцами, вы получите доступ к важной информации. Все добытые сведения через связных станете передавать в лес, мне, командиру партизанского отряда.

Тишина оглушила отца Викторина.

— Какой будет ваш ответ? — спросил секретарь. — Времени на обдумывание, сами видите, не осталось.

— Быть с прихожанами в тяжелое время — святая обязанность священника.

— Спасибо, Виктор Александрович! — секретарь встал и поклонился батюшке.

«Если бы так с первого дня советской власти...» — скорбь волной прокатилась по сердцу.

Золотухин быстро, крепко пожал священнику руку.

«Небось, кулачил и кресты с храмов сшибал, — подумал отец Викторин, но уже без сердца. — Лицом — чистый мужик. Умница. У такого при царе амбары ломились бы от хлеба».

Золотухин смотрел виновато.

— Виктор Александрович! Я обязан научить вас искусству конспирации. Каждый день теперь золотой. Меня зовут Василий Иванович. А вы для нас будете Ясный.

— Ясный?

— Таково конспиративное ваше имя. Первое занятие проведем нынче, в двадцать часов. Подойдите к кинотеатру. Простите, к Казанскому собору.

Суровцев взял конверт, лежащий на столе:

— Это вам, Виктор Александрович. Прочтете дома.

Машина была загружена. Матушка в кузове, сидит спиной к кабине. Нина рядом с шофером. У нее насморк, в кузове будет ветрено.

Подошел, постоял. На него смотрели его женщины. Терпели неприятности из-за его сана. Теперь, опять-таки священства ради, им предстоит немецкий плен.

Машину батюшке достал парторг Никитин. У лесхоза машину забрали для фронта, а в Романовке строили большой аэродром. Лес вырубали, вывозили. Никитин всего лишь начальник лесоохраны — невелика должность. Но ведь парторг! Склонил Суровцева и Золотухина создать схроны с запасом бензина, с ящиками для частей автомашины, припрятать до времени действующий локомотив, а это — обогрев, электростанция.

По плану эвакуации Людиновскому лесхозу был назначен Елец. Шофер согласился довезти семью до Белева, а от Белева как-нибудь до Тулы, до Орла. От Орла Елец не больно уж и далеко.

— Садись, Виктор Александрович, дорога заждалась, — шофер отворил дверцу.

Батюшка стоял, потупя голову.

— Машину потребовали для срочных перевозок. Придется вещи выгрузить. Потом поедем. Позже.

Матушка ни словечка не сказала. Помогла мужу втащить сундук в большую комнату.

Отирая пот, отец Викторин сел на табурет, оставленный вместе со столом.

Нина внесла картины, подоспевшая Олимпиада — из больницы прибежала попрощаться — баул с шубами.

Вещи не больно и загромождали комнату.

— Бедность — не порок! — сказала Олимпиада.

— Помилуй, голубушка! — изумился отец Викторин. — У нас четыре пуда муки, два пуда круп, три фунта сахара, три фунта соли. Мы — крёзы! Вот только как со всем этим добирались бы из Белева до Орла?

Вспомнил о конверте. Конверт не запечатанный. Листы машинописные.

— Матушка! Олимпиада! Нина! Это выдержки из послания Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия. — Встал, перекрестился, читал радостно, хотя послание было грозным, во спасение России.

Не красотами стиля, не глубинными помыслами блистало слово митрополита. Были в этом послании вера в Бога и вера в народ.

— «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посраим же их славного имени и мы — православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может».

Огорчился.

— К сожалению, далее пересказано. Помянув Александра Невского, митрополит Сергей заявляет... Ага! Опять текст: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она Небесным благословением и предстоящий народный подвиг.

...Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за Родину... Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

— Господь дарует нам победу! — Отец Викторин посмотрел на матушку, на сестру, на дочь. — Мы остаемся с единственной целью — приблизить день торжества православной России над эзотерическим чернокнижием Гитлера.

Отдание Воздвижения

3 октября, в день памяти люто убиенных мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, не поклонившихся идолу хана Батыея, из Людинова ушли последние батальоны Красной армии.

Ни законных властей, ни самозванных. Город обмер. Немцы задерживались.

Партизаны накануне ночь провели на своей базе, возле бывшего детского дома: городу защита от бандитов. Но бандиты тоже попрятались.

— Наша боевая мощь — карикатура для журнала «Крокодил». — Золотухин доверял Суровцеву, не донесет. Так ведь и впрямь карикатура: на сорок бойцов тридцать английских винтовок, а винтовкам этим без малого сто лет.

— Где оружие, какое собрали у населения, в первую очередь винтовки лесников? — удивлялся Суровцев.

— У лесников были ружья РА. Наполеоновские... Двустволоч набралось много, еще больше берданок. Куда всё это увезли — не знаю. И ни единого приемника теперь в Людинове! Собрать собрали, а куда отправили — тайна. Афанасий! У нас связи нет. Ни с армией, ни с центром партизанского движения. Мы сами себя лишили сообщений Совинформбюро. Солдаты партии. Приказано — исполнено.

Золотухин рассердился вдруг:

— Солдатам тоже соображать надо. Сколько патронов к винтовкам?

— Роздано три десятка. В ящиках тысяча.

— «И десять гранат не пустяк», как в песне о матросе Железнякове.

Суровцев глянул на командира:

— У тебя и у меня по гранате. Всего двенадцать... Василий Иванович, что еще надо сделать, пока в городе мы хозяева?

— С ребят бери пример. Сидят, как малые дети. И правы. Скорее война кончится.

— Каково людям, которых оставляем...

Люди оставленные готовили ужин, ужинали. Укладывали спать детей. Собирались в одной комнате, а говорить было не о чем.

Алеша у керосиновой лампы читал вслух Тютчева:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа

Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Читал и читал:

Как хорошо ты, о море ночное, —
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

И представил себе: луна над Людиновом, а на
площади немцы, лунные отблески на касках.

— Бабушка!

— Что томишься?

— Бабушка! Придет весна — она все равно придет! — соловьи будут петь... Но кому? Нам или немцам?

— Богу молись! Что Бог даст, тому и быть! Видишь, какой вечер тихий. Надо уметь всякой доброй малости радоваться.

Алеша и впрямь излихостился. Все очень странно. Научили мины ставить и ни одной не дали. Поручили собрать группу, а сами исчезли.

Читал, чтоб не думать: «Сияет солнце, воды блещут. На всем улыбка, жизнь во всем...»

* * *

В доме Зарецких этой ночью молились.

— Я завтра буду служить! — сказал батюшка. — Советской власти нет. Сажать меня некому. И ведь — праздник. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Утром пришел в церковь. Отца Николая нет. Спрятался. А бабушки дома не усидели. Увидев своего протоиерея, заплакали.

Молились радостно. Уже к кресту подходили, когда храм поднялся вдруг, будто земля вспухла

и на место встала. Огоньки свечей затрепетали, заметались.

— Отец! Землетрясение? — громко спросила матушка Полина Антоновна.

— Всё уже позади, — спокойно сказал отец Викторин. — Что-то взорвали.

— Неужто завод?! — охнули бабушки.

— Последнее «прости» товарища Сталина любимому народу! — выкрикнули зло.

Люди повернулись, поглядели. Никитин! Главный сторож лесов. Тотчас вспомнили: он же — партиец. Парторг лесхоза.

Все вышли на улицу. Небо синее, шелковое. Четвертое октября.

От мальчишек узнали: взорвана плотина верхнего озера. Вода в Ломпади и в Болве, стало быть, из берегов вышла: помеха для немецких войск.

Ухнуло еще несколько взрывов.

— Мосты рвут, — догадались прихожане. — На Неполоти, должно быть! А это на Болве.

Бабушки ликовались с батюшкой, как на Пасху. Господи, что ждет через день, через час?..

Через час западную часть Людинова заняли передовые подразделения 339-й пехотной дивизии генерал-майора Ренике. Людиново стало еще одним призом генералов Третьего рейха.

Немцы

Невыносимо ждать. И ведь кого? Врага. Придут немцы — жизнь тотчас перестанет быть твоей жизнью, русской жизнью. Сталин тебя бросил, и ты теперь частица Германии, Гитлера.

Алеша натянул отцовский свитер и, чтоб не мучиться страшным ожиданием, пошел в сарай, дрова колоть. Чурбаки остались самые неподатливые.

Алеша всаживал в древесину колун, из тонких поленьев выстругивал клинья, но клинья тоже тонули в волокнах свилятого вяза.

Чурбак не поддавался. Алеша ходил над ним, искал, где ударить. Неужто не получится? Отдохнул, поплевал на руки, рукавицы надел. Размахнулся, ахнул. Чурбак затрещал, заскрипел... Алеша, торопясь, замахнулся еще раз, ударил, и чудовище развалилось надвое.

Алеша выпустил из рук колун, скинул рукавицу, рукавицей вытер пот со лба.

— Зер гут! Зер гут!⁴

На мостках, ведущих в избу, стоял... немец. Широкое лицо, во все лицо улыбка. Автомат на ремне, за спиной.

— Ауф видер...⁵ — начал было Алеша и понял — не то. — Гутен таг!⁶

— Гутен таг! — согласился немец, спустился по ступеням. Поднял половину чурбака. Взял колун, оглянулся. Снял с плеча автомат, прислонил к стене. Собрался, ударил. Колун зазвенел, вылетел из рук, будто его выронили.

— В сучок! — показал Алеша.

Немец закивал головою, встряхивал руками — осушило. Ногой подвинул колун Алеше.

— Ну! — сказал подпольщик пеньку.

Попал в сердцевину. Дерево послушно раскололось.

— Зер гут! — одобрил завоеватель.

Алеша положил колун на поленицу, пошел в дом. В доме еще двое.

— Иди ко мне! — позвала бабушка на кухню. — Постояльцы пожаловали. Погляди!

На столе банки консервов.

⁴ Sehr gut! (нем.) — Очень хорошо!

⁵ Auf Wiedersehn (нем.) — до свидания.

⁶ Guten Tag! (нем.) — Добрый день!

— Велят еду варить! — глянула на внука. — Мое дело женское, мужиков кормить. И тебя.

— Картошки начищу, — согласился Алеша. Сел возле ведра, чтоб очистки было куда девать.

С постояльцами повезло.

Это были сапожники. Поели, порадовались вкусному обеду.

Принялись обустраивать в большой комнате мастерскую.

То ли потому, что из рабочих, или, как бабушка сказала, «немцы тоже люди», солдаты-сапожники поделились обедом.

Отказаться от немецкой еды нельзя, внимание к себе привлечешь.

Лица у всех троих оккупантов совсем даже не зверские. Один, что пытался дрова рубить, весельчак. Все время смешит своих.

Самый старший глазами в себя уходит. Может, по дому скучает. У третьего зубы белые. Засмеется — смотреть на него хорошо.

Аккуратные, вежливые. Белозубый даже смущается, когда ему что-то надо.

Фашистская ненавистная неволя начиналась сытно и даже дружески.

Алеша остался жить в своей комнатке. Бабушке — казенка за печкой и печка.

У ходиков ноги от страха не заплетались. Шли себе и шли. Немцы после короткого послеобеденного отдыха молотками пошли постукивать. Хорошо пахло кожей.

Алешу в сон тянуло. Пристроился на лежанке. Задремал.

И это подпольная жизнь?

Вышел на крыльцо.

С утра было синё в небе, а теперь дождь. Ходить по городу, который занимают чужие войска, — не лучшая затея. Но ведь тихо! Ни лязга танков,

ни топота маршевых рот. Людиново немцы заселяли без пальбы, без оркестров, без команд. Плача и криков не слышно.

На другой день стало известно: не повезло жителям улицы III Интернационала.

До революции это был Песоченский большак.

Добротные, незапущенные дома облюбовал штаб дивизии. Где штаб, там военная тайна. Забирай пожитки, ступай куда глаза глядят.

Выставили на улицу хозяев квартир на престижной улице Карла Либкнехта. Дома здесь с видом на озеро.

В доме № 1 у края Набережной поместился комендант города майор фон Бенкендорф.

В десяти каменных домах по Комсомольской улице, народом нареченной Скачком, осела со своими черными секретами Тайная полевая полиция — Гехаймфельдполицей, сокращенно ГФП.

Главная канцелярия заняла дом № 48. Начальник Тайной полиции майор Антонио Айзенгут резиденцию свою спрятал на первом этаже комендантского дома. От леса дальше.

* * *

Каждая семья в городе Людинове ожидала немцев, как напасть. Хуже пожара, хуже голода. Придут — пожарам быть, голоду быть, насильничанью.

Великий Сталин треть страны немцам отдал. В Гражданскую, в коллективизацию Россия ушла из России. Далеко ли теперь путь держит? Уж не за Урал ли? Куда только подевалась русская сила? Если что и осталось в русских русского — терпение. Терпеть, как терпит лошадь о двух жилах. Господи! И лошадей-то грех поминать! Передохли на колхозной соломе.

От бед величиной со всю Россию единственные крепости — семьи.

Ольга Мартынова, наплакавшись при расставании со своими ученицами, прибежала из Заболотья к маме, к сестрицам. Старшая в семье.

Ольга вышла замуж за день до начала войны. Одну ночь супружества дал ей Бог. Семья осталась без мужчин. Отец и муж ушли воевать 22 июня.

На руках матери Анастасии Петровны шестеро: Мария, Елена, Анна, Нина, Людмила, Лидия... Ольга пришла в Людиново третьего октября.

Две ночи спали, дверей не запирая. Придут немцы, в закрытую дверь, пожалуй что, автоматной очередью попросятся.

Первую ночь ожидания спали одетыми. Снежок на улице порхает в воздухе, но печка протоплена, щи сварены. Тепло и сытно. Одна печаль — дом справный и просторный, но лес близко. Лес немцы не любят. В лесу партизаны.

В центре города флаги со свастикой, а у них, на Войкова, все еще своя жизнь. Пятого октября спать ложились все еще советскими...

Утром, убравши голову, Ольга вышла из комнаты на постукиванье каблуков.

Открыла дверь: сияющие сапоги, высокая фуражка, оценивающий взгляд. Офицер улыбнулся.

— Гутен таг, фройляйн.

Ему нравилась молодая женщина, нравились комнаты, где на окнах цветы.

Возвращаясь к двери, остановился у занавески, закрывавшей кухню... Рука в перчатке потянулась, отдернула занавеску.

Анастасия Петровна держала на руках маленькую Лизу, за юбку с одной стороны ухватилась трехлетняя Люсенька, с другой стороны пятилетняя Нина. Анна и Лена жались друг к другу. Они

школьницы. Мария, ей восемнадцать, возле матери, за плечи поддерживает.

Изумленный красотой дев, младенцев, офицер просиял Ольге синими глазами, но Анастасии Петровне сказал, как гавкнул:

— Матка, во-о-он!

Дите на руках заплакало, немец поморщился, чуть пригнул голову в дверях, хотя прошел бы, фуражки своей гордой не потревожив. Роста не ахти какого.

Стояли, замерев, потому что не знали, куда идти. К корове, в хлев? В курятник? Если позволено во дворе остаться...

Ольга вернулась в комнату забрать сумку с одеждой. Снова распахнулась дверь, начальственно пошли по дому каблуки потяжелее первых.

Перед выводком остановился пожилой, тяжелолицый, виски седые, офицер из старших.

Анастасия Петровна прижала младенца куда-то к горлу.

— Гонят! Куда идти?.. Замерзнем.

Офицер повернулся к солдату, сказал коротко, резко. Прибежал тот, что гнал. Вытянулся в струнку.

Отдал честь, исчез. И начальник ушел. Выметаться? Ждать? Чего?

Дождались, однако, не самого худшего. Явились солдаты с досками, с топорами. В считанные минуты отгородили кухоньку с запечьем.

Один солдат сказал:

— Будете жить здесь.

— И немцы бывают хорошие! — расплакалась безутешно Анастасия Петровна. Она чувствовала маленькие руки крошечек, ласковое тепло, их дрожь.

— Переживем, — сказала детям, радуясь. — И войну переживем. Помолиться к батюшке нынче все пойдем. Господь детей любит. Господь Россию не оставит.

Оккупация

Добрая половина жителей Людинова немцев даже издали не видела, а новая власть, обклеивая приказами столбы и тумбы, вываливала на их головы запрещения, установления...

Вместо горсовета — управа и бургомистр. Бургомистра немцы углядели в чистеньком, тихогласом старичке Сергее Алексеевиче Иванове. До революции был приказчиком, хозяином магазина, в НЭП — нэпманом. Все, кто знали бургомистра, без долгих размышлений поняли: бургомистр, управа — для виду. У немцев то же самое, что и у нас, — показуха. Но работа новой власти закипела. В управе пять отделов: школьно-культурный, здравоохранения, торговый, финансовый, лесной.

Район разделили на шесть волостей: на востоке — Букановская, Игнатовская, на юго-востоке — Войловская, на северо-западе — Колчинская, на юге — Куяво-Кургановская, на севере — Космачевская.

Над волостями начальствовали волостные старшины, в селах и деревнях — старосты. Старой жизнью немцы тоже манили матушку Россию, а она двадцать четыре года была советской. Кто помнит присяжных поверенных и губернских заседателей? Народ не дурак. Всякому понятно. Над призрачной русской властью стоит немецкий новый порядок.

В Людинове новым порядком, новой властью был майор фон Бенкендорф. В его приказах главное слово было — «запрещается».

Запрещается хождение гражданского населения вне места жительства без пропуска.

Запрещается быть вне дома с наступлением темноты.

Запрещается подходить на сто метров к железной дороге.

За спрятанное оружие, отдельные части оружия, патроны и прочие боеприпасы, за всякое содействие большевикам и бандитам, за причиненный германским вооруженным силам ущерб — смертная казнь.

Такие приказы были общими для оккупированных территорий, но фон Бенкендорф исполнял комендантскую службу творчески. Особое запрещение коменданта Людинова гласило: «Патруль без предупреждения имеет право открыть огонь на поражение по любому прохожему, который держит руки в карманах».

Верховный командующий германских войск фельдмаршал Вильгельм Кейтель в сентябре 1941 года издал указ «О борьбе с бандами».

«С самого начала военной кампании против Советской России, — призывал вероломный завоеватель, — во всех оккупированных Германией областях возникло коммунистическое повстанческое движение... Фюрер приказал применять повсюду самые решительные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки подавить это движение... При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены и что устрашающего действия можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер».

Майор фон Бенкендорф был фюреру верен.

А батюшка Викторин — Богу. Служил утреню, обедню, вечерню.

Утреню — один. На обедню приходили бабушки и дети, те, кто жили неподалеку.

Вечерню пришлось вскоре отменить: темнеет рано. Патруль может задержать, а то и полоснуть очередью из автомата.

Отец Николай однажды заглянул в храм, спросил сторожа: имеет ли отец Викторин разрешение

от властей? Узнал, что не имеет, ушел от греха подалее.

Ушел вовремя. К церкви подкатил автомобиль. За священником явились. Пришлось службу сократить. Переводчик, из русских, терпеливо ждал.

Матушка принесла из дома пальто.

— Викторин!.. Батюшка!..

Крепко сжал веки. Пошел к машине, сел и подождал, пока дверь за ним закроют, будто всю жизнь возили. Доставили в кабинет коменданта.

Огромный стол без единой бумаги. На столе бронзовая чернильница с русалками. Настольная сталинская лампа, должно быть, из кабинета какого-нибудь партсекретаря. У стены два кресла, друг против друга два канделябра. Скорее всего — из музейных.

Над столом — фюрер. Над креслом у стены — пейзаж, и чуть ниже, над самым изголовьем, — портрет генерала времен Наполеоновских войн.

У Бенкендорфа тронутые сединой виски. Плечи развернуты, небольшая голова, красивые руки аристократа. Лицо умное, в глазах интерес и доброжелательность.

Указал отцу Викторину на кресло, сам сел у стены.

Отец Викторин опустился в кресло и тотчас потянулся привстать, рассмотреть...

Генерал на стене и майор в кресле — одно и то же лицо. Разве что волосы уложены по-разному.

— Простите, господин комендант! Генерал на стене очень похож на графа Бенкендорфа, коему государь Николай Павлович поручил заботу о нашем Пушкине.

— Вы знаток истории? — улыбнулся комендант.

— Я Пушкина люблю, я знаю многое, что связано с его жизнью. О графе Александре Христофоровиче мне известно: он был бесстрашен. Его ата-

ка в битве при Прейсиш-Эйлау спасла русскую армию от поражения! — И тут отец Викторин наконец изумился: — Господин комендант! Я смотрю, я вижу, но только теперь начинаю понимать — вы так похожи, вы ведь тоже Бенкендорф!.. Вы — граф Бенкендорф?

Комендант смеялся от души. Такого простака он видел впервые. Наивность подобную изобразить невозможно.

Майор развел руками:

— Вы проницательны, господин Зарецкий. Я есть потомок графа Александра Христофоровича и сам граф Александр Александрович. Нас роднит с вами прошлое и будущее! — И, чуть-чуть наклонясь, любопытствовал: — А что-либо вам еще известно о моем удивительном предке?

— Граф — генерал от кавалерии, таков чин имел Кутузов на Бородинском поле. С генералом Чернышевым, будущим военным министром, брал Берлин, освобождая город от войск Наполеона.

— Этого я не знал! Еще! Еще!

Отец Викторин потер ладонью лоб.

— В инструкции одному чиновнику граф собственноручно написал: «В Вас должны видеть чиновника, который через мое посредство, шефа жандармов, может довести голос страдающего человечества до царского престола, поставить безгласного подданного под защиту государя императора».

— Bravo! Вы меня утешили... Ценно то, что вы же не могли подготовиться к этой нашей беседе! Она спонтанна для меня, а для вас совершенная неожиданность! — Майор поднялся, и отец Викторин поднялся. — Что нужно сделать важного и даже, может быть, обязательного для церкви?

— Дать мне, протоиерею, разрешение служить в кладбищенской церкви и открыть для службы Казанский собор.

Комендант загадочно посмотрел на отца Викторина, прошел к столу и достал документ:

— Вот видите, я, как все русские, владею даром предвидения. Германия печется о духовном здоровье вашего и моего народа. Это есть разрешение открыть Казанский собор.

Сел за стол, взял золотое перо, подписал документ.

— Благодарю господина графа от имени всех прихожан Людинова! — отец Викторин, прижимая руки к груди, поклонился.

— Называйте меня просто Александром Александровичем, господин Викторин Александрович. Что вам еще надобно из церковных нужд? И, разумеется, нужд личных?

— Граф! Александр Александрович! Необходимо будет из церквей района, они почти все закрыты, взять немного икон для собора. Казанский собор разорен, ограблен.

— Еще что?

— Нужен пропуск. Люди зовут священника — хоронить умерших, причащать болящих, крестить младенцев.

— Вы просите о том, чего были лишены при советской власти.

— Я был лишен возможности даже долг свой исполнять. Меня как священника обложили непомерным налогом, за неуплату оно грозила тюрьма.

— Все позади, господин протоиерей! Великая Германия возвращает русскому народу свободу совести. И все прочие свободы... Господин протоиерей! Разве это не судьбоносно — Германия возвращает русскому народу Иисуса Христа. Вы же сами видите! Безбожная Россия утратила все, что имела. Даже Москву через несколько дней утратит навсегда. Москву могут стереть с лица земли. —

Майор спохватился. — Бессмысленное сопротивление приведет к полному ее разрушению.

— Ваш удивительный предок после изгнания Наполеона, — напомнил вдруг отец Викторин, — был комендантом Москвы.

Бенкендорф опешил.

— Господи! — воскликнул отец Викторин. — Вам бы эполеты графа Александра Христофоровича!

Майор посуровел, преисполнился чего-то высокого, исторического:

— Предки в нас. Пришествовав в Россию, я руководствуюсь заповедью: «Не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и позор».

Отец Викторин подхватил:

— «Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол». Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

На лице майора отразилось волнение.

— Вы должны познакомиться с моей супругой Магдой. Мы пришли как избавители русского народа от засилия евреев. Но оказалось, народ совершенно лишен исторической памяти. Некогда великий, некогда религиозный русский народ... Мы встречаем повсюду коммунистическое повстанческое движение. Я, тяготеющий сердцем к России, в тревоге за будущее русских. Фюрер приказал задушить в зародыше недовольство... А это — расстрелы, это — повешенные, это — сожженные села... Батюшка! Я в ответе перед фюрером как офицер германской армии, но я и перед совестью своей в ответе как потомок Александра Христофоровича... А вы, в свою очередь, в ответе перед Богом. Так служите! У нас с вами одна общая задача — уберечь народ... от уничтожения. Именно так, батюшка! От уничтожения.

— В Людинове люди — труженики. Здесь что ни рабочий — Левша. Вы читали Лескова? Людиново — город мирный, если его не понуждают к самоспасению.

— Защита народа — моя святая обязанность! — выразительно продекламировал фон Бенкендорф, нажимая кнопку.

Вошел офицер.

— Доставьте господина священника домой! — взял со стола документ о возобновлении богослужений в Казанском соборе, вручил отцу Викторину. — Приведите церковь в порядок. Вам в ней служить. Другие документы — регистрацию, пропуск — получите в управе у бургомистра Иванова.

Рассмеялся.

— Вот видите! Бургомистр — Иванов. Настоящая и, я сказал бы, исконная Россия. Россия без Рапопортов, без Гинзбургов. Знаете, что дает мне надежду на лучший исход всей кампании? В Людинове несколько партизанских отрядов, но один командир уже явился с повинной, показал базу и, скорее всего, получит хорошую должность... Но главное, к нам идут молодые люди. За два дня мы сформировали роту полицейских! Мы не для всех чужие, — и поднял руку по-фашистски.

Уже стоя возле калитки в палисадник, глядя вслед отъезжающей машине, отец Викторин поморщился наконец. Как же это просто, оказывается, подхалимничая, превращать умных людей в индюков. О генеральских эполетах майор возмечтал!

В сердце уколола игла. О каком предательстве говорил комендант? Где Золотухин? Столько было секретов, и такая тишина... Рота полицейских! Для маленького Людинова — это очень много.

Из дома выбежала матушка.

— Все хорошо, родная. Будем открывать Казанский собор.

— Не озяб? Ветрено, бабушка! Пошли домой! Шарф тебе забыла принести... — Всплеснула руками. — Знаешь, кто начальник Людиновской полиции?

— Знаю. Мерзавец.

— Еще какой мерзавец! Учитель физики и математики первой образцовой школы Александр Петрович Двоенко. Учитель нашей Нины.

— Двоенко! — покачал головою бабушка. — Говорящая фамилия. Нашим и вашим.

Пистолет в грудь

Один из сапожников простудился. Алеше пришлось уступить немцу свою комнату, перешел к бабушке, на печку.

Сапожники дали бабушке деньги купить курицу: крепкий бульон силы больному вернет.

Это было удивительно: немцы не забирали, как в первые дни, масло и яйца, не резали коров для своего котла, но покупали. Собирались жить в Людинове по-человечески?

У бабушки оставалась мука. Замесила свою лапшу, любимую Алешей с детства. Немцы были довольны и благодарны.

Смешливый показал на стоптанные каблуки Алешиных ботинок, забрал и вернул наваксенные, с новыми подметками, с новыми каблуками. У Алеши сердце в желудок провалилось: этих совестливых немолодых людей он оставлен — убивать. Но если не убивать — они не уйдут. Плохого, верно, ничего не сделали, в Людинове не по своей воле, но ведь оккупанты. Они же — сила Гитлера.

Ужасало Алешу одиночество. Золотухина словно бы и не было на белом свете. Ни единого взрыва

в городе, ни единого выстрела. Про партизан забыли бы, но немцы панически боятся леса, начали рубить деревья, близко подступающие к городу.

Сожгли окраинные дома.

Алеша собрался сходить к Хотеевым, но у них живет офицер, а главное, сказать нечего. Последнее приказание Золотухина своему резиденту было сомнительное: главное оружие народа — саботаж, никаких контактов с немцами. Но без регистрации из дома не выйди! Нужны пропуска, нужна работа, чтоб знать, чем немцы заняты, сколько у них сил в Людинове.

В управу Алеша пошел с бабушкой.

И первое открытие: всюду полицаи! Людиново стало городом полицаев. Ходят по двое, по трое. Куда-то их везут в крытых машинах. У некоторых черная форма, черные немецкие головные уборы, но большинство — кто в чем. Отличие от горожан — белые повязки на рукавах.

На зданиях зловещие флаги. Красные с черной свастикой. Идут потоком по магистрали машины. К машинам пушки прицеплены. Серьезные пушки — 88-миллиметровые. В кузовах — солдаты.

На регистрацию очередь. В очереди увидел Толю Апатьева. Толя пустил их перед собой. Люди — вялые, квелые, никто не возразил, не рассердился.

Алеша взглядывал на лица. Мужчины смотрят в пол. Женщины, наоборот, откидывают головы. Никаких разговоров. Каждый человек сам по себе.

У Алеши между лопатками мурашки друг через дружку прыгали. Почудилось — он где-то высоко, не хуже стрижа. И на все Людиново, на всех этих людей в очереди за немецким штампом на немецком документе — он один, кто стоит за них. У немцев войска, у полицаев — роты, а он одинешенек. Но ведь живой, здоровый. И основное в этом стран-

ном раскладе количества войск, огневой мощи — победителем будет он, Шумавцов.

Вот и документ. Немцем, конечно, не заделался, но в их распоряжении.

Ожидал бабушку возле крыльца. Толя Апатьев пошел стрельнуть у стариков махорки на закрутку.

Алеша вздрогнул. Зримо вздрогнул. Уроки Золотухина, знать, еще не прижились. Связной отряда Афанасий Посылкин помогал бабушке сойти с крыльца. Поравнялся с Алешей, сказал, будто с бабушкой прощаясь:

— Устраивайтесь на завод, ищите работу. Это приказ!

Бабушка, глядя в спину быстрому Посылкину, очень удивилась:

— Он ведь райздравом руководил. Вежливый, конечно, а с головой, знать, не все в порядке.

Алеша плечами пожал:

— Я в Людинове никого почти не знаю. А то, что нервный, — война.

— Война, — согласилась бабушка. — Мудрено не одуреть.

Пришел Толя, дымя сигаркой.

Не успели площадь пересечь — три полица.

— Стоять!

Бабушка охнула, ребята замерли.

Высокий, немолодой полицай ткнул пистолетом Апатьеву в грудь.

— Александр Петрович! — Лицо Апатьева стало белым, но голос не дрогнул.

Полицай взвел курок, целя в грудь Апатьеву.

— Александр Петрович! Это я, Апатьев!

— Сукин ты сын! Я бы тебя мог пристрелить, как бродячую собаку. Приказов не читаешь? Захотел схлопотать пулю в лоб?

— Александр Петрович!

— Ходить руки в брюки запрещено. Патруль имеет полное право стрелять без предупреждения.

Толя дернул руку из кармана.

— Спокойней! Разожми пальцы, руку поднимай медленно. Что в кармане?

— Немецкая бумага.

— Болван! Документ. Куда направляетесь?

— Домой, — сказала бабушка.

— Тебя не спрашивают.

— Домой! — подтвердил Толя Апатьев.

— Нечего бездельничать. Поступайте на завод. На заводе рабочие нужны. А пока — все в церковь. В Казанскую. Пособите мусор вынести. Выполнять!

Пошли к собору.

— Стойте! — снова скомандовал полицейский. — Карманы от греха дома зашейте.

— Спасибо, Александр Петрович! — сказал Апатьев.

— Петровича нашел! Я есть господин начальник полиции. Понятно?

— Понятно, господин начальник полиции! — Алеша поклонился.

— Другу твоему башку пригни. Привыкай кланяться, Апатьев! Кто голову не дерет, имеет больше шансов сохранить жизнь. Соображайте, ребята!

Шли не оглядываясь.

— Он кто? — спросил Алеша.

— Двоенко. Учитель физики, алгебры. Его собирались уволить, потому что пил.

— Плохо! — сказал Алеша.

— Чего плохо?

— Он вас всех в лицо знает.

Толя повертел растопыренными пальцами.

— А мы руки в карман совать не станем. Мы этими руками...

Алеша глянул на друга:

— Молчание — золото. Дела должны быть громкими.

Апатьев придвинулся к Алеше:

— Ты кого-нибудь знаешь?

— Кого-нибудь...

— Меня возьмите!

— С условием... без приказа сидеть тихо.

— А приказ будет?

— Посчитай, сколько немцев на твоей улице поселилось. Считай машины, танки, пушки. Сообщать будешь мне.

— Рвануть бы чего-нибудь!

— Прикажут — рванем.

Бабушка рассердилась:

— Довольно шептаться. Перекреститесь, шапки снимите.

Батюшка в коротком полушубке поверх рясы, бородка небольшая, лицом строгий, глазами улыбчивый, порадовался помощникам.

— Юноши! Тут какие-то ящики, трубы! Ящики перенесите в деревянной сарай, а трубы во двор. Увидите, где складываем.

— Батюшка, благослови! — сложила руки бабушка. — Меня Евдокия зовут. Их тоже благослови, Алексея, а тебя как?

— Толя! — Апатьев даже покраснел от смущения.

— Полицай пистолет к его груди приставил. Спасибо, узнали друг друга.

— Он — мой учитель, — сказал Апатьев.

— Господи, спаси и помилуй! — священник поклонился алтарю.

Зияющий пустотой иконостас, ободранная стена, где сияла хрустальным киотом Людиновская икона Божией Матери. Перед алтарем пространство небольшое, но дальше огромная, в три этажа, зала с двумя ярусами балконов из кружевного чугуна. Балконы держат чугунные колонны. Все, что умели мастера людиновской земли великого и прекрасного, — здесь, в храме.

Батюшка с помощницами ставили икону на место утраченной. Икона большая, на доске. Кто-то сказал:

— Привезли из церкви села Курганье.

Через полчаса отец Викторин сам подошел к Алеше и Толе:

— Бабушка сказала, вам на завод надобно. Поспешите. За помощь благодарю. Ангела-хранителя в дорогу!

Осенил крестным знамением.

— Примут, — сказал Апатьев по дороге.

— Это еще неизвестно.

— Известно. Поп нас благословил и ангела с нами послал.

— Красноармейцам бы нашим ангела!

— В Москве митрополит есть. Он за всех наших солдат молится. Немцы не возьмут Москву. Знаешь, почему?

— Потому что мы русские!

— Это конечно! — обрадовался Апатьев. — Моей маме из Москвы письмо пришло, когда война началась. Ее подруга написала, что у них в соборе молились о даровании победы!

— А почему тогда отступаем?

— Я тоже спросил мать: чего же отступаем? А она в ответ: «Чтоб наше наступление было уж очень большим, чтоб его во всем мире увидели».

Не сговариваясь, протянули друг другу руки для пожатия. У заводской проходной как раз. Показали регистрацию охране. Пропустили. Обоих как старшеклассников, как людей с образованием в электрики записали.

Когда расставались, Толя вдруг спросил:

— А мог бы Двоенко стрельнуть в меня?

— В человека?! — Алеша глазами в себя ушел. — Мог бы! Зубы у него рыбы.

Двоенко

В дом № 13 по улице Плеханова вломилась четверо полицейских.

— Митя! — крикнула Наталья Васильевна, прижимая к себе младших детей, Ваню и Валеньку. Алексей, сидя на лавке возле печи, подшивал валенки. Валенком загородился.

— Семья красноармейцев! — рявкнул Двоенко, и трое полицейских из-за его спины наставили на ребятшек и на их мать винтовки. — Кто у вас воюет с великой немецкой армией? Отвечать!

— Старших моих, Николая и Виктора, в первый день войны призвали, — Наталья Васильевна прижала к себе дрожащего Ваню.

— А где у тебя Раиса?

— Она же медсестра! Военнообязанная. Тоже призвали.

— Значит, трое! — Двоенко уставился на Дмитрия. Тот вышел из своей комнаты, в поднятой руке — бумага.

Начальник полиции повернулся к своим.

— Уберите винтовки, идиоты! — Захохотал. — Им выдали советские трехлинейки — мозгов-то и убыло.

Снял фуражку, поклонился Наталье Васильевне:

— Благодарю! Нам лучшего поберегла. Один — троих стоит, — воззрился на Дмитрия. — Что у тебя за бумага? Собирайся, с нами пойдешь.

— За что? — вскрикнула Наталья Васильевна. — Его отца коммунисты расстреляли.

— Госпожа Иванова! Вы меня неправильно поняли. Я приглашаю вашего сына на службу победоносной Германии! Все ваши беды миновали! — Повернулся к своим: — Выставляй!

Полицейские подошли к столу и, опустошая сумку, принялись выкладывать давным-давно не

виданные в Людинове продукты: окорок, сыр, масло, колбасу, шоколад, белый хлеб.

— И как венец! — Двоенко достал из кармана своей черной куртки красивую бутылку. — За будущие успехи, Дмитрий Иванович!

— Зачем было маму пугать? Ваня и Валенька и теперь трясутся. — Дмитрий смотрел на полицейских стальными глазами. — Александр Петрович, вы опоздали с приглашением. Я на службе.

— У кого? Где? — от Двоенко на всю горницу разило винищем.

— Назначен начальником биржи труда.

Двоенко опешил. Повернулся к своим.

— Свободны! — Снял куртку, повесил на вешалку у двери. Полицейские, грохая сапогами, пошли из дому.

— Стоять! — скомандовал Двоенко. — Свободны на один час. Через час ждите меня на улице. Наталья Васильевна, вы приглашаете гостя за стол?

— Садитесь, Александр Петрович!

Сел, достал нож со штопором, откупорил коньяк.

— Наталья Васильевна, простите моих дураков. Если можно, рюмки — и разделите трапезу.

Рюмки поставила. Две.

— Мне корову пора доить!

— Садись! — пригласил Двоенко Алексея. — Посуду только принеси себе.

— Алексей пойдет со мной! — Наталья Васильевна увела из дома младших и среднего.

Двоенко поднял глаза на Дмитрия, вел его взглядом к столу, перед собой усадил.

— Не петушись! Поговорим. Но сначала... — Наполнил рюмки. — За фюрера!

Дмитрий выпил. Двоенко — глоточек. Смаковал коньяк.

— Человеком себя чувствую. До старости еще далеко. Поживем среди господ и господами? —

Потянулся через стол: — Кто тебя пристроил на биржу?

— Майор Айзенгут.

Двоенко крикнул и отпрянул.

— Начальник Гехаймфельдполицай! Ты давно в их конторе?.. Впрочем, понимаю.

Но не понимал. Выходит, Митька Иванов — непрост. Начальник Тайной полевой полиции — штурмбаннфюрер СС. Его контора — гестапо прифронтной полосы.

— Не скучно тебе будет безработных к делу пристраивать?

— Сегодня каждый пригодный к труду человек необходим Германии. А вам на вашей работе, Александр Петрович, не страшно?

Чокнулись. Двоенко махнул свою рюмку залпом.

— Моя работа очень даже веселая, Митя! Стреляешь в морду, а брызжут мозги!

У Дмитрия дернулось веко, дернулась щека. Двоенко схватил парня за руку:

— Думаешь, зверь? А что творила братва Ежова? Ты знаешь, что такое «премблюда»? Это каша, которую восьмого марта давали женщинам на Беломорканале. Но не всем — героиням. Эти героини таскали на себе пятипудовые камни. За выполнение плана полагалось восемьсот граммов хлеба и еще сто граммов в награду можно было купить. А кто план не выполнил, тому сто граммов в сутки! — Налил, выпил, засмеялся. — Митька! Я их мозгами вымажу всю площадь в Людинове.

— Чьими мозгами? Моей матери, матери Мишки Доронина? Старушек, которые не боялись в церковь ходить?

Двоенко пьяно водил руками, отрицая.

— Заткнись! Мозгами Фирина, Френкеля, Кога-на, Бермана, Кацнельсона Зиновия Борисовича...

Не знаешь таких? Значит, повезло. А вот отцу твоему не повезло. Попал на глаза какому-нибудь Зусмановичу!

— Александр Петрович, в Людинове не было Зусмановича! — Дмитрия подташнивало от вонючего дыхания гостя.

— Зусманович с Тухачевским тамбовских мужиков, баб, детишек газами душили. Зусманович приказывал пятилетних расстреливать. — Двоенко говорил ясно, но головы поднять уже не мог. — Когда Тухачевского грохнули на Лубянке, я ходил в церковь, свечу поставил. За здоровье Сталина. Сталин их, как вшей, подавил. А теперь его черед пришел. Щелк — и нету вождя вождей. Москва-то пала.

— Не ври! — поморщился Дмитрий.

— Не пала, так падет. Может, завтра, может, послезавтра.

Дмитрий отрезал кусок окорока, положил на тарелку гостя.

— Александр Петрович, где ты видел в Людинове Зусмановичей?.. Ты, я знаю, русских пострелял. Как раз мужиков.

В ответ — храп. Кожа на лице Двоенко нехорошая... Пьяница.

А пьяница, оказывается, смотрел на Дмитрия, пристально, по-змеиному.

— Закусывай, Александр Петрович!

Двоенко вскочил на ноги.

— Партизанами закушу! — Пошел к двери, сгреб куртку, сунул руки в рукава. Вывалился в сени.

Дмитрий вышел проводить начальство. Полицаи подхватили Двоенко под руки. Увели.

Дмитрий заглянул в сарай, позвал Алексея. Алексею семнадцать, а видом — мужик.

— Наливай, выпьем! — Нарезал окорока, колбасы.

— А чего ты в полицию не хочешь? — спросил Алексей. — Разжиться можно.

— Разжиться? Гоняясь за партизанами?

Выпили.

— Говорили — коньяк клопами воняет. А ведь вкусно! — удивился Алексей.

— Дорогое питье.

Братец зарумянился, глаза заблестели.

— Мить, знаешь, чего я хочу?

— Бабу.

Алексей даже побагровел от стыда; бабу он и впрямь хотел.

— Я про хорошее. Я мельницу хочу. Я любил нашу мельницу. Она мне снится. Одно и то же снится. Вода течет, правда, очень мутная, а я будто бабочка. Летаю, летаю... И мне в этом сне не хочется быть бабочкой. Я хочу быть рыбкой.

— Золотой?

— Нет, Митя! Серебряной.

Поели окорока, поели колбасы. Выпили.

— Девку я тебе предоставлю, хоть завтра. Приходи на биржу. А вот мельницу?.. К Бенкендорфу давай сходим. За милые глаза не дадут, но службу оценят!

Пришла мать с подойником.

— Наталья Васильевна, Алексей свет Иванович собирается мельницу ставить. Ты как? Согласна жить на мельнице?

Молчала.

— Ма-ам! — окликнул Алексей.

— Мельницу захотели? Вам, добрые молодцы, ноги придется уносить.

Алексей поглядел на брата. Дмитрий разлил остатки коньяка.

— За тебя, мама! За твое здоровье!

Безвременье

Партизанский отряд стоял в Думлове.

На завтрак — мятая картошка, чай со сгущенным молоком, вместо хлеба — блины. Василий Иванович Золотухин просматривал секретные документы. А секретного: немецкие приказы, снятые со столбов в Людинове Посылкиным.

Запрещено на улице держать руки в карманах. За это расстрел.

И еще секрет: Москва взята победоносными немецкими войсками. Война заканчивается. Впереди вечный мир.

Василий Иванович кулаком по столу хватил. Кому, кому пришла наитайнейшая мысль — забрать у населения все радиоприемники? Где Сталин? Что с Москвой? На каких рубежах линия обороны?

Настроение в отряде гнетущее. Никому не нужны. Центр молчит, связь с армией однобокая: Герасим Семенович Зайцев повел третью группу окруженцев. Две уже переправил за линию фронта. Пополнил Красную армию тремя тысячами бойцов. Но не до партизан командармам, комдивам и даже особым отделам штабов.

Про Москву, скорее всего, немцы брешут. Непохоже, чтоб взяли.

И вдруг Василий Иванович сделал открытие: народу, когда народ в плену, нужнее всего правда. Правда — лучший лекарь для выживания. Отступаем — надежда спасает, бьем — это как сытный обед с мясом, с хлебом...

Подпольщиков Золотухин не тревожил. Им нужно время притерпеться к новому порядку. Вжиться. Ходить по улицам, на которых патрули, — не простое дело. Тот же Орел. Мальчик! Испугается, побегит — вот и провал. Однако 7 ноября не за горами.

Немцы приготовят подарок. А что мы? А нам довести бы до народа одну-единственную мысль: советская власть не сломлена, армия сражается, в победителях будет русский народ.

В дверь постучали. Вошел дежурный:

— Товарищ командир, к вам просится человек из Людинова.

— Кто?

— Мальчишка.

Подумалось: неужто Шумавцов?

Но вошел очень даже знакомый шпаненок.

— Партизан Семен Щербаков прибыл бить немецких захватчиков! — Мальчишка щелкнул калошей о калошу.

— А чем ты их бить собираешься? — спросил Золотухин.

— Чего дадите!

— Разбежался! В отряд принимаем со своим оружием. Свободен.

— Оружия сколько хошь! Я на два отряда на беру.

— Наберешь — приходи! А теперь ступай на кухню, пусть тебя накормят. И скажи Трунову, чтоб сапоги тебе выдал. — Фуражку на голову, руку к козырьку. — Прощай.

— Чего «прощай»?! — не согласился мальчишка. — До скорого свидания!

Золотухину приходилось заниматься трудными подростками. Семен Щербаков — сирота. Жил у бабушки, промышлял мелким воровством. Случались приводы в милицию, но отправлять в колонию хулиганистого мальчишку было не за что. Ни разу не попался.

Приход в отряд партизана Семена Щербакова ободрил Золотухина. Люди ждут от партизан борьбы. Другое дело — нашел дорогу в отряд. Пора перебираться на базу. Промедлишь — каратели

сожгут Думлово. Потерять такую опору непростительно. Собрались тройкой: Золотухин, Суровцев, Алексеев. Командир отряда, секретарь подпольного райкома, начальник штаба. Решили уходить в свои леса у Птиченки. На основную базу. А это уже ближе к Жиздре. О том, какие силы у немцев в Жиздре, в отряде не знали.

— Есть у меня хороший человек, — сказал Золотухин. — Поглядит, что там делается.

Утром связник Афанасий Посылкин был в Людинове. Шумавцова в условленный час нашел у колодца. Попросил водицы.

Пока Шумавцов доставал ведро, успел сказать все, что надо.

— Орел! Передай Весне: пусть съездит в Киров и в Жиздру. Какие у немцев там силы, много ли полицаев, каково настроение жителей? Весна — Ольга Мартынова, учительница. Это для нее.

Возвращая ведро, передал деньги. Советские. Немцы деньги не поменяли.

Посылкин ушел, а Шумавцов сердце не мог унять: отряд действует, отряду нужны сведения о немцах!

За себя стало стыдно. Он все еще один. Толя Апатьев, Тоня Хотеева — они только сочувствующие. Мартынову сам Золотухин нашел. Задание дано ей трудное.

Алеша знал Олину сестру Машу. Прошлым летом на гулянье играл девочкам на гармошке. Ольга у Мартыновых старшая, после школы в какой-то деревне ребятишек учила. В деревнях сразу все четыре класса в одной избе собираются.

Ведро домой принес с колодца полнехонькие. Загадал — не пролить. И не пролил. Бабушка с похвалой, а он к бабушке с просьбой:

— Напеки пирожков!

— С чем?

— Да хоть с капустой.

— Я когда курицу у Хотеевых покупала, Татьяна Дмитриевна лукошко яиц подарила. Рис тоже у нас есть.

— С яйцом и с рисом — мои любимые! — обрадовался Алеша. — Ты сегодня вечером напечешь! Утром к Мартыновым схожу, Машу встретил. У них в семье одни женщины. Восемь человек. Отец на войне.

Просохнет ли роса?

Бабушка — тесто замешивать, а внук гармошку под мышку — и к Хотеевым, в другое девичье царство. В сиротское. Отца семейства, Дмитрия Тимофеевича, в прошлом году похоронили.

Старшая из сестер, Раиса, замужем.

Первой красавице Людинова, Тоне — восемнадцать. Она москвичка, закончила первый курс Менделеевского. Шуре — семнадцать. Зине пятнадцать, Тамаре — двенадцатый. Девиц у Хотеевых поменьше, чем у Мартыновых, но они счастливей, защитника растят, братца Витю. Витя во второй класс должен был пойти.

Постоялец их дома, интендант. Заботливый, страдающий от ужасов войны человек, отбыл к Москве. Потому Алеша и взял гармошку. Его к Шуре тянуло. У Шуры глаза ясные, а ресницы сверху черные, стрелами. Волосы — золотой шелк. Брови поставлены широко, от лица — свет, рот небольшой, не улыбочивый, но губы зовущие, розовые. Так шиповник цветет. Есть такой шиповник. Цветы у него нежные-нежные.

— Алешка! С гармошкой! — крикнула Шура в комнаты сестрам.

Прибежал, приник Витя. Подошла Зина. Татьяна Дмитриевна поклонилась:

— Молодец, что пришел. Слухами до очумения сами себя застращали. Поиграй девкам! Все равно хуже было бы, да некуда.

— В Сукремли немцы над семиклассницей насильничали! — сказала Шура.

— Дом терпимости для солдат открыли. Девчат да молодух сгоняют, согласия не спрашивая! — воскликнула Татьяна Дмитриевна, глаза на свой цветник — и зажмурилась, а из-под ресниц капает.

Тоня возле окна носочек вязала. Должно быть, Витеньке.

— Всё это худые слухи, но есть худшие. Открылась биржа труда. В Германию идет набор. Алеша, знаешь, кто заправляет биржей? Митька Иванов.

Алеша сел на скамейку, трогал пальцами кнопки на гармонике.

— Чудно! Это ведь они заявили в наши леса, а боимся мы! У них должны волосы дыбом стоять.

Шура села рядом с гармонистом:

— Сыграй веселое! Я еще ни разу не смеялась, как война началась! — Нажала на кнопку ладов. — Я по своему смеху соскучилась.

Алеша повел тоненько, щемяще, но веселые стайки звуков заглушили тоскливое, раззвенелись, озоруя.

Теща зятю пирог испекла, — запел Алеша.

Хлеба-муки на четыре рубля,

Сахару-изюму на восемь рублей.

Думала теща — семерым не съесть.

Проигрыш короткий, басовитый.

Зятюшка сел, за присест все съел!

Теща по горенке похаживает,

Косо на зятя поглядывает:

«Чтоб тебя, зятюшка, разорвало!»

Звуки взвизгнули, понеслись, обгоняя друг дружку.

Разорви-разорви тещу мою,
Тещу мою со свояченицей!
Приходи-ка, теща, на Масленицу,
Уж я тебя, тещенька, попотчиваю
Четырьмя дубинками березовыми,
А пятая плеть — по бокам дереть!

— Девки, смотрите, Шурка взаправду улыбнулась! — Татьяна Дмитриевна, подошла погладила гармониста по головке. — Сыграй нам сердечное.

Алеша послушно свернул меха, голос гармошки потишил. Гармошка словно бы призадумалась.

Где матери плакала,
Там синее море! —
запел Алеша.

Припев Тоня подхватила:

Ой, да люли-люли,
Там синее море.
Где сестра плакала,
Там быстрая речка.
Ой, да люли-люли,
Там быстрая речка.

Тут уж Татьяна Дмитриевна во всю-то свою кручину голос подала. Алеша слушал да головой покачивал в такт.

Где жена плакала,
Там роса, эх, выпала.
Ой, да люли-люли,
Там роса выпала.

Тоня пела, Шура пела, Зина пела:

Солнышко блеснуло —
Роса высохла.
Ой, да люли-люли,
Роса высохла.

Гармошка умолкла. Все смотрели на гармониста, все улыбались. Татьяна Дмитриевна вздохнула:
— Слёз — море, с Россию величиной, а солнышко блеснет — просыхают.

Шура гармонисту на плечо голову положила:
— Алеша, какой же ты у нас!

Сели чай пить. Вместо сахара антоновку в кипяток. Алеша галеты немецкие принес.

— Верю, грешница, Господь Бог на нашей стороне! — Татьяна Дмитриевна перекрестилась. — Бога уж так и сяк гнали, а Он не оставляет Россию.

Провожая, Тоня вышла в сени дверь закрыть за Алешей. Взяла парня за плечи, к себе повернула.

— Ты наших знаешь?

— Знаю.

— Обо мне им скажи. И Шура не подведет. О нас им скажи! — Поцеловала быстро, ласково. — Какой же ты гармонист, парниша!

Смеркалось. Время патрулей. Добрался до дома без приключений. Бабушка сапожников ужином кормила. Алеша — на печь, гармошку под голову. Улыбался, трогая целованные губы. Первая награда!

Хорошо Хотеевы поют, у Шуры голос, как глаза, ясный.

Темная лужа на асфальте

Утром, до заводского гудка, Шумавцов постучался в дверь дома Ольги Мартыновой. Он проверил и знал: немцы, стоявшие в их доме, отправлены на фронт. Дверь открыла сама Ольга.

— Зима на пороге, а в сердце Весна. Я с подарками! — это был пароль.

— Всякое угощение в радость, — ответила Ольга, принимая узелок с пирожками.

— Бабушка прислала. Деду Морозу надо знать, что делается в Кирове и в Жиздре.

— А пропуска?

— О пропусках ничего не сказали. Дали для тебя деньги.

Ольга помрачнела, но деньги взяла.

— Ладно. К Иванову схожу, к бургомистру. Я с его племянницей училась в школе. Он человек не злой.

Пригласила в дом.

— Спасибо! Мне на работу.

Шел и Золотухина про себя корил: приказы легко отдавать, а как разведчикам без документов?

Шел, поглядывая на березы вдоль улицы. И — остановился. Эти улицы, эти березы, даже листья в траве — не его.

Смотрел на изморозь на бурьяне, на остатки выпавшего ночью снега. Снег русский, но ведь тоже не его. И — Шура... И — Ольга. А сам-то он... Он ведь тоже!

Принадлежащий Германии, потому что оставлен страной СССР и отдан немцам.

— А что же у нас нашего?

Увидел крест на Казанском соборе. Куполов нет, но крест деревянный поставлен.

Бог? Которого нет по решению Совета народных комиссаров.

Медленно-медленно повел глазами по городу, словно бы возвращая, на что поглядел.

И увидел — близко! — немецкий патруль. Ужаснулся: рука за пазухой! Вытянул медленно и окатил себя презрением.

— Руки по швам! Перед господами.

Патруль прошел мимо, даже не поворотившись в его сторону. Взмокший от пережитого страха и от стыда, натолкнулся глазами на спину Саши Лясоцкого. Тоже на работу спешит.

— Ты слышал? — спросил Шумавцов. — Немцы набирают людей в Германию.

— Слышал. Митька — главный вербовщик! Иванов.

— Это коварное дело.

— Почему коварное? — удивился Лясоцкий.

— Наши войска вернутся, а народа нет. Ни для фронта, ни для тыла. До Берлина тысячи километров. Быстро привезти всех обратно не получится.

Лясоцкий глядел на Алешу, тараща глаза:

— Ну и голова у тебя! Чего-то делать надо. Митьку по башке съездить?

— Через пять минут другого поставят.

— К партизанам бы сходить... Но где они? Отряд лесхоза Никитин предал. Немцы этого Никитина лесничим назначили. Отец говорил: лесник Фанатов объявился. Его взяли в армию, а он сбежал, стал дезертиром. Немцам теперь служит. Вокруг Людинова лес вырубят на полтора километра, чтоб партизаны не могли подойти незаметно.

У проходной дежурили два полица.

— Мишка Доронин! — узнал Шумавцов.

Доронин отвернулся.

Уже пройдя контроль, Лясоцкий сказал:

— А второй знаешь кто? Машурин! Он у нас в школе был инструктором по труду.

— Изменники! — Алеша кулаком о кулак ударил.

— Но они вместе! А мы? Я бы их убил, да нечем.

— Немцев надо бить! — Алеша посмотрел в глаза Лясоцкому. — Если жизнь отдавать, так задорого.

Днем — новость. Новости, как синички, сами собой прилетают. Подошел к Алеше его сосед по дому, Миша Цурилин:

— Слышал, что натворил Двоенко?

— Не слышал.

— Проклятый Чижик! На улице, при всем народе, застрелил нашего учителя черчения и рисования. Его фамилия Бутурлин. Мы звали его Репин! Двоек и троек не ставил. Если чертежи совсем никуда, ставил четверку «со вздохом». По рисованию — всем пятерки. Он так говорил: «Дары от Бога. У вас иные небесные дарования».

— Что случилось-то?!

— Репин к Чижикю один из всех учителей хорошо относился. Увидел вчера на улице и спросил: «Как вас угораздило, Александр Петрович, в эту форму вырядиться?» Чижик, говорят, зарычал и ба-бах из пистолета.

— Почему он Чиж? Чиж — красивые птицы...

— Да ведь он ходит-то как! Не ходит, а подпрыгивает.

Смена кончилась. С работы втроем шли: Алеша, Цурилин и Апатьев.

— Чего это такое? — не понял Апатьев.

На перекрестке улиц лежали двое. На асфальте вокруг них черное пролито.

— Обходим! — схватил ребят за плечи Цурилин. — Убитые...

Сделали крюк. Старушка, выглядывая из-за калитки, сказала ребятам:

— Не ходите гурьбой: застрелят. Двоенко двоих застрелил. Видели?

— Видели, — Толя Апатьев остановился. — Она правду говорит. Вперед идите... Я потом.

Шли молча. Алеша чуть было руки в карманы не сунул: дрожали. Опомнился. За спину заложил. А за спину тоже, наверное, нельзя. По швам! По швам!

— Я завод взорву! — сказал Цурилин.

— Как ты его взорвешь?

— Очень просто. На складе бочки с бензином.

Алеша промолчал, но потом рассердился:

— Горячку не пори! Такие дела надо готовить серьезно, чтоб людей зазря не постреляли.

— Договорились, — сказал Цурилин, сворачивая к дому.

Уже в сених Алеша прислонился к стенке: ужасом охолонуло. Это же русский русских пострелял! Учитель!

Медведь Доронин встал перед глазами. Воротит морду, но ведь от стыда. Покраснел даже. Новые хозяева Людинова. Вернее, холуи хозяев.

Вошел в дом. Немцы его приходу порадовались. Угостили мятными конфетами.

Широколицый весельчак показал женский сапожок.

— Произведение искусства! — оценил Алеша. — Кунст!⁷

— Я! Я!⁸ — поддакивали сапожники. — Кунст! Кунст!

Как простак умных надурил

Герасим Семенович, разобравши, собрал прялку заново и теперь, пуская колесо, слушал ход.

— Принимай, Ефимия Васильевна! То ли тугой на ухо стал, то ли впрямь бесшумная. Напряди нам с Лизой жизнь ладную, жизнь долгую.

— Жизнь у Бога, у Матери Божией. Избегался по лесам, носков не напасешься.

Дочка Лизонька, пятиклассница, в окошко глядела:

— Чегой-то они? Мама! Все к нам идут.

— Господи! — удивилась Ефимия Васильевна. — Герасим, слышишь? Тебя вызывают.

⁷ Die Kunst! (нем.) – Искусство!

⁸ Ya! (нем.) – Да!

— Выйди к ним, скажи: обувается, одевается.

— Вот и обувайся, одевайся.

В окно вежливо постучали:

— Герасим Семенович!

Сапоги на ногах. Ефимия Васильевна пиджак подала. Надел, взял в руки шапку, вышел.

Домишко у Зайцевых хоть и в три окна, но как игрушечный, молоденький домик, вроде бы подросток.

У крыльца всё Думлово.

Впереди женщины с детьми. Увидели, поклонились.

— Чего такое? Чего ради?

— Герасим Семенович, будь, ради Бога, старостой! Ты у немцев жил, по-ихнему говорить можешь. И человек нешумный, с бухты-барахты дела у тебя не делаются. Всё у тебя обстоятельно, подумавши. Герасим Семенович! Герасим Семенович!

Говорили сразу несколько человек, и все — женщины.

— Ишь как нахваливаете! А наши вернутся и Герасима Семеновича к стенке! Немцам служил. Предатель!

— Не обижай, сосед! Все придем свидетельствовать!

Улыбнулся про себя: верят — немецкое владичество не навек.

Поклонился народу ответно:

— Хорошо. Пойду к волостному старшине. К Гукову. Ежели утвердит ваш приговор, так тому и быть.

Легкий на ногу человек! Еще только собирались расходиться, а Герасим Семенович — в телогрейке, в брезентовом плаще, с котомкой через плечо, через толпу и — в сторону Куявы. Впрочем, как с глаз долой, так звериными тропами совсем в другую сторону, к Золотухину.

Золотухин новости обрадовался. Свой староста поблизости от базы — глаза и уши партизан.

К Гукову Герасим Семенович пришел под вечер. Мужуку за пятьдесят, румяный, статный, скорее всего, и человек-то добрый. Глаза виноватые.

— Господин волостной старшина, я из Думлова. У нас в деревне целую неделю партизаны стояли.

— В Думлове?! — ахнул Гуков, хватаясь за голову. Крикнул в комнаты: — Мать, слышишь? А ты меня попрекаешь трусостью.

Помог гостю раздеться, за стол усадил.

— Поужинаем. Пока хозяйка собирает, рассказывай.

— Что рассказывать? — развел руками Герасим Семенович. — Не скажу чтоб грабили, но ели-пили наше. А потом, знать, испугались чего-то, в одиночасье убрались...

— Далеко ли ушли?

— Этого не знаю... А думаю, не больно далеко. От нас до Жиздры почти столько же, как до Людинова.

Гуков сердито глянул на жену:

— Под носом у смерти жили! — И признался: — Я дома не ночую. Слышал о Заболотье?

— Откуда? Партизаны из деревни народ не выпускали.

— Старосту тамошнего казнили. Пришли, зачитали свой приговор и посреди леса расстреляли. Народными мстителями себя зовут.

На ночь глядя волостной старшина Зайцева не отпустил.

— Утречком пойдешь в Людиново к бургомистру Иванову. Все ему доложишь.

— Мне лес — как стихи Пушкина, наизусть знаю! — набивал себе цену Герасим Семенович. — Если это немцам нужно, найду партизанские лежбища, проведу незаметно хоть целый полк.

Спать легли сразу после ужина.

Лампу Гуков боялся зажигать. На окнах маскировка, как положено, однако береженого Бог бережет.

Постелили Зайцеву на печке, с краю. У стены — место Гукова. Жена сердилась:

— Иди в постель. Поспи, как человек.

— Пятница! — сердито отвечал жене Гуков. — Постный день, тем более от женского пола.

— Покойной ночи! — пожелал хозяевам Герасим Семенович. — А вы, господин волостной старшина, не беспокойтесь. Ежели чего, мне первому достанется, но я медведь чуткий, не подберутся.

В управу Зайцева привезли на лошади.

Бургомистр, узнавши, с чем пожаловал к нему житель Думлова, перепугался. Сергей Алексеевич Иванов в управе-то не больно командовал, а тут надо идти к самому Бенкендорфу. Бенкендорф — человек высокомерный, фон-барон, но о партизанах не доложишь — самого в партизаны запишут.

Бургомистр знал Зайцева как хорошего охотника, в молодости на глухарей хаживали. При советской власти бывшему нэпману о ружье пришлось забыть.

Утром бургомистр вежливо оглядел Герасима Семеновича с ног до головы. Как такого вести на глаза коменданта? Телогрейка, брезентуха, сапожищи. Шапку в печурке, что ли, держит? Мятая, кособокая...

«Да пропади всё пропадом!»

— Пошли.

В кабинет коменданта Иванов вступил первым, но дверь придержал.

— Господин майор! Я с человеком из леса! Дело срочное.

Бенкендорф из-за стола не поднялся, но шею вытянул.

Зайцев вступил во вражеское логово, усердно кланяясь, а как выпрямился, услышал:

— Партизан!

— Никак нет, господин майор! — тоненько закричал бургомистр, прижимая руки к груди. — Это — друг немецкого командования. Пришел из Думлова доложить как раз о партизанах.

Бенкендорф, выпячивая губы, уставился на русское чудовище взглядом, пронизывающим до костей. Майор был убежден: сей особый способ смотреть разоблачающе он унаследовал от шефа жандармов, от самого Александра Христофоровича.

— Был ли под судом советской власти? — резко спросил Бенкендорф по-русски.

— Не был, господин комендант! В тюрьме не сидел и не привлекался, но я был в немецком плену с 1914 года по 1918-й, — все это сказал на немецком языке.

Бенкендорф смотрел теперь в переносицу лесному человеку.

— Что знаете о партизанах?

— Партизаны целую неделю стояли в Думлове, позавчера ушли в лес. Леса наши я знаю. Могу найти партизанскую базу.

Бенкендорф откинулся на спинку кресла. Подобрел.

— Ваше Думлово может стать плацдармом для борьбы с лесом! — Поднял строгие глаза на бургомистра. — Господина Зайцева надо избрать старостой Думлова. С господином Зайцевым деревня и примыкающие леса перестанут быть территорией партизан и НКВД.

Встал, выпрямился.

— Господи! Надо поскорее заканчивать игры в Робин Гуда, в прятки, в догонялки. Москва вот-вот падет, и партизаны станут заложниками игр несуществующей красной власти.

Герасим Семенович прямо-таки расцвел. Глядя на него, Бенкендорф улыбнулся, покровительственно, однако естественно.

Было чему порадоваться Герасиму Семеновичу. От самого коменданта Людинова получена информация о Москве. Москва сражается!

«Будем!»

В первый день жизни в лесу коммунисты, отгородившись от немцев, распределяли обязанности.

В подпольный райком партии избрали пятерых. Суровцев — первый секретарь, Солонцов — секретарь парторганизации отряда. Золотухину, члену бюро, поручили возглавить подпольное движение в Людинове и в районе; на Кизлова, он был батальонный комиссар запаса, возложили ответственность за пропаганду. Пятого члена бюро, начальника штаба Алексеева, сделали ответственным за оперативно-тактическую подготовку личного состава отряда и за разведку.

Разведчики Володи Короткова как раз вернулись из Людинова. Сразу же получили новое задание: достать писчей и копировальной бумаги, а также множительный аппарат. Все это хранилось у машинистки райисполкома Елизаветы Вострухиной. Ее шестнадцатилетний сын был в отряде.

Докладывать Короткову пришлось самому бюро. Сказал, что видели в городе:

— Настроение народа — хуже некуда. Рабочие на завод идут с опущенными головами. Все, кто штаны носит, в глаза женщинам не смеют глядеть. Немцы объявили: Москва взята, фюрер скоро оповестит мир о конце войны с Россией... В городе устанавливается новый порядок: немцы не грабят, не убивают, но зато убивают мирных людей полицаи. Немцы в первые дни оккупации резали скот,

забирали продовольствие, теперь грабят, насилуют женщин полицаи! Обрезают сельское население на голод. А мы всё это видим и в лесу посиживаем.

— Во-ло-дя! — осадил разведчика Золотухин.

— А что «Володя»?! — дерзил Коротков. — Люди уверены, что у них нет никакой защиты. С партизанами покончено. Отряд Цыбульского попал на переходе к лесной базе в окружение... Кто-то, может, и ушел, но таких немного. Никитин, работник лесхоза, переметнулся к немцам, сам показал свои схроны. Немцы в награду назначили его лесничим Радомичского лесничества.

— Спокойно, Коротков, спокойно! — Суровцев карандашиком по столу постучал.

— Будет немцам белочка, будет и свисток, — сказал Золотухин. — А насчет опущенных голов... Мы еще поглядим на белый свет, себя не стыдась. И на нас поглядят. Будет за что.

Упрек разведчика резанул-таки Василия Ивановича по сердцу.

С музейными английскими винтовками, с патронами, может, даже столетней давности, смерть навоюешь.

Маяковский мозги сверлил: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!»

Сел сочинять листовку.

Где фронт? Держится ли Москва? Положил перед собой речь Сталина по радио. По-сталински начал: «Дорогие братья и сестры! Нам с вами довелось видеть, как фашистские захватчики топчут нашу землю. Тысячи и тысячи ни в чем повинных женщин, детей и стариков гибнут от рук извергов».

Теперь надо было что-то про само Людиново сказать... Написал:

«Посмотрите вокруг, горят наши города и села, все то, что создавалось многие годы русскими людьми».

Самое-то главное! Вдохновить надобно народ. Глянул в сталинский текст. Писал и декламировал:

«Вспомните наших великих предков: Александра Невского, Минина и Пожарского, поднявших свой народ против иностранных захватчиков! Все, кому дорога Родина, честь и совесть русского человека, поднимайтесь на борьбу с заклятым врагом — германским фашизмом. Уничтожайте вражеские коммуникации, мосты, дороги, склады с горючим и продовольствием. Помните! Лепта каждого из вас во всенародной борьбе — удар по врагу. Человечество с благодарностью будет вспоминать имена своих героев».

Теперь подпись: «Штаб народных мстителей».

Утешил себя: пока оружие молчит, пусть слово сражается.

В это же самое время имевший звание батальонного комиссара Кизлов, отвечающий в отряде за пропаганду, тоже сочинял листовку.

«Товарищи! Не верьте фашистской брехне. Москвы Гитлеру не видать как своих ушей. Москва — это смерть оккупантов. Нам теперь трудно, но страна Ленина могучая. Русских не одолеть».

В Брынском лесу, где укрывался беспомощный со своими тридцатью музейными винтовками отряд людиновских рабочих, не знали и знать не могли: в Москве, в которой комиссар Кизлов видел спасительницу от нашествия, решали теперь один-единственный вопрос, поставленный Сталиным перед Государственным комитетом обороны: «Будем ли мы защищать Москву?»

В приемной, где собирались члены Комитета, ожидая вызова в главный кабинет СССР, верховодил Берия.

Как это ни удивительно, судьбу Москвы и страны решали люди не военные. Красную армию представлял всего один генерал — командующий войсками Московского округа Артемьев.

Берия крутил головой, как сова, упираясь глазами в одного, в другого:

— У нас же ничего нет! Нас расстреляют, раздавят, как куропаток. Ни танков, ни самолетов! С чем вы беретесь защищать Москву? — И рисовал будущее: — Отойдя за Волгу, будем топить немцев, если сунутся дальше.

Маленков смотрел перед собой и соглашался:

— Так и есть! Так и есть!

Молотов хмурился, качал головой, ему было не по себе.

— Будем ли защищать Москву? — спросил Сталин, когда все уселись за столом совещаний.

Молчание в ответ. Сталин пыхнул трубкой:

— Ну что ж! Начнем спрашивать персонально! — посмотрел на Молотова, Молотов сидел первым. — Вячеслав Михайлович!

— Будем! — сказал Молотов.

— Будем! — Калинин положил руки на стол.

Преданно сверкнул очками Берия:

— Будем!

— Будем, товарищ Сталин! — Маленков был солидарен с вождем.

Сталин подошел к телефонам.

— Пронин! — обратился к председателю Моссовета. — Пиши: «Сим объявляются...»

Продиктовал Постановление ГКО.

— Немедленно передать по радио!

Достал маленькую книжечку.

Называя номера дивизий, приказывал командующим округами срочно отправлять эти дивизии в Москву.

С Урала ответили: дивизия вооружена, готова сражаться, но нет вагонов. Не на чем отправить уральскую силу.

— Здесь сидит Каганович, — сказал Сталин в трубку. — Он головой отвечает за то, чтобы подать вагоны.

В те октябрьские дни среди правительства трусость проявил один только Микоян. Укатил на восток со своим Комиссариатом Внешторга.

Разведчица

Анастасия Петровна Мартынова, провожая доченьку Олю в Киров, попросила надеть и носить, не снимая, крошечный образок Божией Матери «Путеводительница».

Пропуск Ольга получила из рук самого бургомистра. Сергей Алексеевич в молодости был дружен с ее отцом.

Но не пропуск — материнское благословение явило благую силу на первом же пропускном пункте. Немцы ожидали прохода техники и никого не пускали.

Ольга смиренно встала в череду ожидающих. И тут к ней подошел безупречной красоты ариец:

— Танки могут прийти через двадцать минут, но, скорее всего, они будут здесь через сутки.

Подвел к мотоциклу и показал на коляску:

— Извольте!

Ольга ужаснулась: изнасилует! Но страха не выказала. Немец промчал ее до Тихоновки, посадил в машину к русскому водителю.

— Как вас благодарить?! — изумилась Ольга. Немецкий она после школы не успела забыть.

— Вы истинная нордическая красавица, — офицер щелкнул каблуками сверкающих сапог. — О русские! Здесь, в глуши, женщина владеет языком европейской страны.

— Мой немецкий — школьный. Позвольте сказать вам по-русски: спасибо!

Сидя в кабине, дотронулась до иконки на груди.

— Не приставал? — спросил шофер.

— Я думала — погибла, а он — каблуками щелкает.

— Фашист, — определил шофер.

И в Кирове все устроилось: бургомистр дал ей пропуск ради ухода за больной тетушкой. Встречая патрули и полицаев, Ольга обмирала: тетушки нет, она остановилась у знакомой. Ездили в Ленинград поступать в Геологический институт. И учились бы — война.

Подруга Ольгу оставила у себя, хотя в доме было тесно. Приняла два семейства беженцев из Белева. В Белеве — страх Божий! Немцы в городе, на высоком берегу Оки. Наши — на равнине за рекой. Обстрелы, бомбежки. Сила у немцев приготовлена большая, дальше попрут.

Из Кирова Ольга вернулась с мешком фаянсовой посуды. С этим же мешком отправилась в Заболотье, якобы к ученикам своим и для меня посуды на хлеб.

В деревнях школ не было; учились по домам, соблюдая черед.

По дороге узнала: в Заболотье партизаны убили старосту. Староста был из раскулаченных, но человек серьезный, спокойный. В его доме Ольга учила детишек большую третью четверть. Теперь в Заболотье стоят полицаи. Ольга подалась в Черный Поток.

Страшно одной на дороге. Земля родная, каждое деревце — как друг, но ведь не своя. Надругаться могут полицейские, немцы, да ведь и так называемые партизаны или, лучше сказать, те, кто в лесах таится и живет грабежом деревень и сел.

Пооглядывалась Ольга, пооглядывалась.

Одна.

Шла, шла, устала. Уставши, страхи забыла.

В прижукнувшимся к лесам деревенькам дома, еще недавно гордившиеся друг перед дружкой окнами, высокими крышами, резьбой, теперь к земле припадают; окон боятся, бычий пузырь бы на них вместо стекол. Народ в этих деревушках не живет — выживает. У него одно лицо и одноединственное чувство — перетерпеть.

Ольге показалось вдруг — сверху смотрят, смотрят и ведут. И берегут! Ни волка, ни полиция. У нее ведь даже палки нет — отмахнуться. Кто он, ее хранитель? Страна огромная? Или, может быть, Мартынова Ольга и есть страна?

Война народная — тоже она. Потому что не покорилась, потому что не ждет, пока за нее убьют тысячи солдат, сама идет на смерть! И это правда. Всякое дело учительницы Ольги Мартыновой, даже дыхание, — ради Победы.

Но как же затрясло эту героиню, когда перед ней отворили дверь дома, где муж и жена — учителя! Свои люди. Дороге конец.

В Черном Потоке школа не работала. Районы ликвидированы, волости — это скорее сельсоветы; есть уезды, но губернии в границах не определены.

Ольга вызвалась сходить в Жиздру, взять у властей разрешение открыть школу. За пропуском к полицаям пошли втроем — полицай слыл сластолюбцем.

Мужичок с ноготок, кривоногий, очки толстые, голова всегда потная, волосы на голове тощие. Женщины от такого нос воротили, а тут — он-то и есть новая власть. Мстил бабам за свою поруганную молодость. Всех обошел, со всеми спал, а иначе — смерть. Винтовку наставит, затвором щелкает, а которая не испугается — прикладом. Да еще свяжет. Негодяй, в общем.

Притих, когда немцы в село на постой пришли.

— Нет! — сказала хозяйка, оглядывая Ольгу. — Пальто на тебе сидит уж ахти как фасонисто. Со спины даже бабам поглядеть на тебя завидно. К тому же снег порхает, речка замерзла.

Облачили в старую шубу. Пуховый белый платок заменили на серый, грубой вязки.

Полицай Ольгиной красоты словно бы и не разглядел: пропуск выдал. Одно сказал:

— Временный. Завтра и отправляйся. Горшки на хлеб будешь менять, дело хорошее, но мешок для тебя тяжеловат. Так и быть, подвезу. Мне тоже в Жиздру надо.

— Спасибо, — сказала Ольга, — и не беспокойтесь. Я как-нибудь доберусь.

Домой вернулась — а там двоюродная сестра хозяйки. Обнялись — и в слезы.

Горе от немцев. У сестры младенец был. Животик что-то разболелся. Плачет и плачет. На руках плачет, в люльке плачет. А на постое — немец, громадный, страшный. Ночью встал, схватил люльку и на улицу выбросил. Мать — за сыном, а немец ей в лицо — автомат.

Пока оделась, пока умолила немца, простудился крошечка. На другой день не стало.

Пошли к начальству немецкому, пожаловались. Начальство строгое, справедливое. Злодея немца на передовую отправили. Только никакого наказания не вернет дитя с того света.

— Это все Сыч! — вытирая слезы досуха, сказала несчастная мать.

— Зверь — немец, а Сыч при чем тут? — удивилась хозяйка.

— Все наши несчастья — его черного сердца делишки. Не помнишь разве, как моя мама сгорела от неведомой немочи?

— А что было-то? Я ведь не знаю, — удивилась учительница.

— Сыч моей маме — дядя. Они с дедом наследство делили. Обиды какие-то остались. Вот и мстили нашей семье. Принесла жена Сыча пирожков. Мамину сестру угощает, а та ни в какую. Не взяла. Мама сердобольная, гордыни не любила. Съела пирожок. И слегла. Врачи говорят: здорова. А мама не встает. В Людиново ездили, молебен заказывали. Поднялась. А женушка Сыча тут как тут. Пришла с семечками. Говорит маме: «Бери!» А мама в ответ: «Не люблю щелкать». — «А ты хоть одну попробуй!» И ведь попробовала. Похоронили.

Женщины собрались на кладбище, и Оля пошла. На кладбище ей показали удивительное:

— Приглядишься! Видишь — камни в ногах?

На некоторых могилах действительно лежали камни. Серьезные камни.

— Могилы колдунов. Чтоб встать не смогли.

Помолились над крошечным холмиком. Ольга осенила крестом село в низине.

— Если мы пришлых не убьем, они убьют нас.

— Тихонечко бы пережить, — сказала подруга учительница.

Когда возвращались в село, по мосткам, через болотце, женщина, потерявшая сына, спросила сестру:

— У тебя есть заговор от сглаза?

— Есть, — ответила учительница.

— Потом перепишу.

Дома хозяйка дала Ольге тетрадь. Было дико: немцы, война и колдуны, напускающие порчу на своих близких.

«На море, на океане, на острове Буяне стоит там колодец, — читала Ольга, — плотошный, крутые берега подмывают, желтые пески вымывают, со всяких сглаз смывают. Смой с етого раба (имярек)

от черного глаза, от радостного глаза, от ненавистного глаза, косоглазого, разноглазого, мужского, женского, молодецкого...»

Спросила хозяйку:

— А от немцев заговора нет?

— От немцев — солдатские жизни. Сход у нас был. Немец сказал: «Москву Германия взяла. Германия ждет от русского народа разумного повиновения».

— Нашли разумных! — пыхнула Ольга синими глазами.

— До чего же ты красивая! — улыбнулась хозяйка. — Вам бы, девки, счастья.

— Я — не девка! — Ольга косы свои по груди пустила. — Одну ночь была замужней. Теперь — солдатка. И сама солдат.

Утром в шубе, в платке, с мешком вышла из дома, а у крыльца тарантас стоит. Полицай уже поджидает.

Хозяйка утянула Ольгу в сени, сунула в руку мешочек.

— Что это?

— Табак. Полезет, а ты ему — в глаза!

— Он же в очках!

— Очки сшибешь.

Ольга не дрогнула, села в экипаж. В дороге понемногу разговорились.

— Ты молодец, что деревенских детей собираешься учить, — сказал полицай. — Неграмотный человек по нынешним временам — пустое место. Если немцы Москву взяли, значит, история будет долгая.

— А если не взяли? — спросила Ольга.

— Ты неверующая?

— В церковь не хожу, а в Бога верю. У меня мама верующая.

— Я не про Бога — про немцев! — Невзрачный полицейский был неглуп. — Немцы — народ точный. Если говорят, так оно и есть.

Призадумался. Остановил лошадь, дал ей помочиться. «Неужто приставать начнет?» — Ольга помяла пальцами табак в кармане.

— На войне правду не говорят, — сказал полицейский. — На войне правда — военная тайна. А все разговоры — политика.

Ольге философ даже понравился. Сказала, провоцируя:

— Ну, если немцы Москву не взяли, тогда другое дело.

— Какое же?

— Другое. Но все равно долгое, тут ты прав. Уж очень много земли отдали. С Европу.

— Уголь — у немцев, чернозем — у них. Железо Криворожья, леса Белоруссии, виноград Крыма, Молдавии.

— Разве это главное? — не согласилась Ольга. — Половина русского народа под Германией.

— Верно! — ахнул полицейский. — Я и не подумал. Уж треть — наверняка. Все украинцы, все белорусы, прибалты. Многие миллионы!

Стегнул лошадь кнутом, погнался. Когда въезжали в Жиздру, пустился напутствовать:

— Тебе небось наговорили на меня. А я человек с сердцем. Я свой шесток знаю. Не посягну! Ибо ты — Василиса Прекрасная. Конечно, я — гаденыш. Но, ей-богу, — не Черномор. Ты добрая, умная. Береги себя. Василисы Прекрасные да Премудрые дураков мужей из бед выручали. А нынешним Василисам выручать надо саму Россию.

И шапку приподнял, прощаясь.

Самозванство

По дороге на завод Алеша считал и все сбивался, сколько дней под немцами. Даже пальцы принялся загибать.

Город наши оставили третьего октября. Немцы заняли окраины только четвертого — зажал мизинец. Сапожники вселились в их дом — шестого. Пожалуй, седьмого. Значит, пятое, шестое, седьмое и восьмое... Но зачем считать? Время остановилось. Даже сны не снятся. Утром сказал немцам: «Гутен морген»⁹, и день — бессмысленный. Потом Двоенко учителя убил...

В управу ходили... И те, на асфальте, на перекрестке...

Сегодня-то какое число?

Приструнил себя: «Комсомолец Шумавцов!» И — открытие: комсомольца Шумавцова не существует, а комсомолец Терехов — житель Ивота.

Человек навстречу. Поводит глазами по сторонам, но движется спокойно, даже с ленцой, будто на земле обычная жизнь.

«Вот кого к нам!»

Поежился: «к нам». Где они, эти «мы»? Палец о палец пока что не ударили.

Подойти и спросить: «Немцев ненавидишь? Если да — беру заместителем командира группы народных мстителей».

Тут и провалилась душа в живот.

Это же Митька Иванов! Раздатчик талонов на бирже труда.

Митька увидел Шумавцова, узнал... Губы кривила усмешка. Глаза цапнули, как сорвавшиеся с цепи собаки.

Не поздоровался.

«Но ведь и я не поздоровался! — Алеша огорчился. — На бирже работает? На немцев? А ты чей

⁹ Guten Morgen (нем.) — доброе утро.

работник, если завод немецкий? И все-таки лицо у него какое-то... чужое. Не наше».

Снова осадил самого себя.

Все время друг против друга бились. Соперничество. А время другое... Своими надо быть.

Впереди маячила спина Миши Цурилина. Прибавил шагу, но догонять расхотелось. На небо посмотрел: бездонное, синева осени.

Почувствовал — паренье. Как в прошлый раз, в управе. Тогда это было что-то непонятное. А теперь показалось: не сам он над Людиновом. Он-то как раз на земле. На него смотрят, его ведут.

«Воин света!» — само собой сказалось.

Так, наверное, нельзя. Воины света — ангелы. Лицо священника вызвал в памяти. Плечи прямо держит, в облике уверенность и правота. Лоб высокий, говорит внятно, спокойно. Такой человек мог бы армией командовать, а вокруг него старушки.

Но Казанский-то собор немцы открывают! Священник немцам служит... Подумал такое, и самого покорило: священники служат Иисусу Христу, Троице. Немцы к тому же лютеране. В учебнике истории Средних веков о Лютере есть целый параграф. Подумалось: «Неужели Бог милостив к предателям? Они как раз в церковь ходят, свечи ставят, а помогают врагам русского народа».

За кого Бог? За кого русский Бог, если немцы до Москвы дошли? Вдруг вспомнил, как его неожиданно испугал Казанский собор без единого креста. Сколько лет стоял без крестов, а напугал, когда немцам город сдали.

— Алешка! — Цурилин, поджидая, рукой помахал. Пошли рядом. Прикрывая рот, Цурилин сказал: — Мой брат Сашка вчера бидон керосина припер. В заводском заборе доска отодвигается, а в брошенном цеху теперь бочки стоят. Отвинтил пробку, и — порядок. Мы теперь с керосином.

— У нас немцы живут. Спросят, откуда взял... Им для работы керосин дают.

— А там и бензин есть. Горючее для машин. Рвануть бы!

Алеша посмотрел, нет ли кого поблизости. Сказал:

— Разговору конец. Такие дела внаскок не делаются. Надо все изучить: какая охрана, есть ли проходы. Ночью наведемся.

— Сашка нас запросто проведет. Я ему кулак-то сунул под нос. Днем керосин воровал. Увидали бы, очередь — и все.

От заводского производства, где ремонтировали танки, ничего не осталось. Шумавцов-старший отправил в Сызрань 38 эшелонов, 1820 вагонов и платформ.

Немцы очень даже повеселили рабочий класс Людинова. На знаменитом заводе локомотивов теперь сколачивали гробы. Третий сорт — для солдат, второй — для офицеров, первый — для оберофицеров. Пустые цеха пошли под склады. Охраны у склада с горючим нет.

В полдень прибыла колонна машин с ребристыми бочками. Бочки пахли бензином.

Цурилин, проходя мимо, стукнул Алешу по плечу. Это, разумеется, очень даже лишнее, но Алешу другое тревожило: действовать приказа нет. Но где они, партизаны? Отправлена в Киров, в Жиздру Ольга Мартынова. И вся война. Рабочие друг от друга глаза прячут. Пусть гробовщики, но все равно — на немцев горбатятся.

Перед концом рабочего дня появилась охрана. Четверо солдат были с овчарками.

Уже за воротами завода Миша Цурилин сказал Алеше:

— Сашка-то у меня вон какой молодец! Среди дня немцев ограбил. Ночью тут делать нечего.

— Извинись перед братом! — посоветовал Шумавцов.

— Ты скажи, когда немчуре «козу» заделаем?

Алеша остановился, наклонился, перевязывая шнурок на ботинке. Близо никого не было. Себя услышал, будто со стороны:

— Днем охрана беспечная. Завтра. Пока не спохватились.

— Сашку возьмем?

— Возьмем. Будет на стреме, чтоб немцев не прозевать. Свистеть может?

— Лучше меня!

— Утром все надо сделать, пока народ на работу тянется. Саша пусть через свой лаз пробирается.

Цурилин снял кепку, повертел, на глаза нахлобучил:

— Все будет сделано, капитан. В лучшем виде.

* * *

Коробок и три спички взял с собой Алеша. Спички — драгоценность. Шел размеренно. Отец так на работу ходил. Не думал, совсем не думал, что предстоит сделать, а спокойствия в сердце не было.

Какое тут спокойствие? На площади — виселица. На виселице — двое партизан. Немцы объявили: уничтожен отряд. Про Москву они брешут, а казненные партизаны — вот они. Напоказ... Неужели и впрямь теперь один? Не один, конечно. Толя Апатьев, братья Цурилины, Ольга Мартынова, Тоня Хотеева... А кому теперь Ольга передаст разведданные?

Проходная. Потолкался среди рабочих и — к складу. Миша Цурилин вышел из укрытия:

— Сашка на атаке. Пошли!

Железные ворота в Сызрань уехали. Вход свободный.

— По запаху иди! — подсказал Цурилин.

Подвел Алешу к бочке.

— Постарайся, чтоб не брызнуло! — приказал Шумавцов. — По запаху могут вычислить.

Бочку повалили. Алеша достал из кармана водомерную трубку, надел рукавицы, отвинтил пробку. Бензин полился на пол. Подставил трубку, наполнил, бросил в лужу рукавицы, чиркнул спичкой, поджег бензин в трубке.

— Уходим!

Метнул горящую трубку в лужу, туда же коробок с двумя спичками. Успел увидеть, как задвинулась за Сашей Цурилиным доска лаза. Пустующим цехом прошли к своему, где пахло деревом, звеняще взгудывали круглые механические пилы, свистели рубанки, стружка пенилась. Алеша занялся проводкой. Провод к пиле с электрическим мотором тянул. И — ба-а-а-ах!

Никто ничего не понял, но от взрыва зазвенели стекла в оконных рамах.

— Гори-и-им!

Рабочие кинулись вон из цеха.

Над складом горючего черные клубы дыма, языки огня — через крышу.

— Не дайте пламени переброситься! — кричал кто-то сообразительный.

Кинулись оттаскивать древесину. Побежали с ведрами обливаться ближайшее к пожару деревянное здание.

Прикатили пожарные машины, явились солдаты, офицеры, приехал комендант города. Русские работают сноровисто, не дают огню распространиться.

Не заставили себя ждать офицеры Тайной полиции. Огонь сожрал горючее, сник, и можно было искать виноватых. Показать что-либо криминального рабочие не могли. Все у них было цело — инструмент, дерево. Все были на своих местах.

— Короткое замыкание! — решили следователи.

Бенкендорфа и Айзенгута выводы следователей устраивали. Виноватых нет. Оголенный провод в огромном помещении найти трудно. На территории завода бомба упала.

Шумавцова даже к следователю не позвали. Был при деле, на виду у многих.

Дым над заводом, всходя клубами, превратился в огромное кудрявое дерево. Вершина, как шар, в облако уперлась.

Батюшка Викторин служил Литургию. Он совершал каждение, когда ему сказали:

— Завод горит. Дым до небес.

— Будем молиться! — сказал отец Викторин, но люди пошли из церкви смотреть пожар. Промчались машины с солдатами.

— Не постреляли бы людей! — стонали бабушки.

Служба прошла в небывалом единении. Святые Дары принимали как саму жизнь.

Говорить проповедь отец Викторин поостерегся, объявил:

— Завтра Литургия. Для тех, кто готовил себя к таинству, исповедь возле Людиновской иконы Божией Матери.

Первым подошел Посылкин. Отец Викторин знал: это человек Золотухина.

— Имя?

— Афанасий. Я, батюшка, за Чертежом живу.

Это был пароль. Ответил паролем:

— Чертеж — дело старое, бывшая граница Литовского и Русского царств. — Прибавил от себя: — О нынешних временах забота, о нынешних бедах молитвы.

— Передайте в больницу, — сказал Посылкин, — нужны бинты, йод, лекарства. В Заболотье убит староста. Немцы готовятся прочесать леса. Быть боям. Завтра придут и возьмут медикаменты.

— Что произошло на заводе?

— Не знаю.

— Ну, а теперь своей душе дай избавление от грехов. Говори: «грешен».

— Грешен! — сказал Посылкин.

Батюшка накрыл его голову епитрахилью.

В тот же день партизанский связной «нечаянно» встретил Шумавцова на Скачке. Здесь имелось закрытое с трех сторон место, изгиб дороги. Посылкин передал завернутые в бумагу сухари, спросил:

— Что произошло на заводе?

— Я со своими сжег склад горючего. Команды не было, но не хотелось упускать такой возможности. Немцы решили: виновато короткое замыкание.

— С почином! — поздравил Посылкин.

Непобежденная

Сапожники вечеряли. Играли в карты, подкрепляясь из большой бутылки зеленым, пахнущим вкусно питьем.

Алеша зажег лампу и сел переписывать в тетрадь призывы народных мстителей. В герои звали, в ополчение Минина и Пожарского.

Три листовки написал и погасил лампу. Можно ведь провалить дело пустяковой небрежностью.

В телогрейке над плечом он сам сделал потайной карман. Две листовки взял с собой на завод.

А на заводе новость. Ночью кто-то расклеил на окраинных улицах прокламации: «Не верьте немцам, Москву они не взяли и не возьмут».

Выходит, в Людинове действует еще один отряд подпольщиков. Надо их поддержать: рабочие листовкам обрадовались.

По дороге домой Алеша передал свою листовку Саше Лясоцкому:

— Перепиши десять раз. Расклеишь на улице Крупской и на Первомайской. Прежде чем клеить, проверь все отходы, чтоб сразу потеряли из виду.

Вторую листовку Алеша отнес Тоне Хотеевой:

— Твоя улица — Московская. Патрулей я там не видел. Клей вместе с Шурой. Одна клеит, другая предупреждает об опасности. Обязательно подготовьтесь. Сначала наметьте места, потом изучите все переулки. Поглядите, куда можно уйти огородами.

— А наша Зина уже расклеивала листовки, — объявила Тоня.

— Когда?

— Вчера. Она к Вострухиной ходит, а Вострухиной принесли листовку из отряда. Они ее переписали и расклеили.

Шумавцов нахмурился.

— Зина молодец, но о нас ей не говори. Если снова будет расклеивать листовки, объясни, как нужно действовать, чтоб уберечься от провала.

Алеша ушел, а Тоня смотрела ему вслед. Хотела улыбнуться — не улыбалось. Он ведь ровесник Зине. Месяца на два — на три старше. Командир. И ведь взаправду — командир! Не подвести бы...

Подвел Шумавцова в тот же вечер Саша Лясоцкий. Удачно подвел. Его старшая сестра Мария Михайловна пошла на двор в Сашиной телогрейке, а у Саши в кармане — листовка.

Вызвала сестрица брата в сени и листовкой — в глаза ему:

— Хочешь, чтоб нас всех вывели в огород и расстреляли? Отца с матерью не жалко? Братья-сестры надоели? О моей бы кровиночке хоть бы подумал. Годок племяннице твоей! Сам знаешь, пощады партизанам ждать не приходится.

Саша потянулся за листовкой — убрала за спину.

— Сведи меня с лесными людьми. Я — жена командира, много чего умею. Если муж пограничник, то и жена его — такой же пограничник.

— Я скажу, — проямлил Сашка.

— Если такая возможность есть, завтра обо мне сообщи своим... Листовку забираю, перепишу. И чтобы такого разгильдяйства больше не было!

— Мне дали, я в карман положил.

— Убить тебя мало! В следующий раз, когда тайну поручат, сначала Тамару, лежащую в люльке, вспомни.

Грозной сестрице двадцать два года, но даже дома ее зовут по имени-отчеству. У нее фамилия — Саутина. Под бомбами и снарядами уехала с дочкой с заставы... О Саутине, о лейтенанте ее, ничего не известно, границу остался защищать.

Сели ужинать, Саша глаз не мог поднять на семейство.

Отец, мать, последыш Зоя, ей пять лет всего, Колька — ему десять, Лиде — тринадцать, Нине — пятнадцать, Мария Михайловна с дочкой на коленах...

Увидел: Мария Михайловна смотрит на него хорошо, без укора... Она-то молодец, драться с врагом просится. Настоящая пограничница!

Всего через два дня Саша назвал сестре место и час встречи.

В Лазаревской церкви связник Посылкин задал Марии Михайловне только один вопрос:

— Ты хочешь быть с нами, но ты не забыла? Твоей дочери годик!

— Не забыла! Я сделаю все, чтоб, когда ей исполнится два, а может, уже и три года, она была бы свободным человеком. Советским человеком, а не рабыней Гитлера.

— Доложу о твоём решении командиру отряда. А теперь соберись и не выдай себя.

Мария Михайловна подняла глаза на Посылкина:

— Что?

— Лейтенант Владимир Саутин — командир роты нашего отряда.

Белое лицо Марии Михайловны порозовело. Зажмурилась, а когда глаза открыла, Посылкина не было.

Вечером следующего дня к Саше пришел Шумавцов, передал Марии Михайловне два письма. Оба уж очень короткие.

«Дорогая Мария Михайловна! — писал командир отряда. — Поздравляем вас со вступлением в семью народных мстителей. Теперь вы не одиночки в справедливой борьбе с немецкими завоевателями. Желаем вам больших успехов в борьбе с врагом».

Второе — от лейтенанта Саутина.

«Девочки мои, я так теперь близко от вас. На границе защитить страну сил не хватило. И теперь не больно-то их много, этих самых сил, но мы все, как один человек. Никто нас не одолеет. Машенька! Томарик-комарик!»

Когда Алеша собрался уходить, Мария Михайловна глянула на брата:

— Сиди!

Сама пошла закрывать двери за гостем. В сенях обняла, лицом прижалась к лицу и плакала.

— Всё! Теперь всё. Спасибо, Алеша! Задание для меня есть?

— Одно обязательно для всех нас: собирать сведения о немцах. Где у них что, какие части прибывают, какие отправляются на фронт... Тебе будут передавать сводки Совинформбюро, будешь сообщать сведения семьям партизан и тем, кому это дорого.

— Слушаюсь, командир!

— Я — Орел, твой брат — Огонь. Ты кто будешь у нас?

— Я — Непобежденная.

— Непобежденная, тебе будет еще одно задание. Ты Ольгу Мартынову знаешь?

— По школе.

— Когда она вернется с задания домой, сообщишь через Посылкина в отряд те сведения, какие она добудет.

Удивительно! Все складывалось легко и нестрашно.

Уже на другой день Мария Михайловна отправила свое первое донесение:

«Из Жиздры и Кирова вернулась Весна. Последняя сообщила: в г. Кирове расположен немецкий гарнизон численностью 150–200 человек. По городу проходят автомашины с грузами и живой силой как в сторону передовой, так и обратно. Оккупантами ведется сильная пропаганда о падении Москвы. Местное население смутно представляет положение дел на фронте Отечественной войны, крайне нуждается в правдивой информации.

По рассказам беженцев, возвращающихся к своим очагам, в Болхове и Белеве стоит фронт. По правой стороне Оки наши войска, по левой — немецкие. В районе Белева большое скопление немецких войск.

В Жиздре оккупанты спешат установить “новый порядок”: в городе есть городская управа и волостные старшины, есть полиция, не более 20–30 человек. Районная структура упразднена. Жиздра будет уездным городом, но какой губернии — неизвестно. Городская больница стала немецким госпиталем.

В районе Зикеева на каменном карьере работают русские военнопленные и гражданские лица, содержащиеся в концлагерях на одной из колхозных ферм. В лагере бывают частые побегии. В городе и районе Весна установила новые связи со своими людьми.

Непобежденная».

Немецкая карта

Клавдия Антоновна Азарова пришла к Зарецким с отрезом — пошить жилет и юбку.

За подкладкой пальто принесла драгоценный красный стрептоцид — самое сильное антибактерицидное лекарство военного времени, марганцовку, йод, марлю.

Азарова — гость у Зарецких не из случайных. Клавдия Антоновна — всегда строгая, одета безукоризненно.

Все свои обновы она шьет у попадьи Полины Антоновны.

— Меня по дороге к вам останавливали. — Властная сестра-хозяйка больницы говорила спокойно, а в глазах возмущение. — Риск, батюшка Викторин, неоправданный... Пусть приходят ко мне в больницу. Наша Андреева стелется перед немцами. Меня, имеющую отношение к перевязочным материалам и лекарствам, могут обыскать на выходе из больницы...

— Я доложу! — сказал отец Викторин.

Медикаменты сложили в большую стеклянную банку, спрятали в чулане между соленьями.

Матушка подарила Клавдии Антоновне банку с груздями.

— Прихожане приносят.

— Сначала о наших делах. Прошу вас! — Отец Викторин увел Азарову в комнату. Помолился, спросил: — Клавдия Антоновна, вам с Олимпиадой удалось что-то сделать для тех, кого немцы угощают в Германию?

— Отсеяли двадцать семь человек. Нашли у них венерические болезни, палочку Коха... Четырнадцать из них ушли в лес.

— С такими болезнями?

— Отец Викторин! — Клавдия Антоновна насмешливо вскинула брови. — Диагнозы,

разумеется, ложные, но немцы от подобной заразы шарахаются моментально. Нам знаете что удалось с Олимпиадой? Положили в госпиталь трех раненых, сбежавших из концлагеря в Зикееве! У нас на излечении пять человек из отряда. Трое из них тяжелые: тиф.

— Господь дал вам с Олимпиадой пресветлых Ангелов-хранителей.

— Батюшка! Неужто и у нашего главного врача, у подлейшей Андреевой, есть ангел? Пресмыкающееся!

Отец Викторин вздохнул:

— Божьему суду быть.

— Меня и Олимпиаду тревожит активная деятельность Иванова. Пятьсот молодых, нашу русскую силу, собрал для отправки в Германию. Я имею в виду не бургомистра Иванова, но сотрудника биржи труда.

Отец Викторин встал, перекрестился перед иконой Спаса.

— Господи, помилуй Россию. Увы! Иванову было за что возненавидеть советскую власть. Другое непостижимо: как можно мстить своему народу, народу-страстотерпцу?

Благословил рабу Божию Клавдию, отпустил к матушке, сам на молитву стал.

Вечером, в храме передавая партизанскому связнику Петру Суровцеву лекарства, отец Викторин отправил в отряд очередное донесение:

«Помогаем, чем можем, уничтожаем связь врага, вывертываем пробки в емкостях с горючим, портим машины, приводим в негодность пункты наблюдения, распространяем сводки Совинформбюро, держим людей в курсе событий. Ясный».

Суровцев за порог, а на порог — Шумавцов. Помаялся, помаялся и подошел-таки к священнику.

— Благословите! — а сам рук не умеет сложить.

Отец Викторин отвел юношу в сторону, принялся наставлять, а резидент в эти короткие мгновения успел сообщить важное:

— У нас есть свой человек в штабе Тайной полиции. В кабинете офицера он видел карту, на которой флажками помечены места, где стоят партизаны. Карту срисовал. Она у меня.

— Юноша! — сказал громко отец Викторин. — Вечная жизнь, дарованная нам Иисусом Христом, именно вечная. Будьте прихожанином нашего собора. Я верю: ваше желание быть с Богом — искреннее. Пойдемте. Покажу вам алтарь.

Затворив алтарную дверь, принял из рук Алеши драгоценную карту.

Через день карта командира батальона майора Гуттенберга легла на дощатый стол Золотухина.

Фашистский флажок партизанскую базу, где теперь стоял отряд, указывал точно.

Карту принес Зайцев.

— Ну что, Герасим Семенович? Ступай к немцам за наградой. Приведешь их сюда, вот только под ноги смотри во все глаза: блиндажи и тропы заминируем. Особенно осторожен будь во время отхода.

Домой староста Думлова вернулся за полночь, а под утро уже снова натягивал сапоги.

— Далеко ли? — спросила Ефимия Васильевна.

— Пойду керосина у Бенкендорфа просить. Вся деревня впотьмах сидит. А мы теперь не кузькина мать — Европа.

— Я на Россию согласна! — не приняла хозяйка шутку хозяина.

— Прости, родная! — положил в походный мешок пяток картошек, сваренных в мундире, бутылку молока, пару лепешек. И особо завернутый в белоснежное вышитое полотенце каравай. Каравай забрал у соседки: она пекла хлеб партизанам.

— Надолго? — спросила Ефимия Васильевна.

— Я на ногу скорый, сама знаешь.

Заглянул за занавеску, где Лиза спала. Лицо дочери в сумерках светится. Подросточек, но уже красавица, в маму.

— Как же она на тебя похожа!

Ефимия Васильевна тоже поглядела на счастье свое:

— Вылитый батюшка!

— Да она ж — аленький цветочек, красавица!

— Не был бы красавцем, разве я пошла б за тебя?

— Спорщица! — Поглядел на жену веселыми глазами, шагнул с крыльца... и нет его. Внизу по земле всё сосны, а по небу — всё звезды.

Керосин

Комендант Бенкендорф даровал старосте Думлова особое право приходить на доклады самолично, мимо управы и полиции.

Зайцев в приемной, а у графа коменданта ну совсем нет настроения играть добряка вельможу. Однако ж староста Зайцев из Думлова, из края, где хозяйничают партизаны...

Герасим Семенович явился пред грозные очи в ладно скроенном костюме, в рубашке с расшитыми воротом и грудью и с неким подношением.

Дикарское, языческих времен полотенце, на полотенце нечто круглое.

— Примите, господин комендант. Это — каравай.

Бенкендорф сидел за столом, и Герасим Семенович, не смутившись, поставил свой каравай на широкий подоконник:

— Может, и правильно, что не приняли!

Бенкендорф удивленно вскинул брови, а староста, кланяясь, стал задавать вопросы:

— Господин майор, ваше графское высокопревосходительство! Простите меня, что спрашиваю, да нельзя не спросить! Скажите, как быть мне: сначала обратиться с нижайшею просьбою, а потом о деле сообщить, или сначала сделать доклад, честь по чести, а потом уж просить?

Бенкендорф даже встал, удивленный.

— Господин комендант! Ваше графское высокопревосходительство! Тут ведь вот какая штука. Если сказать сначала о деле, то просить будет неприлично; как бы награды себе желаю. А ведь все от чистого сердца!

— Хорошо, — сказал Бенкендорф, потешаясь над народной этикой деревни и все же тронутый. — Хорошо! Сначала пусть будет просьба.

— Господин комендант! Мое Думлово без керосина в полном одичании! А ведь, будучи под властью великой Германии, мы — германская территория, мы — Европа теперь!

— Замечательно! — Бенкендорф стукнул ладонью о ладонь. — Замечательно! Керосин будет вам дан. Теперь жду сообщения.

Герасим Семенович поклонился быстро, низко.

— Граф Александр Александрович Бенкендорф! Партизаны народ замучили. Этот каравай испечен для вашего графского высокого достоинства, но женщинам приходится печь хлеб для партизан. Испечешь для себя, заберут — дети без хлеба сидят. Приходится смиряться. Защиты никакой!

Бенкендорф вышел наконец из-за стола, посмотрел на каравай, на узоры полотенца.

— А что вам, господин Зайцев, известно о партизанах?

— Да не знать бы их вовсе! Я могу, коли прикажете, привести военную силу туда, где они прячутся.

— Даже так! — Бенкендорф устремил свой особый взор в глаза старосте: — Убежден, последний

час партизан пробил. Ступайте к волостному старшине, пусть приготовится к встрече наших солдат.

Зайцеву на стул захотелось сесть. На днях в Замостье каратели сожгли несколько домов и расстреляли подростков и стариков. Всех мужского полу, ребят прятать, что ли? Эх, пора научить немцев такому страху, чтобы в сторону леса смотрели с ужасом.

— Господин комендант! — спохватясь, вскричал Герасим Семенович. — Я забыл о себе думать, да, слава Богу, стрельнуло в голову! Зубы у меня болят. Врачам бы показаться.

— Мы своих людей ценим и бережем! — сказал Бенкендорф, вернулся к столу и написал распоряжение главному врачу больницы. — Вы нам нужны здоровым.

— А керосин? — вытаращил глаза хитрый бестия. Бенкендорф улыбнулся:

— Много ли вы на себе керосина унесете? В Думлово привезут полную бочку. А пока призываю идти к врачам лечить зубы.

Приказы надо исполнять.

Из больницы Герасим Семенович ушел к себе в лес с тремя пломбами и с аптекой в мешке от Азаровой и Зарецкой.

Хождение не зазря

Долгий, добрый день выдался для Герасима Семеновича. Отвел беду от Думлова. Думлово — пекарня партизанского отряда, а немцы после каравая, поднесенного коменданту Людинова, признали лесную деревню опорой для войны с партизанами. Керосин добыл, лекарства, сам подлечился, а день все еще считает свои часы.

Герасим Семенович точной даты не сумел разведать, но сомневаться в скором налете карателей не приходится. Могут уже и завтра пожаловать.

Не щадя ног, думловский староста пошел из Людинова в поселок Петровский к старосте, деду Шаклову. А у того — партизанский табор. Подлечиваются захворавшие, отдыхают разведчики, ходившие в Дятьково. Приехали на телеге от Золотухина за хлебом, за молоком, за маслом.

— Всех выпроваживай! — посоветовал Шаклову Герасим Семенович. — Немцы уже завтра к тебе могут нагряться. Сообщи Золотухину о карателях. В посты самых надежных выстави, чтоб врасплох не застали.

Предупредил и еще один крюк завернул, Гукову на глаза показался. Тот уже одет, собирается на потайную свою ночлежку.

— Что же ты не просишь у Бенкендорфа оружие? — накинулся Зайцев на свое волостное начальство. — Были бы у нас автоматы, а глядишь, пулемет, сами могли бы пугнуть лесных товарищей! Если немцы боятся дать нам оружие, пусть охрану пришлют. У нас — лес кругом.

— Сто раз просил! — Гуков Зайцева совсем уж за своего признал. — Комендант обещает, Двоенко обещает... Но дело с места все-таки сдвинулось. Были у меня сегодня. А тебя, Герасим Семенович, прошу встретить немецкое подразделение ответственно и доброжелательно. Покажешь лесные просеки, тропы... Ты лес лучше моего знаешь.

— Встречу за милую душу. Только бы скорее!

— Не завтра, так послезавтра будут обязательно! — и Гуков даже за платком полез — слезы и сопли вытирать. — Герасим! Не знаю, как ты, я устал бояться.

— Так взбодрись, если завтра страху нашему конец.

За полночь добрался Зайцев до Думлова.

Ефимия Васильевна, положила ладонь под голову, одетая, в теплых носках, — ноги в сапоги

и в дорогу — ждала хозяина. Лиза в комнате своей тоже с боку на бок ворочалась. Не спит, ждет.

Четырнадцать лет! В четырнадцать лет девочка, как почечка березовая в синеструе небесном. Синё, необъятно, а весна завтра будет. Упасть бы на землю, молить Бога не словом, не горем, а всякой живиночкой, в тебе обретающейся: пощади детей, пощади отроковицу и всех отроков не ради того, не ради сего, а потому, что Ты Бог наш. Другого нет. И хоть гнали Тебя — это с Русской-то земли русские люди! — но ведь кто? Замороченные науками и вождями делатели революции. Людям-то простым как было забыть Тебя, когда вместе с Тобой гонимы не токмо из храмов, но с политой потом родной земли...

Думы, как клубок, путаются в уставшей голове.

— Герасимушка! — зовут губы, на защиту любви уповая. И обмерла: верхняя ступенька крыльца — сторож бессонный, хозяйским сапогам обрадовалась. Скрипнула.

В сенях — ни звука. Герасим Семенович — ходок беззвучный. Дверь отворил, как воздух руками раздвинул. Колыхнулась, однако, волна, пахнувшая дождем, дорогой, соснами.

— Герасим! — Ефимия Васильевна с лавки — на колени, в красный угол головой до пола.

Икон в их избе в чулан не убирали.

Было дело, партийный человек заводской укорил сознательного рабочего за мракобесие. А Герасим Семенович не поддался:

— С младенческих лет молюсь! А ведь сами знаете, на собрания хожу, не отмалчиваюсь. Коли Господь Бог — пережиток, так нам и доживать с Ним, покуда молодые науками просветятся.

Заговорил партийца. Норму Герасим Семенович на двести процентов выполнял. В Гражданскую — в Красной армии служил. Вступи в партию, давно бы в хорошем кабинете величался.

Разулся у порога, брезенты тоже снял, в сенях в рукомойнике пестик подергал. Подошел к Ефимии Васильевне, прядку волос убрал ей за ушко:

— На Лизоньку гляну.

Вошел в комнату дочери, а она смотрит на отца, руками тянется:

— Папа!

— Дома! — улыбнулся Герасим Семенович, наклоняясь над постелью. — Спи! Мне бы тоже до кровати доплестись. Солнце половину снов уже просмотрело, а я все шагаю.

— Папа! А какие сны видит солнце? — спросила Лиза.

— Золотые.

— А я думаю, солнцу дождик снится и листочки на березе.

Улыбнулся. И Лиза улыбнулась. В печке тоненько уголек, догорая, ойкнул.

Как немцы сами себя проучили

Спозаранок Герасим Семенович обошел все дома в Думлове. Распорядился достать из сундуков паневы, рубахи, занавески, всё это — на себя! Шубы держать нараспашку, красотой обаять солдатню.

— Они ведь от страха могут в зверство впадать. Кругом лес, за каждым деревом — партизан. А вы им — бабью свою улыбку. Кто хлебы пек и, ежели вкусный, на полотенцах выносите, в избы приглашайте.

— А соль выносить? — спрашивали хозяйки старосту.

— Соль поберегите. Они о хлебе-соли понятия не имеют.

В девять часов утра на пяти машинах въехали в Думлово каратели.

Герасим Семенович в шляпе — молодым в Питере носил — подждал на крыльце машину с офицерами, с переводчиком. Подал свой документ майору Гуттенбергу, но тот не взял. Переводчик посмотрел, прочитал вслух.

— Вы — староста, вы — проводник, — майор не без удивления смотрел на странно одетых женщин, встречающих немецкую армию в народных костюмах и с хлебом, пахнущим аппетитно.

— Хорошо! — по-русски сказал.

— Господин майор! Солдаты могут отдохнуть в тепле. Печи протоплены, полы в избах вымыты! — по-немецки сказал староста.

— Мы не отдыхать приехали, — ответил майор. — Перед делом нельзя расслабляться. Мы ждем отряд полицаев. Они едут на лошадях.

Майор ушел к солдатам, а переводчик подал руку старосте:

— Ростовский.

— Зайцев.

— Вы предположительно знаете о расположении партизанской базы?

— Зачем предположительно? Я все высмотрел. Разве что сбежать успеют.

— Мы прочешем лес нашим гребешком, — усмехнулся Ростовский. — Частым. Всех вшей вычешем. Партизаны надоедливы, как вши. Не так ли, господин староста?

— Сущая правда! — Герасим Семенович даже каблуками пристукнул.

— Из офицеров?

— Никак нет! Фельдфебель. Царю служил. Был в германском плену.

— Ваш немецкий вполне сносный.

— А зачем надо полицаев ждать? — не понял Герасим Семенович.

Переводчик засмеялся:

— Впереди пойдут. Они же русские.

На сорока подводах минут через двадцать прибыли полицаи. Привезли старосте бочку керосина.

— Форвертс!¹⁰ — приказал майор проводнику.

«Знает ли он о Сусанине?» — подумал про себя Герасим Семенович.

— Это не очень близко? — на всякий случай полюбопытствовал Ростовский.

Высокий, лицо сосредоточенное, но, должно быть, бабий баловень. Хорошим человеком до войны называли, а теперь — прислужник фашистский, гад.

Герасим Семенович вел карателей партизанской тропой. Тропа уперлась в просеку. Просекой шли километра два, потом краем болота, березником, посадками сосны и вступили в корабельный бор.

Поднялись на взгорье. Герасим Семенович сел на корневище великана лиственницы, сказал Ростовскому:

— Пусть разведку высылают!

— Это оно, волчье логово? — занервничал переводчик.

— Отсюда до базы меньше километра! — И самому тревожно стало: ушли — не ушли? Сила у немцев немалая. Все с автоматами. На вьючных лошадях минометы, пулеметы. К бою изготовились в считанные минуты.

Первыми пошли полицаи.

В каждой группе по семи человек. В обхват.

Немцы — следом, цепью.

Гуттенберг, узнав, что до базы около километра, поднял свой штаб, двинулись, ведомые Герасимом Семеновичем, красивой грядой.

Красота природы к войне неприложима. Лес великанов сосен, дали богатырские. Что слева, что

¹⁰ Vorwärts! (нем.) — Вперед!

справа. Снова втянулись в чащобу, и тут грохнуло и еще раз грохнуло.

Ударили автоматы, но майор определил: сработали мины.

Выдвинулись саперы.

Еще был взрыв, но через полчаса полицаи заняли партизанский лагерь.

Нашли котел со щами, с горячими.

Выходило — партизаны бежали совсем недавно. Два полицаея убиты, подорвались. Осколками ранены четверо немецких солдат.

Гуттенберг отдал приказ преследовать партизан. И — снова взрывы. Погибли трое немцев, трое полицаев получили ранения. В ярости майор обстрелял лес из минометов и приказал отходить.

Вдруг оказалось: кто напал, тот и в ловушке. Миной разворотило брюхо лошади, покорежило миномет. Кого-то убило, кого-то ранило. Ни единого партизана не видели, а войны нахлебались.

Герасим Семенович был при переводчике. Цепким глазом охотника углядел растяжку, схватил Ростовского за руку.

Мину обезвредили. Вернулись в Думлово. На одной машине отправили раненых. Захлопывая за собой дверцу «опеля», майор показал на крайний дом:

— Нидербреннен!¹¹

Но немцы подожгли сеновал.

Прибежали мужики, женщины, бревна сарая раскатали. Огонь чуть подпалил стену жилого дома, сгорело несколько тесовых досок крыши и куры. Корову немцы из сарая выпустили.

В тот же день трудами старосты и односельчан на крыше поменяли обугленные доски, сарай собрали, сеном поделились.

¹¹ Niederbrennen! (нем.) – Сжечь!

Дома Герасим Семенович показал жене и дочери неожиданную награду: портсигар.

— Переводчик пожаловал. Говорит: серебро очень старое... Правду сказать, я ноги ему спас, а может, и саму жизнь. На мину чуть было не напоролся. Партизаны стрельбы не поднимали. Не хотели своих бойцов терять.

И радостно засмеялся.

— А ведь мы теперь с керосином.

Лиза кинулась обнимать отца:

— Папа! Ты же теперь Сусаниным работаешь!
Па-а-а-па!

Час правды

В Сукремли, в доме Виктора Фомина — вернее, в его погребе возле деревянного сарая, где хранили картошку, капусту, свеклу и соленья, — партизаны устроили тайник.

Люди из леса приносили в сарай очередную листовку, а забирали ее Шумавцов или Толя Апатьев.

Алеша знал Димку Фомина, в одной команде играли. Виктор был однофамилец, рабочий чугунолитейного завода. Шумавцову адрес мстителя дал Посылкин.

Лицо у Виктора уж очень обыкновенное, но улыбнется — и совсем другой человек, кладезь радости.

Шумавцов пришел к Виктору третьего ноября. Немцы как раз готовили к отправке в Германию четыреста человек.

— Листовка нужная, к молодежи, — сказал Алеше Виктор. — Но это не все. Обещают прислать взрывчатку.

— К седьмому?

— Приказано не спешить, а сначала приглядеться.

— К железной дороге?

— К железнодорожному мосту возле Сукремли.

— Его взрывали!

Взрыв моста был первой партизанской диверсией, только проку в ней оказалось уж очень немного. Взрыв покорежил всего один пролет моста. Немцы пролет заделали за час, а за другой укрепили полотно дороги.

— Тебе, Алеша, приказано взорвать мост так, чтоб чинить его смысла не было.

Задание головоломное.

Шумавцов убрал листовки в потайной карман и отправился в церковь. Священник, отец Викторин, прилюдно пригласил его быть прихожанином. Значит, надо появиться в церкви.

Пришел в Казанский собор, а там праздник. Четвертого, оказывается, Казанская.

За стенами храма — война, немецкая неволя, а в храме островок России, народ празднует русские победы над врагами.

— Вы — соль земли! — говорил отец Викторин, протягивая руки к женщинам. — На ваших плечах дети, внуки, дом. Но это малая малость, потому что сегодня на ваших плечах — Россия. Ваша участь и ваш подвиг — жить и обязательно выжить. Спасти от гибели детей, стариков и самих себя. Будут живы дети — будет жив наш народ. Будут живы родители ваши, бабушки и дедушки — сохраним память о пережитом, о величии древнего нашего государства. Убережете себя — значит, и народ русский не исчезнет и не канет в небытие. Что такое народ? По слогам слово разделите. *На-род*. Это то, что можно народить, и вы, прекрасные и мудрые, труженицы безответные, хранители дома и любви, — нарожаете нашу, русскую силу!

Алеша слушал священника, затаив дыхание. Это — посильнее листовок. И это — суть борьбы, когда кругом тебя вооруженный враг.

Батюшка увидел Алешу. И теперь говорил ему. Люди это поняли, смотрели на паренька.

Конспирация по швам трещала, но это был урок науки о победе. Слова отца Викторина словно бы вылетали из отворенных Царских врат.

В словах огонь и еще что-то, прикасавшееся к сердцу.

— Давид, юноша годами, сказал огромному Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа... И я убью тебя, и сниму с тебя голову...» А в Первой книге Маккавейской сказано: «Не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила». Сказано кратко, но это — всем терпящим нашествие завет. — И улыбнулся батюшка, и засмеялся тихонечко. — Куда эта дивная сила придет сегодня? Да ведь на Русскую землю! К кому? Да ведь к народу нашему.

— Батюшка! Отец Викторин! — Женщины плакали, а отец Викторин поцеловал крест и благословил крестом паству.

Пошло какое-то движение, и Алеша увидел: женщины расступились и шепчут ему:

— Подходи! Ты — мужчина! Ты должен подойти первым!

Отец Викторин смотрел на него, ждал. Алеша пошел, поцеловал крест. И теперь надо было отойти, но он продлил мгновение, почувствовал на себе непонятное — свет, что ли?

Когда отошел наконец от батюшки, вспомнил слово из молитвы: «облекся».

Выходя из собора, Алеша уже о другом думал: листовки надо клеить с двух сторон от входа в храм, чтобы в глаза бросились, чтобы прочло больше людей. И на деревьях листовкам место. Возле дерева можно постоять, вникнуть в смысл без спешки.

Дома, устроившись за печкой, Алеша прочитал новую листовку. Толковая, но пространная. Золотухин, наверное, сам писал.

«Дорогие юноши и девушки!

Ваши отцы и деды в 1917 году, не жалея сил и жизни, шли на штурм капитализма. Ради того, чтоб вы не знали капиталистического рабства. Фашистские орды опасны временными успехами. На оккупированной территории в бешенстве спешат установить новый порядок. А это значит отнять у вас все, что было завоевано и создано ценой жизни ваших близких. А вас сделать рабами фашизма.

Ваши отцы, братья и деды на фронтах войны и в тылу врага ведут жестокие бои с фашистскими ордами.

Наши юные друзья! Среди вас много таких, которые способны носить оружие и бить врага. Теперь уже всем известно, что в городе создана биржа труда во главе с предателем Родины Ивановым, чтобы потом отправлять вас в Германию на фашистскую каторгу.

Дорогие юные друзья!

Саботируйте вражеские мероприятия, уклоняйтесь от регистрации. Уходите в леса к партизанам. Смерть немецким оккупантам!

Штаб народных мстителей».

Снова вспомнил удивительное слово: «облекся».

Во что облекся он, Алексей Шумавцов, целуя крест?

В веру? Бабушка в детстве научила его всего одной молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».

Может быть, в силу? В силу Русской земли? В силу русского духа?

Пусть все само собой откроется.

В час правды.

«Облекся»

Листовку с призывом к молодежи Алеша отнес Ольге Мартыновой. У нее почерк хороший. Писала крупно, кругло, на буквы, ее рукой выведенные, смотреть радостно. Получили листовку Тоня Хотеева и Мария Михайловна Лясоцкая. Мария Михайловна переписывала листовки для Саши, брата, для себя и для Толи Апатьева. У него почерк неразборчивый.

Подготовку к 24-й годовщине Октября решили обсудить в воскресенье у Лясоцких.

Утром Алеша сыпанул в мешок ведро картох, в кармане пристроил початую, но почти полную банку немецкой тушенки и — к другу в гости. Остановят, отбрехнуться легко: у Лясоцких народу много, бабушка послала отнести гостинец.

Сердце и впрямь чуяло опасность. У дома Лясоцких встретился с полицаем. Узнал своего футболиста Димку Фомина.

— Предъяви документы! — потребовал полицай и, не поднимая головы, быстро сказал: — Слушай внимательно: среди лесников есть немецкий осведомитель. В городе на Тайную полицию Айзенгута работают шпионы-«консервы».

— Какие консервы? — не понял Алеша.

— При советской власти они годами таились. О себе дали весть, когда началась война. У них есть радиопередатчики. И еще. Комендант Бенкендорф назначил себя директором завода. Немцы выявляют среди рабочих подпольщиков.

Полицай прямо-таки обнюхал документ, выслушивается.

— Все у тебя в порядке.

Пошел своей дорогой, а у Шумавцова ноги к земле приросли. Что если Димка подловил? Почему немецкие тайны выдал ему? Как быть? Войдешь

в дом Лясоцких, а там сборище, провалишь всех сразу.

Дергалась жилка под глазом.

Нет! Димка в шкуре врага, но свой. Немцы без него знают: Шумавцов и Лясоцкий — друзья, электриками на заводе работают.

Не оглядываясь, взбежал по ступенькам на крыльцо, стукнул в дверь. Открыл Саша.

— Погляди, полицаев не видно? — одними губами спросил Алеша.

— Чисто.

Сашина мама Матрена Никитична тушенке обрадовалась:

— Мясного духа на две недели! И за картошку спасибо. До лета вон как далеко, а до молодой — и подавно.

Алешу окружили, повели за стол. Скатерть белая, чашки фаянсовые. Самовар — бока золотые.

Пришли Тоня и Шура Хотеевы, Ольга Мартынова, Толя Апатьев и старый знакомый, но среди них новый человек — Николай Евтеев, Тонин одноклассник. Мария Михайловна принялась разливать чай. Объявила:

— Заварка домашняя: лист смородины, лист брусники, мята, иван-чай. Берите мед.

Хозяин семейства, Михаил Дмитриевич — лесник. Держал пчельник в лесу. Дезертиры несколько ульев разорили, но за лето меда все-таки успели накачать.

— Начнем с приема нового товарища? — спросила Мария Михайловна.

Все смотрели на Алешу.

Это было первое собрание группы. Командир сказал, глядя в свою чашку чая:

— Седьмого сходки не будет. В нашем городе очень много полицаев, почти все местные. Охотников отправиться в Германию в добровольное рабство тоже предостаточно.

— Мы — прифронтовая полоса, — вздохнула Мария Михайловна, — а в Германии война за тысячи километров. От войны люди спасаются.

— Они свою войну еще получают! — Толя стукнул о стол ребром ладони.

— Так и будет, — сказал Алеша, в груди у него было что-то уж очень пространное. — Я о другом. У нас есть партизаны, есть патриоты. У нашего Людинова — я это разведаль моим сердцем — нутро советское. Но все чувства наши оставим до того дня, когда придет в город Красная армия. Никаких посторонних глаз, когда вы клеите листовку!

Посмотрел в испуганные глаза Шуры Хотеевой:

— Мы же их сильнее! Они не знают, а мы знаем: победа будет за нами!

У Шуры лицо зарумянилось, в глазах светился огонек.

— Правда?

— Правда. С праздником двадцать четвертой годовщины! С праздником Правды нашего народа на нашей Русской земле!

— Алеша, мне хочется тебя расцеловать! — сказала Мария Михайловна.

— Хочется ей! — Тоня вспорхнула со своего места и поцеловала Алешу в глаза, в щеки, в губы!

Все смеялись, потому что — праздник.

— А меня? — обвел стол обиженными глазами Толя Апатьев.

— Ольга! — сдвинула шелковые брови Мария Михайловна.

А Ольга уже целовала Толю в височек.

— Нецелованным остался мой соученик Коля Евтеев! — объявила Тоня Хотеева. — Он — наш. Ему совсем уже скоро, седьмого декабря, исполнится двадцать лет. Учился сначала в пятой школе, потом — в образцовой, в нашей, в первой. В учебе тоже был первым, вступил в комсомол. Летом он ездил в Ленинград, сдавал экзамены

в Медицинский институт, не прошел по конкурсу. Вернулся в Людиново, подал документы в Машиностроительный институт Орджоникидзеграда, но учиться придется на войне.

Алеша помнил — Евтеев однажды играл в его команде, спросил:

— Вы знаете, чем рискуете, вступая в боевую группу народных мстителей?

— Жизнью.

— Жизнями. Своей семьи и нашими.

Евтеев снял очки, потер о рубашку, надел:

— Я это знаю.

Алеша встал, и все встали.

— Дайте клятву верности, Николай Евтеев.

— Мне текста не показали...

— Как совесть подсказывает.

Все умолкли. Из комнаты Марии Михайловны раздался голосок:

— Мама!

— Клянусь быть верным! Моей матери не придется стыдиться за сына. Я не подведу Людинова — города рабочих и мастеров.

— Твое имя — Сокол! — объявил Алеша. — С тобой за праздничным столом...

— Огонь! — назвал себя Саша Лясоцкий.

— Победа! — подняла руки Тоня.

— Отважная! — просияла глазами Шумавцову ее сестра Александра.

— Руслан, — подал руку Толя Апатьев.

— А я — Весна! — тихонько засмеялась Ольга Мартынова.

— Слышите? Тамарочка проснулась, к себе зовет.

— Я — Непобежденная, — Мария Михайловна поспешила к дочке.

Все сели, потянулись к меду, к чашкам с чаем.

— А — вы? — спросил Евтеев Шумавцова.

— Орел... Переходим ко второму вопросу. Распределим улицы, кому где расклеивать листовки. Тебя, Сокол, мы пока освободим от задания. Уж очень толстые у тебя очки.

— Я могу переписывать листовки.

— Отлично! — согласился Орел.

— А настоящие дела будут? — спросил Толя Апатьев.

— Тебе чего-нибудь рвануть! — сказала Тоня. — А листовка — это голос Советского Союза. Это — надежда.

Алеша промолчал. Задание: взорвать железнодорожный мост возле Сукремли уже получено. Остается дожидаться, когда из отряда доставят взрывчатку. Алеша уже наблюдал за мостом. Для танков негоден, а машин идет много, подвозят грузы к передовой, перебрасывают солдат.

— Все надо делать по порядку, — сказал Орел Руслану. — Сегодня самое важное для нас дело — объявить народу в день Октября правду, которую утаивают немцы. Правду о том, что армия и народ сражаются с врагом, бьют врага. Москва — наша.

* * *

Домой шел, на небо поглядывая.

Небо чистое от облаков, хотелось увидеть звезду.

У дома его окликнули. За углом стоял Толя Крылов. Молча подал листок бумаги:

— Спрячь. На карте новые флажки поставлены. Немцы знают, где партизаны.

И вдоль стены, за дерево, другое. На дорогу.

Алеша положил карту в потайной карман. Придется рисковать, в Сукремль ночью идти. Хорошо хоть сапожники спят молодецки. Бабушка ничего не спросит, ничего не скажет, но глаз не сомкнет.

Золотухина вспомнил: все-таки кое-чему научил. Крест встал перед глазами... «Облекся»... Да ведь все они, мстители, облеклись.

Внук и бабушка

Какая радость! Ночь — яма черная, холодный дождь, пронизывающий ветер.

Бабушка давно уже кое-что смекнула, но молчит. Слышала, как он одевался, как уходил... Двором, по огороду. Себе он взял самые опасные улицы: Фокина, Урицкого. К собору будет трудно подойти — место открытое, но листовки здесь хорошо поработают. К отцу Викторину ходят подростки, дети...

Алеша слушает ночь. Никого. Полицаи напились, боятся ночи. Немцам черный город, без освещения, страшен. Осветить нельзя — бомбу получишь. Холодно, сыро, грязь по колено.

Алеша наклеивает листовки у входа в собор.

На белой стене — темная фигура. Могут увидеть. Очередь из автомата — и для тебя уж больше ничего не будет. Дождя не будет, ветра, тьмы, не будет весны. Не будет мамы, Дины синеглазой. Не будет Шуры Хотеевой...

Себя, конечно, жалко. Но сколько убитых, неубранных лежат на земле, под этим дождем, а где-то уже под снегом. От Бреста, от реки Прут в Белоруссии, на Украине и по нашей земле. Сколько их, лежащих в грязи на каждом километре под Москвой! Убитым, конечно, не холодно, сырости они тоже не чувствуют... Но они лежат. Они — наши! — устилают собою землю. Нашу! Потому что сражаются. Они сделали свое дело. Немцы тоже лежат. Точно так же. Офицеров, правда, подбирают в Людинове, площадь превращается в кладбище...

Значит, сражаемся. Осталось пять листовок, три... Может, довольно? Две... Чего рисковать?

Домой бы дойти. Не напороться бы в собственном сарае на немца. Последняя листовка обжигает руки. Скомкать — и в канаву. Кто увидит? Главное сделано. А ведь и с одной могут сцапать.

Прокрался к дому в три этажа. Наклеил листовку... Читайте!

Дело закончено. Да ведь надо городом пройти и не напороться на патруль.

— Господи, помилуй!

Всё. Как в детстве — под одеяло с головой. Спать! Спать!

Русские мальчики

Разведчики Гехаймфельдполицей обошлись без русских предателей, обнаружили новую партизанскую базу. Генерал дивизии Ренике не доверял комендатуре, тем более — русской полиции, лично отдал приказ об уничтожении партизан комиссару специального батальона майору Гуттенбергу. В ночь с 6-го на 7 ноября каратели на грузовиках доехали до поселка Петровский, взяли в проводники старосту, деда Шаклова, лесника Жудина и, дождавшись рассвета, углубились в лес.

Одну роту, уже во время похода, Гуттенберг направил на старую, покинутую партизанами, базу. Роту повел Жудин.

Дед Шаклов без промашки указал искомое место. Безжизненное. Пустые блиндажи, пустые землянки. Лагерь на сотню человек, не больше.

Гуттенберг пришел в ярость:

— Партизан предупредили! Кто предал? Кто?! С белками воевать? С деревьями?

И тут с двух сторон ударили пулеметы. Штабные офицеры кинулись в блиндажи. В блиндаже

грохнул взрыв. Земля вспучилась, осела. А ведь саперы все проверили, мин не обнаружили.

Гуттенберг возблагодарил Бога, что не дрогнул, не поспешил укрыться от огня.

Батальон расстрелял лес и стал отходить. Как и в первой экспедиции, снова рвались мины, солдаты залегали, саперы осматривали тропы. Но начиналось движение и — очередь из автомата. На очередь отвечали шквалом огня, прочесывали лес — никого. Мгновение, другое — тишина, и опять пулеметы с трех сторон.

Рота, посланная на старое партизанское гнездо, вернулась без потерь. Партизан там не было. Невидимые пастухи роту не пасли.

Выходило: у русских их праздник состоялся. Гуттенберг привез в Людиново убитых офицеров и солдат. Госпиталь принял раненых.

Гуттенберг пинком распахнул дверь своего кабинета. Сорвал со стены секретную карту.

— Кто среди работников штаба русские?

Смешались, кому надлежало ответить. Однако вспомнили: есть мальчишка, дрова по кабинетам разносит. Фамилия — Крылов.

— Допросить!

Когда вместо уничтоженного партизанского отряда — убитые, покалеченные немецкие офицеры и солдаты, герои, прошедшие Европу в считанные дни, разгромившие русские корпуса и целые армии под Киевом, под Смоленском, — не до психологии.

Толе Крылову пришлось бремя дров в коридоре, у стены, сложить. Его повели в подвал. На столе — сияющие никелем инструменты.

Толя восьмой класс, как и все прочие, закончил круглым отличником. Задачу решил тотчас, предупредив даже мордобой. Он плакал, не отирая слезы рукавами, говорил очень даже толково:

— Я — партизан. Сведения передавал связнику. Адрес не знаю, но могу показать его дом.

Наемник Ростовский перевел вопрос самого Айзенгута:

— На карту в кабинете майора Гуттенберга ты обращал внимание?

— Карта замечательная! Я ее даже срисовал и передал связнику.

— «Замечательная»! — вспыхнул, как от пощечины, начальник Тайной полиции. — Готовятся ли диверсии против войск Германии? Говори тотчас!

Крылов поспешно головой закивал:

— Готовятся!

— Когда? Где?! Кто?!

— Мне таких секретов не доверяют. Связник знает! Он был при советской власти начальником.

— В какой части города дом связника?

— Это в сторону Вербицкой.

Айзенгут вызвал дежурного офицера.

— Партизан покажет дом сообщника. Обеспечьте надежный конвой.

«Сбегу! Сбегу! — колотилось сердце. — Не избили. Сил у меня много».

Вильнуть за дом и — по огородам.

На улице на Толю поглядело солнце.

— Все будет хорошо! — сказал он себе, но вслух.

Впереди шли полицейши. Вокруг — четверо немцев с автоматами. На крыльях не улетишь. Подстрелят.

Толя спросил переводчика:

— Молитвы знаешь? Скажи хоть одну.

— Молчать! — заорал на партизана Двоенко. Он шел среди полицейских.

Ростовский сказал:

— Не держи зла, я молитв не учил.

На улице пусто. За окнами люди прячутся, смотрят через занавески.

Знать бы молитву... Помолиться — и немцев как ветром сдует.

Смотрел на небо. Белесое. Затянуло наволокой солнце.

— Мама! Ты меня на небе молитве научи. Я других ребят спасу.

Впереди — журавель колодца.

— Ангел-хранитель, спасибо!

Со всей силой толкнул автоматчика, забежал ему за спину и — в пропасть срубал.

— Мама!

В тот же день генерал Ренике выговаривал штурмбаннфюреру Айзенгуту и майору Гуттенбергу:

— Мальчик оказался мужественнее и умнее Тайной полиции Германии! Находчивей русского начальника полиции, этого негодяя и мясника! Сильнее четверых опытных солдат! А мы собрались Москву взять?

— Погибший партизан был трусом! — возразил генералу Айзенгут. — Он плакал, когда его допрашивали.

— Ему было страшно! Он — мальчик, но все мальчишки мечтают совершить подвиг. — Генерал перевел глаза на майора Гуттенберга: — Вы привезли из леса шесть трупов, среди них три офицера, у вас двенадцать раненых. Когда и как вы разделаетесь с партизанами? Разве не понятно? Партизаны — серьезная помеха в обеспечении наших наступающих войск людьми, вооружением, боеприпасами.

Майор щелкнул каблуками:

— Господин генерал! Я сделаю все, чтобы партизаны сидели в лесу. Пусть не сегодня и не завтра, но зверь попадается на мушку.

— На поиски партизан отправляйте русских, полицаев. Пусть свои бьют своих. Немецкая кровь пригодится для штурма Москвы.

Генерал долгим взглядом посмотрел на Айзенгута:

— Подвиг русского мальчика — очень серьезное предупреждение всем нам, пришедшим в Россию.

У Айзенгута плечо дернулось.

— Господин генерал! На одного подростка Крылова мы имели сегодня три сотни полицейских, среди которых много молодых. Двадцатилетний наш агент, Дмитрий Иванов, подготовил на бирже труда большую партию рабочих, готовых трудиться на Германию. Господин генерал! Я позабочусь, чтобы освободить эту землю от молодых русских. В Германии им придется думать, как выжить, а здесь они думают, как спасти Россию.

Генерал Ренике сел в кресло.

— Вы свободны, господа офицеры. Наши решения, я думаю, удачные. По крайней мере, к пользе дела. А как будет в жизни, мы скоро узнаем.

Панихида

На службу отца Викторина пришли Олимпиада и Клавдия Антоновна Азарова. Олимпиада подала две записки: одну о здравии, другую — о упокоении. В поминальную записку внесла расстрелянных по делу людиновского церковно-кулацкого заговора и вписала имя новопреставленного Анатолия.

Азарова на исповеди сказала батюшке:

— Мы получили приказ достать как можно больше йода, марганцовки, красного стрептоцида, хины, бинтов. Андреева, наш начальник больницы, хуже Цербера, но провести ее удалось. Олимпиада все передала матушке. Ваш дом теперь в зоне риска.

Отец Викторин успокоил:

— Пока идет служба, медикаменты заберут.

— Батюшка! У меня вопрос! — снова заволновалась Клавдия Антоновна. — Мы просим с Олимпиадой отслужить, пусть без людей, панихиду по убиенному Анатолию. Он был совсем еще мальчик. Он вырвался из кольца немецких конвоиров и двух десятков полицаев. Чтобы никого не выдать, Толя прыгнул в колодец. Как к этому отнесется Церковь? Он что же, самоубийца?

— Он — мученик, — сказал отец Викторин. — Церковь причислила к лику святых христиан, которые, избавляя себя от мучителей сатрапа Рима, бросились с моста и погибли. Я видел записку Олимпиады. Панихиду по расстрелянным в тридцать седьмом году и по убиенному новопреставленному Анатолию отслужу.

— Батюшка! — испугалась Азарова. — Немцы — страшно и коммунисты — страшно. Им ведь доложат.

— Мое дело — паства. Я в ответе за здоровье души прихожанина. За здоровье души народа.

Народ расходился после службы и панихиды неохотно.

— Какого же батюшку Господь нам дал! — говорили женщины. — В нашем Казанском соборе за нашим батюшкой, как у Бога за пазухой.

Анастасия Петровна, мать Ольги Мартыновой, поделилась печалью с бабушкой Алеши Шумавцова:

— Немцы, какие на постое были, уехали. Никто не тревожит, но просыпаюсь утром — беды жду, ложусь спать — поблагодарю Господа за день минувший, а заснуть не могу, сердце сжимается: чует войну, у самого крыльца притаилась. Завтрак девкам готовлю, а хочется собрать всех — больших и малых — и в собор бежать. От самой жизни спрятаться.

Война погромыхивала, но где-то далеко, и не шумом, но всплесками. Должно быть, бомбы рвались.

Отец Викторин, оставшись в храме, молился перед иконой Богоматери «Избавление от бед страждущих». Икона небольшая, деревянная, хрустальное поле с как бы нарисованными узорами. Список, одним словом. Но чтимая святыня.

Молился о даровании сил, немочь одолевала. А немочь недопустима. Людям батюшка нужен здоровый духом, чтоб свет шел и от лица, и от благословляющей руки, от взора, и от слова, от самой стати несогбенной.

Погиб мальчик. Дважды спас партизанский отряд, предупредил о карательных операциях Тайной полевой полиции и немецких войск.

Восемь классов успел закончить. Круглый сирота, жил у тетки неграмотной и, видимо, далеко не ласковой, но какой же молодец! Учился на отлично. Рос советским человеком. Громко сказано, да ведь так оно и есть. Ребята как ребята, озорники, троечники, но все дети великой страны. Ответчики за всех угнетенных, покалеченных, оскорбленных.

Виновен ли человек перед Богом, если попрекает государство и государству этому назначена кара?

У государства гибнут младенцы, гибнут подростки, вступаясь за народ, за родную землю, ввязываются в войну, а война безглазая. Не смотрит, кого убивает. Мальчику Анатолию пришлось убить себя, чтоб не убили его товарищей, которые остались жить и будут взрывать мосты, будут жечь заводы, работающие на врага.

Государство себя не накажет. Суды над государством все лживые. Потому лживые, что правда нынешнего дня и правда дня будущего — величины несовместимые, непознаваемые. Все равно что галактики. Свет — вот он, но галактика взорвалась миллиарды лет тому назад. История не судима. Все ее персоны — неподсудны. Неподсудны новейшим

правдам и справедливейшему праву. История — всего лишь образ. Мгновение текущего времени и пространства. Ни единый промельк Божиего мира, как и все, что есть в этом мире, не ведаёт конечного или начального. Не только воздух, вода, огонь, но и твердь текучи. Алмаз по-своему тоже текуч.

Вот разве что слово... Слово — печать Творца. Печать взламывают, а за ней — некие животные и всадник, и души убиенных под жертвенником, и солнце во власянице, и луна в крови, и семь ангелов среди безмолвия.

Слово запечатлевает жизнь, но оно вечно живое, живущее сразу во всех временах, как Бог, потому и сказано: Слово — Бог.

— Отец Викторин!

Батюшка вздрогнул. Бенкендорф!

— Замечательно! Я удостоился быть свидетелем вашей молитвы. Отец Викторин! Вы бы только знали, как нужна Германии ваша молитва. Если Германия и Россия будут единым целым — весь мир поклонится этому государству. Отец Викторин, торжество германских войск — факт совершившийся. О победе сообщает приказ фельдмаршала фон Бока. Я, комендант Людинова, устраиваю прием по случаю праздника Рождества и победы. Вы, отец Викторин, с вашей матушкой в числе приглашенных.

Бенкендорф прошелся по храму, оглядывая его громадность.

— Чем не памятник великого события? Нынешнее Рождество — 1942-го — венец второго тысячелетия. Вы только себе представьте великолепие победы — Германия до Урала. Германия на берегах Черного моря, Каспийского и Ледовитого океана. — Подошел к батюшке, посмотрел в лицо: — Я украшу этот собор уральскими изумрудами.

Щелкнул каблуками сияющих сапог.

— Привыкайте, господин священник, другой мой, — быть Германией.

И вышел из храма.

Отец Викторин пал пред Царскими вратами:

— Господи! Я остаюсь Великой Россией. Верую: Ты, Господи, не оставишь Своего народа.

«Получилось!»

Четверо юнцов четыре дня и четыре ночи готовили свой удар по Германии. В октябре 2-я танковая группа Гудериана, переименованная во 2-ю танковую армию, окружила армии Брянского фронта. Был тяжело ранен командующий генерал Еременко, убиты командарм 50-й армии генерал Петров и член Военного совета бригадный комиссар Шляпин. 23 октября 13-я и 50-я армии вышли из окружения и заняли оборону по рекам Ока и Зуша. Гудериан не смог взять Тулу и Каширу.

Теперь, в ноябре, потеряв надежду окружить Москву, немцы таранили оборону русских на отдельных участках.

Гудериан снова и снова бросал моторизованные корпуса и танковые дивизии на Каширу, на Зарайск, отрезал Тулу от страны, захватив шоссе и железную дорогу.

Наступление армий «Центр» вязло в тяжелых боях под Тарусой, под Веневом, и все-таки немецкие солдаты и генералы верили: победа неминуема.

Но в победу верили и мальчишки города Людиново. В нашу победу.

Группа Шумавцова вела наблюдение за Гуцинским мостом. Первое дежурство взял на себя Витя Фомин.

Доложил Шумавцову:

— Машины — потоком. Чаще всего идут колоннами. На вышке — пулемет. Солдаты охраняют с двух сторон. Часовые на мосту следят за рекой.

Вторым на дежурство заступил Толя Апатьев. Просидел в засаде всю ночь.

Часовые по мосту проходили, но всего два раза. В двенадцать ночи и в час. Движение по мосту прекратилось с наступлением темноты, а темнеет рано. Последние грузовики прошли в шесть часов.

На дежурстве Лясоцкого по мосту проехал большой начальник. Немцы спускались к воде с овчаркой.

Алеша в свой четвертый день наблюдал за мостом на другом берегу Неполоти. Место с двух сторон открытое, пулемет для наземных целей, зенитный пулемет.

Перед боевой операцией собрались у Фомина в сарае.

— Командир, во сколько выступаем? — спросил Виктор.

— Собачья погода! Дождь, холод. Значит, завтра.

— Как завтра?! — удивился Апатьев. — Часовые в такую погоду в тепле будут сидеть.

— Завтра, — повторил Шумавцов. — В два часа ночи, это уже завтра. Виктор и ты, Толя, останетесь над рекой. Мы с Лясоцким спустимся к сваям... Отходить к пожарному депо, дальше — огородами.

— Вы будете с Сашкой взрывчатку закладывать, а мы — прятаться? — возмутился Апатьев.

— Вы — наше прикрытие. Если немцы что-то заподозрят, пойдут прочесывать берег, закидайте их гранатами.

У Фомина и Апатьева было по три лимонки, у Шумавцова и Лясоцкого — по одной. Другого оружия они не имели. Кроме толовых шашек, бикфор-

дова шнура и двух коробков обыкновенных спичек. Спички держали на груди, в самодельных кошельках из клеенки. Отсыреют — и диверсия сорвана.

Осторожничая, взрывники чересчур далеко начали свой путь к мосту. К реке не подходили, вдруг прожектором высветят, хотя прожектора вроде бы и нет у часовых. Лезли через кустарник. Несколько раз останавливались, слушали ночь, успокаивали дыхание. Ночью и дыхание становится громким. Шорох веток, хватающих за одежду, оглушительный.

Лясоцкий, шедший впереди, сказал:

— Пришли.

Где-то на гребне высокого берега — Апатьев и Фомин.

Мост — как динозавр на чудовищных лапах.

— Быстро! — тихо скомандовал Алеша. Теперь он первый. Перебежали пустое пространство, на котором беззащитны.

И — тьма. Значит, под мостом.

Где вода? Где земля? Сваи скользкие от водорослей.

Все ледяное. Руки заоченели мгновенно. Пальцы непослушные, хочется заскулить.

Алеша изоляционной лентой прикрутил шашку тола к бревну. Лясоцкий пытит возле другой сваи. Хочется приказать: «Тише!» Не выдерживая, Алеша пробирается к Сашке, проверяет, помогает присоединить бикфордов шнур.

— Вот! — Саша подает Алеше свои спички. Руки совершенно каменные.

— Погрею. — Алеша дышит на пальцы. — Нагнись. От ветра прикрой!

Душа уходит в пятки. Спичка ведь громко чиркает, огонек далеко виден.

Спичка шипит, вспыхивает. Шнур послушно загорается.

— Скорее! — сразу оба сказали, а пошли не сразу, дожидаясь, кто же сделает первый шаг.

Через мертвое пространство под защиту берега, кустов. И вверх. Не промахнуться бы. Мимо пожарного депо, стеной закрыться.

Какими быстрыми бывают ноги, когда о них не думают... Вершина. Взрыв. Пламя. Тьма. Что-то падает на железную крышу депо.

Треск автоматов. Бьет пулемет. Идут шагом, чтоб не на шуметь.

— Ребята! — Шумавцов пожимает руки.

И — кто куда...

Какая благодать — проснуться у себя на койке! Ничего, что сон получился куриный. Из дома человек на работу отправляется. Тому есть свидетели — подразделение сапожников.

Весь день у Шумавцова уши настороже.

Что говорят про взрыв? Что с мостом?

По дороге с работы Алешу догнал Посылкин. Сказал всего одно слово:

— Получилось! — Объявил новый приказ: — Орел! Самое важное, что нужно теперь от вас: сведения о боевой силе. Где, сколько, какого рода части. Сообщения оставлять в тайниках — в первом, третьем, четвертом.

Алеша вдруг спохватился: «Надо было Толе Крылову посвятить взрыв моста».

Партизан Лиза

Герасим Семенович новую педальку выстругивал к прялке.

В жизни резвости ubyло. То и дело захаживают полицаи. Делают вид, будто партизан ищут. Всего поиска — торкнуться в лес, полоснуть очередями по чащобе и — к старосте. Осушат четверть самогона — служба исполнена. Скорей домой, покуда не стемнело.

Руки то и дело замирают, забываются.

Проверить тайники Лиза пошла. Четырнадцать лет. Все видит, все понимает.

Герасим Семенович Ефимию Васильевну приставил к секретам. Сам уж больно на виду: куда это наш староста? А Лиза — к матери с теми же доводами: «Тебя выследят».

Разумно, конечно. За девчонкой такого глаза не будет, как за госпожой старостихой.

И вот первый Лизин поход за секретами. Ефимия тоже в лес пошла, проследить за дочерью, помочь, если что.

Выпавший снег растаял. В лесу неуютно. Листва облетела с берез, с кленов... На дубах, правда, держится. Зато пройти сосновым бором — великое удовольствие. Деревья огромные, головы держат высоко, и на каждой сосне шапка Мономаха.

Лиза шла не оглядываясь. Когда человек оглядывается, у него секрет.

Только среди деревьев, нагнувшись за чернушками, смотрела, затаив дыхание, на тропу, на околицу Думлова. Тихо. Пусто. Ноябрь не для гуляний. Чернушки-то на удивленье! Все крепкие, ладные. Черный груздь!

Сосна-тайник у леса на виду, выше всех деревьев. Золотая от корня до вершины. У папани хранится с царских времен учебник истории. Шапка Мономаха в этом учебнике на обложке. На сосне — точь-в-точь.

Тайник под корнем, но нет ничего. Придется к другому тайнику пройтись. Второй — в дубе. Здесь барсучья нора. В норе дупло. Ага! Берестяная трубочка. Бересту — в лукошко, под грибы. Чернушек пять штук всего, но грех не посолить, такие крупные, такие чистые!

Ноги бегом бы кинулись бежать, но голова у Лизы строгая. Ноги немножко дрожат, а хозяйку слушаются. Не торопятся.

Крыльцо.

— Медленно! Медленно! — командует ногам Лиза.

Рука — к двери. Дверь за собой — хлоп! В избу. Нет никого. Отец — у коровы. А на крыльце шаги. Мама. С вязанкой сушняка.

— На растопку.

Лиза подошла к маме, смотрела ей в глаза:

— Ты за мной следила.

Ефимия Васильевна обняла дочь:

— Родная! Господи! Ты — молодец! Ты в Герасима Семеновича. Я видела, как спокойно, без оглядок, проверяла тайники.

— Я чернушки нашла! — порадовалась Лиза.

— И правда! — Ефимия Васильевна нашла под грибами бересту. Положила в печурку.

— Мама, я теперь партизан?

— Партизан, доченька! — подошла к иконам, опустила на колени. — Да, будет моя дочь — девушкой, а я матерью, женой. Герасим же — кормильцем семьи. Господи! Пусть будет, как было у нас. Чтоб все просто! Всё как всегда!

Повернулась к Лизе:

— «Богородицу» прочитай. Пусть не оставляет тебя, когда снова на тайны в лес пойдешь.

«Митя»

О появлении в лесах Людинова и Жиздры партизанского отряда «Митя» немцы узнали, подсчитывая сожженные на дорогах под Дятьковом грузовики. Отряд, оставляя за собой взорванные мосты, уничтоженные склады и комендатуры, пришел из... Белоруссии. Вел отряд капитан госбезопасности Дмитрий Николаевич Медведев. Думал ли кто из посылавших «Митю» поднимать народную войну об Иисусе Христе, — неизвестно, но в отряде,

перешедшем линию фронта в сентябре, было тридцать три чекиста.

Что такое тридцать три человека против танковых армий, моторизованных дивизий, фельдмаршалов, эсэсовцев, Тайной полиции, миллионов пленных, тысяч предателей?

Так. Фантазия Лубянки.

Но в решающие дни ноября 1941 года пусть не тысячи, но сотни орудий не доехали до фронта, остались на обочинах большаков, под откосами железных дорог. Снаряды, изготовленные Европой на головы наших солдат, рвались в глухомани лесов. И здесь, в глухомани, немцы хоронили солдат и офицеров, спешивших в Москву. Потери не такие уж и значительные, но батальоны и полки прибывали к линии фронта поредевшими. А кто уцелел, был захвачен бациллой страха. Велик ли от страха ущерб в войсках наступающих? Тут можно одно сказать: веселящая одурь побед в крови не знавших поражений «сверхчеловеков» стала смешиваться с тромбами ужаса перед русскими лесами, перед простором, за каждую пядь которого ничтожно вооруженные русские бьются насмерть.

Отряд «Митя» мало того что воевал, он был партизанским вузом. А где учеба, там экзамены. Отряды, превратившие лес в убежище от войны, Медведев разогнал. Зато была создана сеть боевых групп. Боевые группы появились в деревнях Будочка, Савчино, Старая Рубча, Немировичи Дятьковского района.

Стреляющее полукольцо перед заводским поселком Бытошь, где делали оконные стекла.

Устроив в этом краю партизанское движение, отряд Медведева перешел в леса Людинова и Жиздры. Отряд Золотухина и «Митя» основали совместную базу неподалеку от деревни Волынь.

У Золотухина в отряде было шестьдесят партизан, у Медведева — несколько сотен. Людиновские по-хозяйски не только обогрели гостей, но обули, одели, накормили.

В особом отряде НКВД всей еды — мерзлая конина. Многие грозные для немцев воины носили лапти. Все оборвались. Немалая часть отряда — раненые и больные. А у Золотухина в глухой лесной деревушке — госпиталь. Из Людинова доставили лекарства, бинты.

Медведева, однако, удивило, что хорошо организованный, боеспособный отряд людиновцев занимается уничтожением оставших от частей немцев, режет кабель, нарушая связь, подбивает изредка грузовики. Взорван всего один мост, причем подпольщиками. Но главное, отряд не имеет радиосвязи. Все донесения переправляют разведке армии через линию фронта. Далеко, опасно, сведения успевают устаревать.

Медведев запросил разведывательную информацию. Похвалил:

— Орел молодец! Докладывает лаконично. Точно указал оборонительные сооружения на подступах к Людинову. Главного не упустил: движения войск по большаку в сторону фронта. — Тотчас и решил: — В воскресенье, в 9.00, у нас сеанс связи с начальником особой группы майором Судоплатовым. Приготовьте, Василий Иванович, краткий отчет о сделанном. Запросите у Москвы самое необходимое. Прежде всего радиостанцию. Сведения Орла через полчаса мой радист передаст в Центр.

Посоветовал:

— Чтобы произвести на Судоплатова хорошее впечатление, прикажите вашим подрывникам взорвать железную дорогу.

Сазонкин со своими молодцами в тот же день пустили под откос местный поезд, ходивший из

Дятькова в Киров. Паровоз покорежило, пострадало несколько вагонов, погибли трое немецких солдат. Доложить все-таки будет о чем, да ведь и карателей дважды гоняли по лесу.

Взорванный паровоз, покалеченная пара вагонов, трое убитых солдат.

Малая малость...

А вот у Орла радость была прямо-таки великая. Чудо! Утром отнес в тайник донесение, и всего через несколько часов, когда на заводе был перерыв на обед, небо Людинова затрясло от гула тяжелых моторов. Солнце косматое — мороз, небо румяное в позолоте. Было видно, как сыплются бомбы.

— Лешка! Смотри! — Лясоцкий локтем двинул друга в бок.

От взрывов звенело в голове. Земля взмывала к небу, подбрасывая колеса, кабины, стволы пушек, щиты, лафеты! Колонна грузовиков везла снаряды и орудия.

— Большак разбомбили! — определил Лясоцкий.

— Большак, — согласился Алеша и задохнулся от счастливых слез в горле. Еле-еле проглотил комок.

Сообщил и сообщил. Мало ли было таких сообщений. Но — прилетели, разбомбили... И снова гулы, звенящие стекла, и опять земля ходит ходунном. Самолеты бомбят доты, дзоты и чего-то там еще.

Два удара чудовищных, точных и неожиданных. Немцы были уверены: русская авиация уничтожена.

Тявкают зенитки, но в небе уже пусто. Такая она вот, малая малость.

Это в Людинове, а в оккупированных районах Московской области в то же время действовало 40 партизанских отрядов, 1800 бойцов.

В Калининской области, занятой немцами в августе, в 38 районах вредили врагу 55 отрядов, 1652 бойца.

В Тульской отрядов было создано 30, и еще 80 боевых групп — 2150 мстителей.

Много ли, мало сделали партизаны? В районном центре Угодский Завод ночным ударом был уничтожен штаб 12-го армейского корпуса немцев. Потери врага — 600 солдат и офицеров, 30 грузовиков, 23 легковые машины, четыре танка, 12 повозок с боеприпасами.

Между Новосокольниками и Выдумским в Калининской области слетел с рельсов эшелон с солдатами — 50 вагонов.

Под Самолуковом — эшелон из 40 вагонов, с орудиями и снарядами.

На трактах Осташков — Андреаполь — Пено взорвано было 40 машин с солдатами и боеприпасами. На хуторе Сидорово перебит гарнизон — 140 немецких солдат.

Под Завидовом рабочие-торфяники уничтожили 30 солдат, захватили зенитку, танкетку, 15 автоматов.

В Калининские партизаны напали на Мигаловский аэродром, сожгли два самолета, убили 40 солдат и офицера.

Смоленские партизаны сожгли мосты через реки Кошу, Жиздру, Рессету.

Отряд «Митя» взорвал четыре моста на большаках и три железнодорожных моста.

Капля не только камень, но гору точит.

Семидесяти пяти дивизиям группы армий «Центр» (22 из них были танковые) в сутки требовалось 70 эшелонов, но подвоз составлял только 23. А до Москвы уже было рукой подать.

25 ноября дипломат Риббентроп дал анализ положения советских армий под Москвой: «Рус-

ские потерпели поражение, имеющее значение для исхода войны, от которого они, ввиду недостатка обученных резервов и военных материалов, никогда уже не смогут оправиться».

Военный теоретик Гальдер, начальник германского Генерального штаба, записал в дневнике 2 декабря 1941 года:

«Соппротивление противника достигло своей кульминационной точки. В его распоряжении нет больше никаких сил».

В тот же день, 2 декабря, командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок углядел признаки полного поражения русских:

«Прибытие нового пополнения было замечено только на одном участке и в небольшом количестве. Оборона противника находится на грани своего кризиса».

Что для фон Бока записочка Орла о движении грузовиков в сторону фронта? Что для фон Бока гибель 30 грузовиков, завязших в болоте, куда их завел, помня Сусанина, колхозник Серебряно-Прудского района Иван Иванов? Что ему потеря гарнизона села Успенское?

Другой Иван, Сотников, завлек офицера и его роту на минное поле.

Малые малости.

В полосе Западного фронта генерала армии Жукова фельдмаршал фон Бок сосредоточил 51 дивизию, 13 из них танковые и семь — моторизованные. Пятая часть войск, десять дивизий, были резервные, полнокровные. Вторую танковую армию Гудериана Гитлер усилил двумя армейскими корпусами и пополнил 100 танками.

На Звенигород, на Кубинку, Наро-Фоминск, Подольск, Серпухов наступали армейские корпуса, усиленные танками.

24 ноября были взяты Клин и Солнечногорск.

Прием у коменданта

Канун немецкого Рождества, 24 декабря, для русского человека время поста.

У Бенкендорфа и его супруги Магды — праздничный стол, на вид и на вкус прибалтийский. На лепестке белого хлеба — килечка. Очень одинокая. Для шнапса — рюмки с ноготок, бутерброды с маслом и — само изящество — на каждом три клюковки, величиной бутерброд с советский пятак. Были консервы, пахнущие консервами, в вазах — краснобокие яблоки, местные, но и тут с расчетом — одно на приглашенного. Кофе подавали суррогатный. К нему пирожные с вершок, галет, правда, без счета. Подавали пиво, к пиву по-русски прилагались раки. По три рака на персону. Умельцы из полицаев наловили.

Отец Викторин получил приглашение на себя и на матушку. На крыльце комендатуры чета Зарецких встретила с мадам Фивейской.

— Для меня эта дверь в Европу, — в глазах счастливой мадам сверкнули слезы восторга.

А вот батюшку и матушку в этой самой «Европе» окатили ледяным душем.

Еще на лестнице к ним подошел Двоенко и вытаращил глаза, изображая крайнее удивление:

— Поп — толоконный лоб! Ты же партизан! Твой праздник под елкой. — И, развернувшись, спросил стоявшего на верхней ступеньке Дмитрия Иванова: — Я ошибаюсь или как, по-твоему?

Митька ухмыльнулся и буравил отца Викторина злыми пьяными глазами. Он был в штатском, костюм из бостона, очень дорогой костюм: ограбил кого-то.

Батюшка остановился пораженный, но Полина Антоновна, не меняясь в лице, толкнула Двоенко прочь с дороги и повела супруга наверх, в залу. К ним подскочил Столпин:

— Двоенко — пьяная свинья, матушка! Не обращайтесь внимания.

В зале стояла огромная елка, красоты изумительной, а потому волшебная.

В зале чету встретили граф и графиня.

— О такой елке я грезил в детстве! — признался отец Викторин.

— Вы — большой художник! — сказала Полина Антоновна графине. — Я уверена, сколько ни смотри на вашу елку, всякий раз будет новое, счастливое открытие.

— Вы думаете, что я наряжала красавицу? — улыбнулась графиня Магда.

— Ну конечно, вы! В вас та же тайна.

— Благодарю! — Графиня растрогалась, а батюшка, когда отошли от хозяев, удивился:

— Мать, ты будто всю жизнь на приемы ходишь!

— У графьев — впервой.

— А что с Двоенко-то делать? Жуткий человек.

Полина Антоновна глянула на батюшку сердито:

— Сносить безобразия перестать! Обязательно расскажи Бенкендорфу о выходе негодяя против тебя. И надо подготовить женщин, чтоб пожаловались на Двоенко и тоже самому коменданту.

Торжество начали речью Айзенгута.

Грядущий 1942 год начальник тайной полиции назвал годом победы германского оружия. Многие, собравшиеся в зале комендатуры, знали: фюрер отстранил от командования 40 фельдмаршалов и генералов: фон Бока, Рунштедта, Гудериана, а генерал-фельдмаршал Браухич — отправлен в отставку. И самое секретное знали: 7 декабря Красная армия освободила на Рязанщине город Михайлов, 9–11 декабря — города Венев, Сталиногорск¹², Епифань. 14 декабря вернула России Ясную Поляну, 15-го — Клин, 16-го — Калинин.

¹² С 1961 г. — Новомосковск.

20 декабря овладела Волоколамском. Бои шли за Калугу, за Наро-Фоминск. И Айзенгут признал: жестокие морозы вывели из строя технику, войска пришлось от Москвы отвести для перегруппировки. Однако стабилизация фронтов налицо, а успех нового наступления обеспечат десять свежих дивизий, прибывших из Франции. Речь Айзенгут закончил с пафосом:

— Все, кто празднует с нами Рождество в этом зале, люди дальновидные, Германия и фюрер ценят верность и готовность к подвигу. Победителей ожидает жизнь ради великих целей, ради обновления мира.

Был дан концерт, пела певица из Берлина, показывал фокусы русский артист (видимо, пленный), играл на скрипке немецкий солдат-артиллерист, а венчал программу канкан в исполнении женщин офицерского борделя, причем не все участницы кордебалета имели нижнее белье.

— На войне для мужчин такая утеха простибельна, — сказала графиня отцу Викторину.

— Русские женщины, дайте только срок, затмят француженок! — Бенкендорф танцем остался доволен и пригласил отца Викторина и матушку в отдельный кабинет.

Подали торт, ликер и настоящий, с чудесным запахом, кофе. Бенкендорф был задумчив и говорил с опасной откровенностью:

— Легкие победы, отец Викторин, испарились. Мы били комиссаров, а теперь перед самой могучей армией земного шара — великий русский народ. Совсем другая война. У нас это понимают немногие. — Граф поднял рюмочку с ликером, пригубил. — Отец Викторин, хочу просить вас. Проповеди ваши привлекают многих. Внушайте прихожанам мысль — беречься от противодействия германским вооруженным силам. Война ожесточает солдат,

ибо партизаны наглеют. Вспышка гнева — и человека нет. Что вы скажете вот об этом?

Бенкендорф положил перед отцом Викториним листовку:

— Листовка типографская. Такой техникой располагают партизаны. А это? Посмотрите, какая каллиграфия! Красиво, качественно.

Рядом с напечатанной листовкой легла рукописная.

— Граф! Александр Александрович! Россия забыла святых, ее наказание — Сталин. В стране Сталина даже героев помнить долго — опасно. Вы видели школьные учебники? Целые страницы залиты чернилами. Маршалы, герои Гражданской войны, превратились во врагов народа... Эта листовка — чистой воды ребячество. Кто-то покрасовался перед своими друзьями.

— Согласен. Но за ребячество будут вешать. Я этого не хочу в моем городе. И вы, я уверен, такого не можете желать.

Графиня всплеснула руками:

— Господа! Рождество! Праздник надежд. Вера в Божественное чудо. Граф, скажите о чудесном нашим друзьям. О чем вы мечтаете?

Бенкендорф снова приложился к рюмочке.

— О Пушкине, милая моя Магда. Если есть Бенкендорф, должен быть и Пушкин... Без Третьего отделения Россия не имела бы того Пушкина, которого чтят как гения. И вам, и мне, и фюреру, отец Викторин, нужна новая Россия. Для нового, преображенного мира потребны гении. Люди высочайших достоинств и способностей. Именно такие люди будут востребованы новой землей.

— Новая Земля у нас уже есть, — сказал отец Викторин.

— Ах, этот остров! Самоеды! — Граф засмеялся, допил свою рюмочку.

— У самоедов дарования особые. У Ивана Грозного был целый двор самоедов. Они предсказывали царю будущее.

Магда решительно чокнулась с Полиной Антоновой, выпила свою рюмку и распорядилась:

— Граф, наполните опустевшее. А вы, отец Викторин, прочитайте стихи.

Прочитал:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

— Замечательные стихи! — одобрил Бенкендорф. — Это кто?

— Тютчев.

— Ах, Тютчев! Времена опять же пушкинские. Я знаю, вы хорошо рисуете, отец Викторин, а стихи вы сочиняли?

— Семинаристом.

— А есть ли хорошие поэты среди советских? — спросила Магда.

— Советская поэзия — еврейская! — поморщился Бенкендорф.

— Советская поэзия многонациональная, — возразил батюшка. — Ну, вот такой поэт.

Не для того ль, чтоб средь зимы
Глазами злыми, пригорюнясь,
В цветах угадывали мы
Утраченную нами юность?
Не для того ль, чтоб сохранить
Ту необорванную нить,
Ту песню, что еще не спета,
И на мгновенье возвратить
Медовый цвет большого лета?

Так, прислонив к щеке ладонь,
Мы на печном, кирпичном блюде
Заставим ластиться огонь.
Мне жалко, — но стареют люди...
И кто поставит нам в вину,
Что мы с тобой, подруга, оба,
Как нежность, как любовь и злобу,
Накопим тоже седину?

- Густые стихи! — оценила Магда.
- Павел Васильев. Репрессирован.
- Еще, пожалуйста!

Мы теперь не поем, не спорим —
Мы водою увлечены;
Ходят волны Каспийским морем
Небывалой величины.

А потом — затихают воды —
Ночь каспийская, мертвая зыбь;
Знаменуя красу природы,
Звезды высыпали, как сыпь;
От Махач-Калы до Баку
Луны плавают на боку.

Борис Корнилов. Репрессирован.

— И поэтам резон быть с нами! — объявил Бенкендорф, разливая ликер. — Превосходный букет. Вы правы, отец Викторин! Листовки — молодечество юношей. Мы это прекратим быстро. Завтра в Германию увезут вторую партию парней и девиц. Двести пятьдесят человек. Дмитрий Иванов, работающий на бирже труда, — мой любимчик. Иванов, а отец у него был Иван Иванович, служит Германии вдохновенно, ибо прежняя власть надругалась над его жизнью. Ивановы служат Гитлеру!

Матушка торкнула под столом батюшку.

— Граф Александр Александрович! Не к празднику такое говорить, — отец Викторин, извиняясь, поклонился графине. — Двоенко набросился на нас с матушкой в вашем доме, кричал, что мы партизаны.

— Чудовище! — согласился комендант Людинова. — Не знаю, сколько он поймал настоящих партизан, но народ он восстанавливает жестокостью своей против Германии. Впрочем, отец Викторин! Не немцы убивают безвинных, убивает безвинных русский человек, учитель. Произвести следствие, когда партизаны все время делают дерзкие вылазки, невозможно. Но вас я огражу от посягательств злодея. Вам я верю.

«Ночь перед Рождеством»

Это когда на земле мир, в праздники проливают вино. На войне за праздники платят пролитой кровью.

21 декабря, в день рождения товарища Сталина, Медведев, командир «Мити», отправил в Москву поздравительную радиogramму: «Железная дорога «Рославль — Киров — Фаянсовая» работает напряженно. 25 декабря сего года под Кировом подорвем эшелон. Создадим пробку. 26-го бомбите с воздуха. Операция «Ночь перед Рождеством». Митя».

Радиogramма легла на стол Сталина, Молотова, начальника Генерального штаба маршала Шапошникова и начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майора Василевского, будущего начальника Генерального штаба, маршала, награжденного двумя орденами Победы, дважды Героя Советского Союза.

Партизаны отряда Золотухина были участниками «Ночи перед Рождеством».

Взорвали железнодорожный мост на дороге Москва — Брянск, недалеко от станции Зикеево. Эшелон, направлявшийся к Москве, пришлось разгрузить в Зикееве.

Между Кировом и Рославлем полетел под откос состав с воинской частью из Франции.

На участке железной дороги Сухиничи — Брянск была атакована и повреждена станция Судимир. В огромной пробке застряли десятки эшелонов.

Чудовищный пир для бомбовозов.

Дивизии из Франции, столь жданные немецкими генералами под Москвой, стояли на калужской и брянской землях. Танки, орудия, боеприпасы и люди подверглись уничтожительному удару с неба. То, что испытывали красноармейцы в июне—августе 1941 года, полной мерой рухнуло на немецкие головы в декабре, в дни Рождества.

А на земле били подгулявших немцев партизаны.

В Зикееве в ресторане с елкой веселились офицеры застрявшего эшелона и офицеры Жиздры. Партизаны забросали ресторан гранатами, а утром прилетели краснозвездные бомбардировщики. Эшелон был уничтожен, бомба попала в школу, где после ночного гуляния и партизанской атаки ночевали семьдесят офицеров.

А в Жиздру под видом крестьян, торгующих сеном, вошли семеро партизан на четырех санях. Вместо базара возы с сеном остановились возле полицейского управления. Очередями из автоматов все полицейские были уничтожены. К управлению на выстрелы прикатил на рысаке начальник полиции с тремя полицейскими. Этих тоже расстреляли, документы и мешки с деньгами, полмиллиона, погрузили на сани быстрого рысака.

По дороге в лес партизаны сожгли лесозавод. Пиломатериалы Жиздра поставляла для фронтовых укреплений.

Но операция «Ночь перед Рождеством» имела продолжение. Командир «Мити» Медведев, хотя ночь для него была бессонной, просмотрел документы, добытые в Жиздре.

Попало на глаза заявление на имя коменданта Жиздры. Некий Львов испрашивал разрешение «до конца войны жить и работать в г. Жиздре при местной городской управе». И заверял: «Я думаю, что оправдаю доверие моего народа, работая в духе понимания великой исторической миссии германского народа, предназначенной ему Провидением».

Чекистская интуиция тотчас сопоставила «Львова» и санитаря Николая Корзухина. Партизаны изловили нескольких агентов, которые на допросах признались, что их завербовал «санитар с красным крестом на рукаве шинели».

В Жиздру отправили отряд лейтенанта Царева. Отряд вел партизан Алексей Белов, бывший председатель Жиздринского райсовета. Немцам было не до Жиздры: спешно восстанавливали движение на железных дорогах, усилили охрану на станциях.

Партизаны проникли в госпиталь. Госпиталь размещался в двухэтажной школе. Здесь лежали перенесшие ампутацию советские солдаты и офицеры. Умирили от заражения крови и гангрены. Корзухина схватили в буфете, где топилась печь.

Привезли в лес. Среди его документов нашли фотографию министров Временного правительства Керенского. Один из них был отцом Корзухина-«Львова» — Владимир Николаевич, самарский помещик, обер-прокурор Святейшего Синода. За агентом СД Корзухиным, сыном Львова, Москва прислала самолет.

Так закончилась операция «Ночь перед Рождеством».

Людинову «Митины» победы аукнулись жестокостями Двоенко. Повесил шестерых «парти-

зан» — крестьян и жителей города, всего лишь заподозренных в связях с лесом.

Русских людей слухами можно напугать. Смертью, виселицами — нет!

Лес ответил дерзостью.

Несчастья Ивановых

Ночью на улицу Плеханова в дом Ивановых явились партизаны, обули корову в валенки и увели со двора.

Дмитрий ночевал в городе. Алексея и младших — Ивана с Валентиной — не тронули. Наталья Васильевна лесным людям слова поперек не сказала. Сердобольный партизан, забирая с печи валенки, посочувствовал:

— Митьку своего благодари!

— У меня Виктор Иванович да Василий Иванович, дочь Раиса Ивановна — на фронте.

Партизан в затылке почесал, дал денег. Однако дружки его гранату оставили у двери, откроешь — будет взрыв.

Утром Алексей выставил вторую раму, вылез через окно, пошел за Митькой.

Столь дерзкий налет партизан переполошил полицаев. Доложили Айзенгуту. Айзенгут пожелал говорить с Алексеем.

Домой пострадавший от насилия партизан вернулся счастливый: начальник Гехаймфельдполицай выдал Алексею Ивановичу Иванову документ о даровании ему земельного участка под мельницу. Ставь и хозяйствуй. Самое удивительное — разрешалось выбрать место по желанию. Плата за щедрость исчислялась не в рублях и не в марках, всего и надо прогуляться по лесам, ища пригодное место для мельницы, и... партизанские логова.

Гранату полицаи Двоенко обезвредили. Корову Александр Петрович обещал привести весной, молочную.

Алексей же не мешкая снарядился в поход. Полицаи довели его на санях до Мужитино.

Дурачку мельница за всякой сосной грезилась. Снег по колено, а ноздри запах зерна ловят, запахи муки, воды. Все, что в детстве счастливого было.

Высмотрел Алексей тропы, партизан издали видел. Сизый дымок углядел: печи в землянках топят. По запаху дыма еще одну стоянку обнаружил: бежать бы не оглядываясь, поглядеть захотел, велика ли база.

Взяли соглядатая. Про мельницу запел песню, документ предъявил, а подпись: Айзенгут.

— Нельзя тебя отпускать! — решил Золотухин. — Людиново на воде стоит, а тебя вон куда занесло! Карателей приведешь.

Не били, не допрашивали. Отвели на болото и кончили.

Тоска вселилась в дом Ивановых.

Наталья Васильевна ночами плакала. Валя, меньшая, спала, пряча голову под одеялом. Иван от всякого стука кидался за печь — самое укромное место в доме.

Митька желваками играл, обрывая все разговоры. Пять дней минуло.

Под Новый год заявился Митька в Казанский собор, на службу. А там Ступин. Десять болванов в черном с ним. Полицаи крестились, кланялись, а когда пришло время елеопомазания, Ступин вручил отцу Викторину портрет убиенного большевиками царевича Алексея:

— Повесь, батюшка, не мешкая, где виднее, и прими у хранителей власти присягу! «Боже, Царя храни» пропоете героям. Пусть знают: служат они Отечеству, империи.

— О пении договаривайтесь с регентом, — сказал отец Викторин и с помощью прихожан повесил портрет царевича на пустующую стену, по правую руку от алтаря.

Текст клятвы Ступин, видимо, сам сочинил. Читал громкие, грозные слова, полицаи за ним повторяли, а батюшка кропил давших клятву святой водой. Старичок регент, не забывший слов царского гимна, со старушкой своей, с двумя дочерьми «Боже, Царя храни» исполнили. Торжественно и не без восторга.

Отец Викторин закончил службу, началось целование креста. Иванов, стоявший особняком, подошел последним. Спросил:

— Приходила Иванова? За молитвой приходила?

Отец Викторин не понял, что хочет от него прислужник «нового порядка».

— У нас фамилий не называют.

— А-а-а! — Иванов отступил.

Когда священник вышел из алтаря, Митька стоял все на том же месте.

— Вы что-то хотите узнать?

Иванов смотрел в пол:

— Брат, он моложе меня, Алексей, исчез. Хотел найти место для мельницы. Спросить бы у партизан...

— Как искать партизан, знает Двоенко.

Иванов медленно поднял глаза, совсем по-мальчишечьи, беспомощные:

— Помолись, батюшка! Пусть Алешку искалечат, только бы живым оставили. Сколько денег нужно?

— Поставь свечу... За молитвы священники денег не берут.

Иванов достал горсть советских рублей и немецких марок:

— Возьми! Чтоб наверняка...

— За мзду, малая она или великая, Бог накажет. Я помолюсь.

— Когда?

— Да вот теперь. Давай вместе помолимся.

Митька отшатнулся.

— Мне никак нельзя. За мои молитвы Бог хуже сделает.

Батюшка разжег в кадиле ладан.

— Молиться о здравии раба Божия Алексея?

— О здравии!

Отец Викторин кадил перед иконами, запел «Царю Небесный...». Митька кинулся прочь из храма.

Утрата

Это никуда не годится! Это — прямая дорожка к провалу. Но грудь распирает от победоносной радости.

Пятьсот листовок облепили столбы, двери домов, легли в почтовые ящики. Двоенко с двумя сотнями полицаев — бессилен. Айзенгут — в бешенстве. Его очень тайная, его безжалостная, змеинохитрая ГФП, не в состоянии напасть на след парней и девчонок.

А вот и символ побед: в самом центре Людинова, на площади перед Казанским собором, что ни день — прибывает, расплзается по земле офицерское кладбище. Наши бьют немцев на всех фронтах.

Листовки — праздник Людинова.

Алеша Шумавцов сам слышал на улице — старик соседке говорил:

— Для меня листовка, как граненый стакан чистейшего самогона. Кровь в жилах огнем горит.

Не радоваться невозможно. Толя Апатьев нашел в самом Людинове отличный радиоприемник. На 3-й Советской улице у Егора Михайловича

Мартышенкова, смелый человек партизанам помогает: у него связные даже ночевали. Егор Михайлович радиоприемник отдал, у Фомина в сарае стоит. За сводками Совинформбюро не надо теперь в лес бегать.

А сводки — как горн пионерский. Пробуждают.

«Маршал Тимошенко взял Елец. Немцы потеряли убитыми двенадцать тысяч солдат и офицеров. Разгромлены 45-я, 134-я, 95-я дивизии вермахта. Трофеев: 246 орудий, 319 пулеметов, 907 автомашин.

Линия обороны 4-й армии генерал-фельдмаршала Клюге прорвана сразу в нескольких пунктах. 30 декабря Калуга стала нашей. Разбиты: 19-я танковая дивизия и 2-я бригада СС, прилетевшая на самолетах из Кракова.

Освобождены города: Таруса, Алексин, Щекино, Перемышль, Лихвин, Козельск.

Брянский фронт, родной Людинову, взял Чернь и Ливны.

Войска генерала армии Мерецкова объединились в Волховский фронт.

Освобожден город Тихвин.

Южный фронт отбил у группы армий «Юг» Ростов-на-Дону.

Советские войска освободили города Керчь и Феодосию».

3 января Гитлер отдал приказ: «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты».

«Если все же по приказу вышестоящего начальства данный пункт должен быть нами оставлен, необходимо все сжигать дотла, печи взрывать».

Зачитаешься!

А по горизонту — канонада. С востока и с севера. Но у Шумавцова сердце ныло.

Тоня и Шура Хотеевы, Оля Мартынова, Мария Михайловна Саутина-Лясоцкая стали красивыми, как невесты.

У Апатьевых, Толи и Витьки, глаза сумасшедшие. Саша Лясоцкий на работу ходит с прископочкой. Будто весна на дворе. А ведь — январь, морозы жарят те еще!

Страшно за ребят! Конечно, все очень здорово, только ведь Двоенко, как бешеная собака, набрасывается на людей.

Казанского собора прихожане, женщины и девушки, ходили к Бенкендорфу, подали на Двоенко жалобу: насильник, мучитель, убивец невинных. В переводчиках был Митька Иванов. Уж чего напереводил — неведомо, но Бенкендорф по-русски хорошо умеет, это в Людинове известно.

Рождество пришло. Рождественскую службу отец Викторин совершил днем. Ночью нельзя: комендантский час.

Мартыновы были в храме всем семейством: Анастасия Петровна, Маша, Лена, Аня, Нина, Люся, Лидочка. Одна Ольга домоседничала. Листовки переписывала. Жили опять в закутке, но солдаты после боев даже днем отсыпались.

Анастасия Петровна вернулась со службы радостная:

— Оленька! Жалко, что ты не была с нами. Батюшка сказал нынче самую лучшую проповедь. Поздравил с праздником, вздохнул хорошо, так вздохнул и говорит: «Совсем чуточку осталось подождать».

Порадовалась матушка на своих девочек:

— Господи! Живы, здоровы. Бог милостив.

И верно! В четыре утра загрохотали сапоги. Анастасия Петровна лежала на печи, затаившись. Девочки спали. Раздались команды, загудели моторы — и всё. Тишина разразилась такая, будто война дверь за собой захлопнула.

— Ольга! — позвала Анастасия Петровна.

— Сейчас встану, погляжу, — пообещала старшая дочь. — Ты слышишь? Ночью земля дрожала. Танки шли. На фронт погнажи. Ой! Плитка шоколада на столе.

— Хельмут оставил. Он и дрова рубил, и воду носил.

— Лучше бы у себя дома сидел, если такой хороший.

— Он бы сидел... — вздохнула Анастасия Петровна. — Ты, как хочешь, а я помолюсь.

Спела «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Лампаду зажгла.

Прошли с Ольгой по дому. Только дух солдатский, тяжелый, остался от немцев. Ничего не брошено, ничего не взято.

— Аккуратный народ! — сказала Анастасия Петровна.

— Братъ у нас нечего, мама! — Ольга принесла шубу, постелила на кровать. — Посплю на просторе.

Анастасия Петровна затопила печь, намыла картошек и — на противень:

— Испечь ради праздника. — Порадоваться успела. — Так бы и жить всегда!

И — ба-бах! Дверь — наотмашь.

В дверном проеме Двоенко:

— Где твоя партизанка, баба?!

Прошел через дом, заглянул в спальню.

— Почиваешь?

Ольга опустила ноги с кровати.

— Одевайся! — показал тетрадный листок. — Узнаешь? Не отрекайся от своего геройства. Я твой почерк знаю. Три года в моих ученицах была.

Анастасия Петровна, окруженная малыми девочками, спросила из своего закутка:

— Александр Петрович, куда вы Олю забираете?

— На тот свет. Сама небось девок не воспитывала, советской власти доверилась. А советская власть из твоей красавицы бандитку воспитала. Так что прощайся!

— Александр Петрович! Пожалей! Молодая. У нее и жизни-то еще не было.

— Молись! Может, чего и вымолишь! — схватил Ольгу за косы, потащил.

На Ольге сорочка. Перед Рождеством на снегу выбеливала. Успела босые ноги в валенки сунуть.

— Пальто! Платок! — Анастасия Петровна кинулась к вешалке, всё в охапку, выскочила на улицу, а грузовик взревел мотором и помчался рывком с места.

Оделась, собрала вещи Олины, побежала в полицейское управление. Ничего не приняли.

Один из полицейских, совсем молоденький, помог Анастасии Петровне с крыльца сойти: в глазах темно было. Проводил через центр. Расставаясь, сказал:

— Немедленно сообщите партизанам!

Каким партизанам? Где их взять? Анастасия Петровна знала: Ольга с Ящерицыным в Заболотье встречалась, с комсомольским начальником. Но до Заболотья далеко, а Ящерицын в лесах прячется.

Куда идти? Кому кинуться в ноги?

Собралась Анастасия Петровна — к бабушке. Больше некуда.

И тут в дверь постучались. Женщина. Как зовут — не вспомнила, но людиновская.

— Я в Вербежичи к своим ходила. На Вербицкой станции Ольга твоя лежит. Убитая.

Не закричала Анастасия Петровна, слез не пролила. Сказала Маше:

— Отведи девок к соседям. Не дай Бог, нагрянут.

Сама — к людям на соседней улице. У них лошадь. Мужчина не испугался. Запряг коняшку

в сани, сена побольше положили, Анастасия Петровна две простыни взяла. До Вербицкой не больно далеко...

Оля в отбеленной на рождественском морозе сорочке, босая, с непокрытой головой, лежала на снегу, на пустыре. Одиноко, но будто посреди белого света.

Белизна сорочки в черных пятнах крови, но где осталось белое, до того бело — глаза обжигает. Лицо безмятежное, волосы с позолотой. Русское золото, соломенное, хлебное.

— Деточка-а-а-а!

Подняли, положили в сани на простыню, другой простыней накрыли, сверху притрусил сеном.

Ехали по улице Ленина, бывшей Старовербицкой. Вдруг навстречу полицаи на лошадях:

— Что везете?

Не поленились, с лошадей сошли.

— Партизанку? Хотите жить, езжайте туда, где подобрали. Положите на то же самое место. Проверим.

Покорились.

Положили, на простыне, простыней прикрыли. Анастасия Петровна поцеловала свою девочку.

— Оля! Господь все видит!

На другой день, 9 января подразделения 323-й, 330-й стрелковых дивизий, партизаны «Мити» и отряда Золотухина выбили немцев из Людинова.

Советская жизнь

В сизых клубах вонючего дыма солярки огромные тягачи крушили, давили надгробные кресты и плиты на могилах немецких офицеров.

Партизаны и сами горожане ловили полицаев. Человек сорок загнали в камеру № 1, самую просторную камеру № 2 набивали немецкими пособниками.

Военкомат работал допоздна: мужское население становилось на военный учет.

Митька Иванов явился записаться в Красную армию 10 января. Записали. А 12-го в дом на улице Плеханова явились партизаны. Арестовали Дмитрия, с ним Ивана. Забрали все ценное, что было в доме.

— Куда Ваню берете? Парню нет четырнадцати! — закричала на мужиков с автоматами Наталья Васильевна.

— Разберемся.

С Иваном и вправду разобрались. Спросили о братьях. Говорил, как есть: Виктор и Василий на фронте. Сестра Раиса тоже на фронте, брат Алексей пошел в лес и пропал. Брат Дмитрий служил у немцев на бирже труда. В полицаи не пошел, хотя ему за это грозили. Сам Двоенко грозил. Брехня, но на пользу Митьке. Иван даже пожаловался начальнику, пришедшему на допрос: «Партизаны у нас стельную корову из хлева увели — нам есть нечего».

— Карточки получите! И ты, и мама твоя, и сестра. Старшие твои братья и старшая сестра бьются с врагом, не щадя жизни.

Ивана отпустили домой, а Дмитрий стал сидельцем камеры заключения № 3.

10 января торжественно хоронили партизанку-героиню Ольгу Мартынову.

Хотеевы ходили на похороны. Тоня и Оля были подругами.

Братья Апатьевы стояли в толпе.

А Шумавцов смотрел на похороны издали. Подпольщики оставались людьми секретными. У Золотухина руки не доходили назначить встречу Орлу. Разгрести после немцев было чего. Поработали с населением.

Военный оркестр играл траурный марш, боевые марши. Взвод красноармейцев дал три залпа

из винтовок. Военские почести сельской учительнице.

Подпольщики поминали Ольгу у Хотеевых. По-русски. Кутья, щи, картошка. Рюмка разведенного спирта.

Коля Евтеев взялся сказать об Оле, но получилось коротко:

— Ведь это непоправимо. Даже если мы все станем Героями Советского Союза, — Оля не будет с нами.

Шура Хотеева, раскрасневшаяся, обводила сидящих за столом удивительными своими глазами:

— Ребята! Мы выпили за память! Ребята! Оля стала — прошлым.

— Оля с нами, пока мы живы! — вскипел Алеша. — Оля будет всегда с нами! И со всей страной, потому что Ольга Мартынова — частица Победы.

— Двоенко, гад, как в воду канул! — Толя Апатьев ударил кулаком о кулак.

— Оля — воинская слава города Людинова. На все времена! — Мария Михайловна Саутина-Лясоцкая смотрела на ребят, как старшая на младших, на хороших своих. — А знаете, почему слезы из глаз моих сами собой капают? Оля — красавица! Если бы у нее был сын, дочь... Она и сегодня жила бы жизнью! А теперь только слава. Я понимаю, доля завидная, Оля погибла за Родину. Но, ребята, как же это горько!

— А мы будем живы за Родину! — вскочил на ноги Саша Лясоцкий. — Мы еще и на войне будем. Наш год тоже будет призывным. 42-й перетерпим, а в 43-м — на фронт! Добивать бенкендорфов!

Алеша поднял руку:

— Товарищи! О наших делах никому не рассказывать. Будет команда, сообщу.

— Так мы теперь — наши! — удивился Толя Апатьев. — Мы — СССР.

— Фронт близко! — глянула на героя Мария Михайловна. — Прифронтовой город — родная стихия разведки.

— Просто надо потерпеть, поберечься! — сказал Алеша. — Мы не знаем, кого немцы завербовали.

— Может, нас в немецкие тылы забросят? — спросил молчавший Витя Апатьев.

— Не исключено, — согласился Алеша.

Расходились, как при немцах, по одному. Простраивали улицу.

Шумавцов от Хотеевых шел по Людинову, как никогда не ходил.

На горсовете — красный флаг. Всего один, не как у немцев. Огонек!

У немцев — полотнища с крыши до земли. Тоже красные. Красное, да не наше. На полотнищах у них черная свастика. Свастика казалась Алеше ножом от мясорубки.

Большак идет по плотине и за город. Как тут все летело под ударами бомб! Может, потому и огонек над домом советской власти. Может, потому и не в Москве немцы, — столько эшелонов застряло в пробках в Жиздре, Кирове, Куяве.

Вышел к обезображенному немецкому кладбищу, посмотрел на крест над Казанским собором, на флаг над горсоветом — захотелось к бабушке.

Бабушка обрадовалась Алеше.

— Совсем тебя не вижу. — Потянула ноздрями воздух, глаза стали испуганными: — Ты пил?!

— Олю нынче похоронили.

— Оленьку! — Бабушка стала совсем маленькая. — Алеша, поберегись! Я за тебя перед мамой твоей в ответе. Ты письмо написал?

— Напишу.

— Садись, Алеша, пиши! Папа и мама уже знают: Людиново отбили, а мы помалкиваем. Нелегко, когда неведомо, что с твоим сыном, где он, как он.

Алеша принялся искать бумагу. Все тетради пошли на листовки.

— Бабушка! У тебя чистый листок найдется?

Откликнулась не сразу:

— Есть листок. С молитвой. Но одна сторона белая, а молитва химическим карандашом записана.

Алеша прочитал молитву.

«Свете Тихий святых славы Безсмертного Отца Небесного, Святого Блаженного, Иисусе Христе! Пришедше на запад Солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достойн еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даждь, темже мир Тя славит».

На улице вечер. Божии слова тоже были вечерние, покойные, но в них светилось торжество. Торжество серебряного света с одинокой звездой, с серпиком новорожденного месяца.

Перечитал молитву и вдруг понял: написать маме, как он жил сто дней под немцами, что делал и чего достиг, — нельзя! Его жизнь — не его тайна. И почему остался — объяснить непозволительно.

Пришла бабушка, посмотрела на пустой лист. Алеша поднял глаза:

— Напиши сама. Бабушка, ты же все понимаешь.

— Ничего не понимаю. Но внук у меня — бриллиант. А бриллианты в потайных местах хранят.

Орел и ворон

16 января немцы бомбили окраины Людинова — линию обороны.

Бабушка молилась в уголке, за печью. Алеша выходил в огород, смотрел, на какие цели заходят немецкие, с крестами, самолеты.

И вдруг устал. Лег на диване, набросил сверху шубу и заснул.

Проснулся от прикосновения. Глаза открыл — бабушка.

— К тебе, Алеша.

Встал, отер ладонями лицо. У стола сидела женщина, в пальто, в платке.

— Я мама Димы Фомина.

— Здравствуйте!

— Дима в КПЗ сидит. Боюсь за него.

Алеша кинулся к вешалке и вспомнил — шуба на диване.

— Почему раньше не сказали?

— Не знала, к кому идти. Я его нынче в окошко видела, он мне записку бросил, а там одно слово: «Шумавцов».

— Иду!

Бабушка испугалась:

— Алеша! Первый час ночи!

Сел на табуретку возле двери.

— Дима — настоящий советский человек. Как же так? Почему он ничего не сказал на допросах?

— А их не спрашивают. Заперли — и всё.

— Нелепость! Бабушка, в шесть утра буди. Лучше — в пять.

Мама Димы поднялась, поклонилась:

— Спасибо тебе!

— Нелепость! Наш — и неделю у наших под замком!

В шесть утра Алеша был в КПЗ. Часовые к начальству не пустили.

Махнув рукой на конспирацию, побежал в горсовет. А там тоже часовые. Где искать Золотухина? В Сукремль кинулся, к Виктору Фомину. Разбудил. Нашли партизана. Уже было светло. Прилетели немецкие самолеты, пошла бомбежка.

В партизанский штаб все-таки Алеша побежал, а Золотухина нет. С какими-то нужными людьми неведомо где встречается.

Никого из начальства нет. Никто не слушает. Алеша грохнул дверью:

— Вот что, товарищи! В нашей тюрьме наш человек. Вас он от смерти спас, так что вы его вызволяйте! Идемте со мной.

Повел несколько партизан. А в КПЗ автоматные очереди. Пистолеты хлопают.

Алеша бегом, партизаны — за ним. Все уже кончено.

— Порешили гадов! — сказал охранник. — Вы, ребята, тикайте отсюда. Немцы оборону прорвали.

Шумавцова шатало, когда домой ввалился. Закричал на бабушку:

— Что же ты не спрашиваешь, пьяный я или не пьяный?

— Не знаю! — перепугалась Евдокия Андреевна.

— Пьяный! От горя! Димку расстреляли. Он их спас, а они его — очередью! Благодарные у нас товарищи.

Лег ничком, без сна, без сердца, без души.

Мотор заурчал, машина остановилась, приехал Сазонкин с двумя партизанами.

Алеша поговорил с ними, проводил в дровяной сарай. Партизаны вырыли яму, сложили в яму взрывчатку, сверху поставили поленницу.

Прощаясь, подрывник обнял молчуна парня:

— Держись, Алешка! Они у нас еще полетают под небесами!

Ни о чем не спросил подпольщик мальчик матерого партизана. Все ясно: город сдадут без боя.

Сел возле окна, гармошку взял. Лады чуть всхлипывали, пел почти шепотом.

Ой, да наше Черное — деревня веселая,
Деревня веселая.
Ой, там, в степи, степи было
на сырой,
Было на сырой земли.
Ой, там стоял, стоял стар
да зелен,
Стар да зеленый дуб.
Ой, на дубу сидел млад да сизой,
Млад да сизой орел.

Пошел проигрыш. Почти без музыки, вздох
мехов и звенящий стон самого последнего лада на
планке.

Бабушка, прислонясь к печи, плакала, как Але-
шина гармошка, без голоса.

Он во когтях держал черного во... —
Ой, черного ворона, свово неприятеля.
Ох, проклевал ему буйную го..
Ой, буйную голову до самого до мозгу.
Ох, летели перышки да по ветру,
Да по ветру вольному.
Ой, летели черные до синего мо..
До синего моря.
Ой, текла кровушка, быдто вино,
Быдто вино красное.

Алеша умолк, дом умолк, и Людиново молчком
молчало. Вдруг — железная стружка немецкой
речи. Дверь распахнулась, и с веселым, со счастли-
вым топотом явились перед хозяевами сапожники.

— Шпилен!¹³ — крикнул широколицый весель-
чак Алеше.

¹³ Spielen! (нем.) — Играть!

Алеша развернул меха, голоса брызнули серебряные да золотые. «Светит месяц, светит ясный! Светит полная луна!»

Вторая оккупация Людинова состоялась.

Щука

Шумавцов не встретился с Золотухиным по стечению обстоятельств.

9-го выбивали немцев из Людинова.

10–12-го Василий Иванович находился при Медведеве. Медведев занимался отловом немецких агентов, но через три дня был отозван в Москву. Власть в городе перешла к партизанам Людиновского отряда, началось обустройство и налаживание хозяйства. Золотухин выезжал в бывшие волостные центры, устанавливал советскую власть на местах. А фронт гнулся. Немцы получали подкрепления, отсекали части Красной армии от основных сил. К этому уже были готовы. Полки и батальоны без паники сражались в окружении, прорывали заслоны, отходили на новые рубежи.

Когда Алеша метался по Людинову в поисках Золотухина, Василий Иванович нашел-таки время встретиться с двумя резидентами.

Он сидел за самоваром, в гостях у Клавдии Антоновны и Олимпиады Александровны. Был на том чаепитии и батюшка Викторин Зарецкий.

— Без вашей помощи, — говорил правду партизанский командир, — мы потеряли бы вполонину больше товарищей... А ваши проповеди, Виктор Александрович, для всего Людинова были, как живая вода. Народ верил в Красную армию, и она пришла.

Посмотрел в глаза каждому за столом:

— Ничего не поделаешь. Людиново не удержать. Продолжайте вашу работу, но теперь вы — единая

группа. Отца Викторина, — он ведь под постоянным наблюдением — следует оградить от случайностей. Мы посылали в храм связников, это опасно. Всю информацию, Виктор Александрович, будете передавать Олимпиаде Александровне.

— Скажите! — вдруг спросил Зарецкий. — Когда город освободят от немцев, церковь останется?

Золотухин даже чашку поставил обратно на блюдечко.

— Я всего лишь командир отряда. Я вижу, какую огромную пользу приносит церковь народу во время такого страшного бедствия, как война, оккупация. — Придвинулся через стол к отцу Викторину: — В настоящее время отношение к священникам, к Церкви у центральной власти благожелательное. Митрополит Сергей, Патриарший Местоблюститель, из Москвы эвакуирован в Ульяновск. В Москве храмы работают. Я взял для вас выписку из директивы немецкого командования по поводу Церкви и русского народа.

Василий Иванович достал из нагрудного кармана листок, прочитал:

— «Среди части населения бывшего Советского Союза замечается сильное стремление к возврату под власть Церкви или церквей», — посмотрел на отца Викторина. — Немцы боятся Православной Церкви. Церковь наша сплачивает народ. И вот что предлагает данная директива: «Крайне необходимо воспретить всем попам вносить в свою проповедь оттенок вероисповедания и одновременно позаботиться о том, чтобы возможно скорее создать новый класс проповедников, который будет в состоянии после соответствующего, хотя и короткого, обучения толковать народу свободную от еврейского влияния религию».

Золотухин сложил лист, спрятал в карман:

— Думаю, отец Викторин, вам не следует держать дома этот документ.

— Мне все понятно, — сказал батюшка. — Ожидать от оккультистов любви к Православию — быть слепцом.

Началась бомбежка. Переждали. Золотухин, прощаясь, сказал Азаровой:

— Клавдия Антоновна, вам должно иметь псевдоним.

Клавдия Антоновна подняла брови. Глаза огромные, обличающие всякую неправду чистотой.

— Я — Щука.

— Щука?!

— Я — зубастая рыба.

Женщины по очереди обняли партизана. Весело чубом тряхнул:

— Ничего! Повоюем!

— Пулемет где-то! — прислушался отец Викторин.

— Почему-то одинокий, — удивилась Клавдия Антоновна.

Олимпиада вздохнула:

— Понятное дело, прикрывает отход.

Откровенная беседа

Раненых бросили. Тяжелораненых. Для будущих калек у Красной армии не нашлось ни машин, ни лошадей.

В герои пришлось пойти трем врачам: Льву Михайловичу Соболеву, Евгению Романовичу Евтеенко и Хайловскому. У Хайловского для потомков ни имени не осталось, ни отчества. Безымянные герои, если героев очень много, — выгодный контингент.

Центр Людинова немцы не торопились занимать. Наталья Васильевна, мать Митьки, впрягла сына Ивана в большие, на деревянных полозьях, санки — на них воду возили, мешки с картошкой, с капустой. Слух по Людинову прошел: партизаны,

перед тем как бросить город, постреляли полицаев, сидящих в КПЗ.

Наталья Васильевна тело Митькино шла искать, а Митька — живой. Сидит у порога, привалясь спиной к стене, а в камере куча-мала мертвых.

У Митьки в лице ни единой кровинки. Рука перевязана полой рубахи, повязка черная от запекшейся крови.

Через весь город, объезжая ямы от бомб, шараясь от окоченевших трупов, тянул Иван санки. Митькины ноги волочились по снегу, тормозили.

Дома тряпку сняли — рана ужасная, сквозная. А всей аптеки: полстакана водки в припрятанной Натальей Васильевной бутылке да несколько капель йода на дне крошечного пузырька.

Утром немецкие жандармы явились, забрали раненого Митьку, забрали Ивана. Мужской пол для великой Германии — опасность. Русские вообще — опасность.

И снова КПЗ. Немцы арестовали всех мужчин Людинова, даже подростков.

Партизанам пяти дней не хватило допросить полицаев: искали шпионов. Контрразведка обнаружила два радиопередатчика, о шпионах-«консервах» еще Дима Фомин Шумавцову сообщал. Наконец запеленговали агентов. Один жил на Заречной улице, в Первую германскую войну был в плену, вернулся домой шпионом. Фамилия врага — Мельников.

Второй передатчик нашли в доме неких Щербаковых, на немцев работали отец и дочь.

Аресты второй немецкой оккупации были, скорее всего, предупредительными. Сотрудника биржи труда Иванова и брата его, подростка, отпустили в тот же день.

У Дмитрия был жар. Руку разнесло. Наталья Васильевна усадила сына в санки, Иван снова впрягся — поехали.

— Не туда! — закричал Митька матери. — В госпитале русские лежат. Врачи там — русские. Меня убьют. К немцам везите.

В немецком госпитале Иванова приняли: нужно было спасти не только руку, но жизнь. Ранение тяжелое, заражение крови, обмороки.

Очнулся, помня, где он, но не ведая, какой теперь день. В забытьи провалился, когда на операцию везли.

— Здравствуй, Дмитрий Иванович! — приветствовал себя чудом уцелевший.

Напрягся, чтобы почувствовать руку. Левую. Все в порядке.

Тотчас испугался. Слышал от бывалых людей: после ампутации многие стонут от боли в ногах, которых нет.

Поднял руку. Левую.

Вот она. В бинтах. Слава Богу! И вдруг спросил себя:

— За что Творец дал тебе жизнь? В России Бог русский, а ты немцам служишь.

Ответа не было. Впадая в сон, приносящий здоровье, увидел отца. Но не в армяке, в котором на телеге ездил возчиком. Отец был на иконе. Понятное дело — мученик. Правда, отцовское мученичество за русского пахаря, за мельника — работника на земле, на воде. За церковь, с коей купола посшибали. За молитву, за саму русскую жизнь. При большевиках русскую жизнь гнали прочь со двора, будто она тоже кулацкое отродье.

Выходит, за отцовское стояние дана ему жизнь? Обожгло! А как же Алексей? Мельницу хотел строить, водой дышать. Как же так?! Митька записался в немцы, по-немецки гавкает, а молодой летами Алешка русской стезею собирался идти. И ему — смерть. Пропал. Без вести. Да ведь немцы в лес его послали, а у партизана палец на спусковом

крючке. Сначала убьет, потом станет думать: чужой это или свой?

Ранение в руку, но две недели Иванов был лежащим больным.

Наконец разрешили ходить. Однако не выписывали.

И тут госпиталь посетил комендант города майор фон Бенкендорф. У коменданта нашлось время для беседы с молодым русским. Сидели в коридоре, на мягком диване.

— Вас лечат основательно, — сказал Бенкендорф, — вы это чувствуете и, думаю, осознаёте неслучайность такого отношения к вам.

— Господин комендант, я буду служить Германии с усердием, — сказал это по-немецки, удивил Бенкендорфа.

— Где вы учили язык?

— В школе! В институте мы сдавали так называемые знаки. Нужно было прочитать несколько страниц текста и пересказать.

— Вы способный ученик.

Дмитрий улыбнулся:

— Скажу вам честно: я учил немецкий язык, ненавидя русскую жизнь. Язык Германии, язык великих воинов, был для меня бегством от комсомолии.

Бенкендорф удивился искренне, и вопрос его тоже был искренний:

— Я понимаю ненависть к большевикам, ко всей их бутафории, но — ненависть к русскому?

У Иванова лицо порозовело от гнева.

— Господин комендант! — голос был приглушенный, но в словах языкаки огня. — Это русские позволили сесть Ленину и Сталину на свою шею. Это у русских, у целого народа, отняли веру, отняли землю, отняли все, что было скоплено трудом. Если твой отец крестьянин, но нажил своим гор-

бом двух лошадей, двух коров, пяток овец — ты уже кулак. По тебе Сибирь плачет.

— О-о-о! — согласился Бенкендорф.

— Вот что у меня отняли! — Дмитрий принялся загибать пальцы: — Дом, землю, скот, мельницу, магазин. Этого показалось мало: отняли отца, сначала на время, посадили. Потом — навсегда: расстреляли. И это не всё. Уже теперь, когда идет война, а мои старших два брата и старшая сестра отправлены на фронт, в Красную армию, у нашей большой семьи партизаны забрали корову. Я потерял брата. Скорее всего, убит. Меня и мальчика Ивана арестовали. Не было следствия, суда. Но партизаны конфисковали в доме все дорогие вещи. В КПЗ меня ни разу не вызывали на допрос. Пришли и расстреляли. Я знаю своего убийцу. Комсомольский секретарь, Ящерицын. Партизанский начальник, вот только даже стрелять не умеет, хотел прикончить, а попал в руку.

«На такой ненависти можно дослужиться до оберфельдфебеля», — Бенкендорф, даже сочувствуя, был саркастичен. Впрочем, он ценил это в себе. Наследственное, от графа Александра Христофоровича. Видел потолок собеседника.

— Ваша ненависть оправданна. — Майор Бенкендорф позволил себе быть более тонким с этим мальчишкой. — И все-таки — вы же русский человек. Неужели у вас нет сострадания если не к государству, так хотя бы к соседям? Вы — плоть от плоти, Иванов.

Здоровой рукой Дмитрий положил больную руку на валик дивана.

— Господин комендант, я даже перед судом Бога не соглашусь признать себя предателем. Партизаны зовут себя мстителями. Но истинный мститель — это я, Иванов, сын Ивана и внук Ивана. Виновен ли человек перед Богом, если наказано

его государство? Если в доме твоём поселился завоеватель — свершившийся Божий суд. — Дмитрий смутился, взял свою больную руку на грудь. — Простите, господин комендант!

— Нет! Нет! Это очень важно, что вы говорите. Я слушаю вас.

— Чего там! Советская власть была настоящей. Хан Батый для своих же крестьян. Обещала победу малой кровью, на чужой территории и залила кровавыми реками свою землю. Сталин с буденновцами, с ворошиловскими стрелками отдал завоевателям уже треть России, треть русского народа. Белорусов — так поголовно! Украинцев — поголовно! Это не я предал Сталина и страну СССР, это Сталин меня предал — передал Германии. Красная армия предала Ивановых. Отмахнулись от меня, от моей матери, от совсем малых ребят.

— Я! Я! Я!¹⁴ — говорил Бенкендорф чуть ли не с восторгом.

Он уже понял: потолок мальчика с больной рукой очень даже высокий. Понимал: без этого рассерженного мальчика не обойтись. Знает свое поколение. Знает цену этому поколению. Главное — сумеет обаять русских своей русской искренностью.

Бенкендорф поднялся:

— У меня встреча с генералом. Повторяю: лечитесь основательно. Вы — человек очень молодой, но проницательный и даровитый. — Улыбнулся: — Секреты в детстве любили делать?

— Кто же не любит секреты? — попался на доброту Митька.

— Надеюсь, совсем скоро секреты Людинова станут вашей повседневной работой.

Майор надел фуражку, коснулся пальцами козырька.

¹⁴ Ya! Ya! Ya! (нем.) — Да! Да! Да!

Следователь Иванов

Когда город был у наших, отец Викторин служил, а народ не шел. Войны боялись? Партизан боялись?

Батюшка служил в день поминовения праведного Иосифа Обручника, 11 января. 13-го — отдание праздника Рождества Христова, 15-го — день представления Серафима Саровского.

На службы заглядывали партизаны, красноармейцы. Никто не молился. Ставили свечи, смотрели на иконы. Не крестясь.

И вот снова под немцами. В храме многолюдно. Молящиеся не стыдятся осенить себя крестным знаменем.

Пришла на исповедь красивая, очень немолодая женщина. Брови темные, глаза посажены глубоко, в глазах — все пережитое.

— Наталья, — назвала она себя. — Иванова Наталья. Мужа моего, кулака, вместе с батюшками к расстрелу присудили. Старшие дети с немцами воюют, средний немцам служит. Его расстреляли в КПЗ, но остался живой, а брат его, Алексей, он моложе Дмитрия, пошел в лес в декабре. И пропал. Батюшка, научи молиться об Алексее! Здравия просить у Бога или вечной жизни?

— Сколько лет Алексею? — спросил отец Викторин, ужаснувшись судьбе рабы Божией Натальи.

— Семнадцать, восемнадцать скоро. И о Митьке тоже скажи. Подавать записки о здравии, коли он в полицаи пошел? Раньше-то не хотел в полицаи. Так ведь расстреляли. Теперь пошел.

Вот она, громада жизни, печать безбожного хаоса. Каждая клеточка стонала в теле отца Викторина.

— Молись о сыновьях, матушка, как сердце подскажет. Я тоже буду молиться. Не по записке твоей — всякий день.

Женщина смотрела в лицо священнику, собиралась затворить сердце, но отец Викторин сказал:

— Матушка! Душа не знает смерти. Вечность примирит ненавидящих. Россия, будет время, заплачет о детях своих, смоем все черное, чем запятнала их беспощадная жизнь.

Женщина опустила голову. Постояла, подумала. Поклонилась, коснувшись рукой земли. Отошла. Посмотрела на иконы и — к дверям.

Не могла Наталья Васильевна оставаться пред Царскими вратами, не могла поднять глаз на Престол алтаря, на семисвечник с лампадами. Сама себя казнила, не приняла Святых Даров.

Знала о сыне, о Митьке, багряное. Митька сегодня расстрелял — уж за какие провинности! — Владимира Мамоныча Самошкина. Люди видели: с полицаями вел доброго человека к детдому брошенному. Это за Неполотью, укромное место. Владимир Мамоныч по снегу шел босиком; на сапоги, что ли, кто позарился?! В одной рубахе — шубу, знать, тоже забрали. Завели бедного во двор детдома. Тут же и бахнули выстрелы. Кто стрелял? Может, и Митька.

Не все знала Наталья Васильевна. Ее сынок весьма отличился перед немцами. Нашел в Людинове старого коммуниста Николая Митрофановича Иванова. Иванов этот жил в Дятькове. В Людиново перебрался с женой по приказу партии — ему поручили организовать серьезное подполье. Опыт революционной борьбы у Николая Митрофановича был огромный. Со Сталиным отбывал ссылку в Туруханском крае. А для внештатного следователя Дмитрия Иванова это было первое дело на секретной работе.

Первый же завербованный агент указал адрес знаменитого большевика. Все получилось так просто! Митька пришел на беседу к Бенкендорфу. Бен-

кендорф имел кабинет на локомотивном заводе. Сам себя назначил управляющим.

Получивши множество наставлений от графа-коменданта, Митька ради того, чтобы познакомиться, заглянул к заместителю управляющего.

Василий Иванович Глухов в агенты пошел, задохнувшись от радости. Быть агентом Тайной полиции — доверие власти. Для заместителя начальника — прямая выгода. При случае продвинут выше. Да и дело привычное: при советской власти тоже докладывал про закадычных друзей, про начальников своих.

Митька, прощаясь, показал Глухову, так, на всякий случай, фотографию старого большевика. Но Глухов знал Николая Митрофановича. В тот же день Айзенгут распорядился арестовать двух коммунистов: мужа и жену. Арест производил начальник полиции, заменивший канувшего в неизвестность Двоенко, Сергей Посылкин, однофамилец партизана Афанасия Посылкина.

Союзника Сталина сначала допрашивал сам Айзенгут — прикоснулся к истории, — потом Посылкин и, наконец, следователь Иванов.

Старика пытали. Молчал.

При нем пытали его жену, Наталью Ивановну. Молчал. Наталья Ивановна тоже ничего не выдала, никого не оговорила.

Чету расстреляли, не разлучая. Из уважения. Этого добился от Посылкина следователь Иванов.

Начало минной войны

Шумавцов группу свою называл «писателями». Но приспело иное время.

Первую самодельную мину Алеша заложил сам, на дороге в Жиздру. Вторую — с братьями Анатолием и Виктором Апатьевыми, на дороге в Вербежичи.

Зима, ставить мину трудно, зато маскировать проще.

Сначала сработала мина Апатьевых.

Толя подошел к Шумавцову на заводе:

— Порядок! Кишки на березе висят.

— Какие кишки?!

— Человеческие. Полицай подорвался. Патруль.

У Шумавцова в глазах потемнело. Может, и враг погиб, может, такой же, как Дима Фомин... Русский человек.

Третью мину ставил Лясоцкий. Убило лошадь, оглобли из саней выдрало. В санях ехал волостной старшина Гуков. Контузило. Оглох на несколько дней.

На mine Шумавцова подорвался немецкий грузовик. Шофер был ранен осколками стекла. Разбросало из кузова сапоги. Несколько пар досталось жителям деревни.

В это же время сработали партизанские мины. Уничтожили легковую машину с офицером. Подпортили полотно железной дороги, сожгли цистерну с горючим. Ущерб невелик для германских войск, но командование Жиздринского участка фронта было озабочено. Воевать, имея у себя в тылу неведомо какие силы противника, все равно, что быть в окружении.

Айзенгут и Бенкендорф получили приказ: уничтожить партизан в их же логове.

Айзенгут начал с «чистки населения».

Немцы, по донесениям агентуры, а агентурато — свои, русские, — принялись истеблять мужчин, вроде бы сочувствующих советской власти.

В Курганье каратели расстреляли семью — шесть человек — родственников партизана Володи Короткова, помощника командира разведки.

Горе горькое не обошло и семейство Ивановых.

В деревне Голосиловке каратели расстреляли дядю и двоюродного брата Дмитрия. За что, про что?

Партизаны остановили однажды веселого мужичка, прибаутками сыпал. Обыскали — под рубахой пистолет, в потайном кармашке два листа бумаги. На одном — список крестьян деревни Шупиловки, ненавидящих немцев, в другом листке — претенденты на расстрел из Манино, Усох, Буды.

Не дошел до своих хозяев веселый мужичок, а кто он таков, партизаны не стали выяснять.

Бой в Мосеевке

Герасим Семенович Зайцев, степенный и рачительный староста Думлова, через своего влиятельного союзника, майора графа Бенкендорфа, снова добывал керосин.

Разумеется, от чистой души, поднес коменданту изумительное масло, редкие для зимы яйца — куры неслись нечасто — и великолепного пудового гуся.

Кроме керосина Герасим Семенович увозил из Людинова достоверные сведения о готовящейся карательной экспедиции.

Этой новостью добытчик керосина прежде всего поделился со старшиной волости Гуковым, хотелось выяснить точную дату немецкого нашествия на партизанский лес.

Гуков не проговорился, но, скорее всего, не знал военной тайны.

— Как думаешь, очистит Бенкендорф наши леса от партизанской напасти? — Гуков, наехавший на мину, хоть и не прятался теперь по ночам от гостей, но и за жизнь свою пятака не давал.

— Ничегошеньки немцы не сделают с товарищами! — сказал Зайцев. — Снега-то какие!

— Метровые и боле! Боле!! — согласился Гуков. — По лесной целине пробиваться трудно.

— А ты про «Дятьковскую республику» слышал?

— Слышал! — горестно вздохнул волостной старшина. — От Дятькова до Рославля — советские законы... Беда в том, Герасим, что вся немецкая сила, окруженная под Сухиничами, полегла. У немцев и в Брянске нет резервов...

— Под Сухиничами! Потери под Москвой — вот где корень нынешней слабости германских войск.

— Зима — сорок градусов, а они в шинелишках, в сапожках холодных, — посочувствовал немцам Гуков.

Зайцев, однако ж, развеселился:

— Ты не горюй! Немцы партизан, конечно, не побьют, но пугнуть — пугнут.

— А если партизаны побьют немцев? — ужаснулся старшина.

— Такого быть не может! — утешил начальника Герасим Семенович. — У немцев — армия, а у партизан — работяги, партийцы, мальчишки.

— Скорей бы лето! — простонал Гуков.

Снега выпало так много — ели елочками выглядели. Бегать от немцев по таким снегам — испытание.

Золотухин и его штаб поставили задачу разведчикам Володи Короткова — не пустить немцев в лес. У Володи всего пятнадцать бойцов, но ему придали роту Ящерицына. Впрочем, по численности рота была не намного больше взвода.

Отряд двинулся к деревне Мосеевке.

Немцы воевали правильно, с утра. Ночью отдыхать надо.

На дворе февраль. Бело. Но рассвет неторопливый.

В девятом часу прибежал один из дозорных:

— Едут! На санях!

— Сколько? — спросил Коротков.

Дозорный руками развел:

— Уж очень растянулись. На километр. Двадцать саней насчитали, а конца обоза не видно.

— Сколько человек в санях?

— Полицаев по пятеро, немцев по четверо.

— Что я из тебя тяну! — рассердился командир. — Сколько полицаев, сколько немцев, какое у них оружие?

— Полицаев — подводы четыре или пять... Пулеметы видели, а что там дальше — пока не знаем.

— Занять позиции! — приказал Коротков.

Пулеметчик Миша Степичев и его второй номер, Горячкин, мальчишка совсем, забрались на крышу сарая.

Николай Маслов отправился на левый фланг, Сергей Пряхин — на правый. Огненной партизанской мощи — три пулемета.

На крышах высоких домов затаились два снайпера — Иван Вострухин да Тимофей Федоров. Винтовки у них с оптическим прицелом.

— Нога за ногу тащатся! — рассердился Вострухин. — Замерзнешь, ждамши.

Володя Коротков сказал им снизу:

— Принаравливайтесь! Обзор у вас есть! Стрелять по офицерам и унтерам.

Вернулась самая дальняя разведка:

— У немцев — тридцать две подводы. Пять пулеметов, четыре миномета.

Коротков подозвал Ящерицына:

— Прикажи своим ждать команды. Немцев надо уничтожать наверняка.

Пулеметчики договорились меж собой заранее: Маслов расстреливает сани, где минометы и пулеметы, Пряхин — выкашивает середину колонны, Степичев бьет по головным саням.

— У них полная рота с довеском! — нервничал Ящерицын. — А у нас — полсотни нет.

— Зато мы начинаем! — Короткову было весело. — Огонь!

Сердце солдата становится храбрым, когда враг устилает телами землю. На белом — черное дырами.

Румыны от свинцового дождя с трех сторон мчались бы наутек без оглядки. Немцы — воины. Немота внезапности была у них недолгой. Ударили пулеметы, пошли взрываться мины. Уже через десять минут атака развернулась по всем правилам военной науки.

Партизаны Астахов и Кирпичиков доложили Короткову:

— Немцы заходят в тыл!

Степичев перебрался с крыши на землю, но сарая не покидал. Защита от пуль, и уж очень место удобное.

Мины падали густо. Вспыхнула крыша, Коротков приказал отходить в лес, а сам в снег повалился. Осколок рёбра рассек.

Партизаны подхватили раненого командира, понесли. Ящерицын остался за старшего. Степичев прикрывал отход своих из пылающего сарая. И тут ранило Горячкина. Мальчик сразу потерял сознание. Крыша рухнула, а немцы в рост идут, в двадцати метрах всего.

Спас Сергей Пряхин, подоспел на выручку. Ударил немцам во фланг. Залегли.

Передышка минутная. Степичев потащил по снегу и пулемет, и Горячкина. Пуля сшибла с головы буденновский шлем, но голова уцелела.

Бьют пулеметы. Немецкие. Визжат мины. Немецкие. Но перед немцами — стеной молчащий лес.

Преследовать партизан по сугробам? Потерь слишком много. Половина лошадей перебита. Уцелело два унтер-офицера и командир роты. Много раненых.

Немцы спешно уходили в Людиново.

Уже на другой день Герасим Семенович узнал у Гукова: немецкая рота потеряла тридцать человек убитыми, раненых — столько же.

Выходило: партизан лучше не трогать.

В Людинове гарнизон — две роты солдат. Необстрелянных.

На совещании у генерала Бенкендорф огласил проект комендантского распоряжения: все родственники партизан облагаются налогом. Человек, не заплативший налога, есть враг Германии. Наказание — расстрел.

Выкуп

Побежали цепочки следов из Людинова в лес, из леса — в Людиново. Клавдия Антоновна Азарова просила Золотухина прислать деньги. Ответил: деньги, добытые партизанами в Жиздре, переданы в Москву.

Сама Клавдия Антоновна не рискнула идти в церковь. Видела за собой слежку, явную и тайную. Главный врач больницы Андреева лекарства выдавала ей поштучно.

Потеряв половину роты в бою под Мосеевкой, немцы посчитали, что у партизан тоже много раненых. Госпиталь в Людинове всего один, взяли под контроль. Но Олимпиаде Александровне путь к родному брату не заказан.

— О налоге слышал? — спросила отца Викторина с порога.

— Слышал. Деньги у нас есть. На всех, скорее всего, не хватит. Готовлю проповедь, буду просить прихожан помочь церкви.

Олимпиада испугалась:

— Разве так можно? Немцы тебя схватят, а вместе с тобой и прихожан!

Полина Антоновна от обиды даже голову вскинула:

— Олимпиада!

Отец Викторин улыбнулся, взял сестру под руку.

— Матушка пирог с капустой испекла. Пошли, почаевничаем.

Олимпиада обняла Полину Антоновну:

— Прости, ради Бога! Так страшно! Всюду слезка.

Размешивая в стакане ложку меда, отец Викторин улыбался с хитринкой:

— Я бы не сообразил. Матушка на ум навела. Теперь для соглядатаев Айзенгута, для престранного инспектора Ступина у меня туз козырной приготовлен. Если пойдут придирки: мы собираем деньги на украшение храма, на праздничный стол в день именин Адольфа Гитлера. Но эта версия для самого крайнего случая.

— Батюшка испросил у Бенкендорфа разрешение кормить по воскресеньям детей, — объяснила матушка. — В Людинове голод. Немцы это видят: люди пухнут и умирают.

Олимпиада подняла свою чашечку, как бокал с вином, сделала глоток, другой.

— Господи! Пью воду и хмелею! Побили партизаны карателей, и город стал другим. Викторин, Поля! Люди смело смотрят на немцев. А друг на друга — по-особенному. Мы — это мы.

— У тебя и вправду глаза блестят! — удивилась матушка.

— Блестят! — засмеялась Олимпиада. — Немцы снова принялись людей в Германию отсылать. Но нам с Клавдией удалось больше сотни спасти.

Отец Викторин нахмурился.

— Голубушка! Спасибо, что о нас беспокоишься, но тебе самое время валерьянки принять.

— Тетя! — воскликнула молчальница Нина. — У тебя на лице написано: ты — партизанка.

— А то кто же! — Олимпиада убрала волосы с лица. — Как же хорошо быть самой собой! Видеть лица своих!

Спыхватилась:

— Отец Викторин! Батюшка! А вдруг немцы вспомнят, что у Ленина день рождения 22 апреля? Поймут, что вы собираетесь чествовать отнюдь не Адольфа?

— Бенкендорф знает, как Ленин расправлялся с Церковью. Бенкендорф в заступники нам фюрера пророчит. Граф не знает, а я читал речь фюрера: этот защитник страшится влияния попов и, видимо, готов запретить Православную Церковь сразу же после своей победы.

Батюшка вышел из-за стола, принес листочек.

— Вот что пишет митрополит Сергей, обращаясь к священникам. Нина, проверь, дверь закрыта?

— Я сама запирала, — сказала матушка.

Отец Викторин прочитал послание стоя:

— «Ходят слухи, которым не хотелось бы верить, будто есть и среди наших православных пастырей лица, готовые идти в услужение ко врагам нашей Родины и Церкви, вместо святого креста осеняться языческой свастикой. Не хочется этому верить, но если бы, вопреки всему, нашлись такие пастыри, я им напомню, что Святой нашей Церкви кроме слова увещевания вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги. Во имя этой, от Бога данной мне, власти я как архиерей, имеющий силу вязать и решить, призываю к покаянию всех поколебавшихся из-за страха или по другим причинам, а тех, кто покаяться не хочет, объявляю запрещенными в священнослужении и предаю церковному суду для еще более строгого вразумления. Бог поруган да не будет».

— Замечательно! — Олимпиада повернулась к иконам, осенила себя крестным знаменем. —

Отец Викторин! А место хранения таких бумаг у тебя надежное?

— Мой сейф — в переплете очень старого Евангелия. — Подошел к сестре, благословил. — Пойду готовиться к службе. Пора уже сочинить слово на Сретение... Теперь о деньгах. Матушка передаст тебе семь тысяч. Через неделю придешь снова. Получишь, сколько соберем... уверен, это Бенкендорф налог придумал. Своего рода выкуп.

Сретение

Будто с победой встретились! Прихожане улыбки, батюшка преисполнен благодарной радости — к Господу, к храму, к прихожанам.

Десять тысяч рублей собрала Казанская церковь, выкупила партизанские семьи.

За батюшкой и народом начальник полиции Сергей Посылкин прислал приглядывать полицая Стулова. Не человек — слон. Стоял, однако, смиренно. Глядел в пол, но крестился широко, вздыхал, да так — огоньки на свечах трепетали.

И вдруг пожаловал на службу взвод полицаев. Их привел инспектор Ступин.

Первым делом подошел к стене, где когда-то повесил портрет царевича Алексея. А портрет — на месте! Выходит, священник сохранил его, спрятал от глаз комиссаров, когда Людиново больше недели было у красных.

Еще пожаловали гости. Переводчик из русских привел командира немецкого батальона, с ним трое солдат с автоматами.

Офицера привлекла церковная лавка, где дочь отца Викторина продавала свечи.

— У вас всегда так много народа? — спросил офицер, обращаясь и к Нине, и к переводчику.

Нина ответила по-немецки:

— Господин офицер! Служба праздничная. Праздник большой — Сретение.

— Праздник в честь чего? — спросил офицер.

— Во славу Младенца Христа. На сороковой день по Рождестве Пресвятая Дева Мария принесла Сына в храм Божий, — Нина улыбнулась. — Вам нужны подробности?

— Пожалуйста! — командир батальона тоже улыбнулся.

— В храме Богородицу и Младенца Христа встретил старец Симеон. Ему было триста лет. Святой Дух предсказал старцу: он не увидит смерти, покуда не узрит Богомладенца. Симеон Христу возрадовался и сказал: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», — Нина попробовала перевести эту фразу, а потом повторила ее по-церковнославянски. — Сретение, таким образом, есть встреча. Христа и Симеона.

— Вы немка? — спросил офицер, довольный рассказом.

— Я — русская, но люблю немецкий язык. Я люблю Гёте, Шиллера.

Офицер пожелал купить свечи, но Нина денег не брала.

— Это подарок!

— О нет! — возразил командир батальона. — Я хочу быть, как все. Свечи — это ведь жертва?

— Скорее всего, да! — согласилась Нина.

Она была очень хороша. Женская красота поднимает дух, а офицер прибыл со своим батальоном с фронта. Не для отдыха, правда. Для войны с партизанами. Лес — место опасное, но все-таки не передовая.

Офицер прошел в храм ставить свечи, а к Нине обратился инспектор Ступин:

— У тебя немецкий — высший класс!

— Я брала уроки у мадам Фивейской.

— Фивейская — старая дура, а тебе, голубушка, надо в управе работать... Поговорю с батюшкой.

Отец Викторин уже заканчивал службу. Пора говорить проповедь «Слово на Сретение», а тут и полицаи, и немецкий майор.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — начал по обычаю проповедь молитвой. — До Сретения мы дожили. Где Христос, там чудо! Старец Симеон принял Христа Спасителя на свои руки, но на самом-то деле — это Христос, Сын Божий, держал старца, как держит каждого из нас. Ведь от Христа зависит и время нашей жизни, и время преставления. — Заметил: переводчик что-то говорит на ухо офицеру. — Две святые тайны заключены в бытии каждого человека, — продолжал батюшка проповедь, — рождение и смерть. Рождение от нас не зависит, а вот какую будет наша смерть, отчасти в нашей воле.

Апостол Павел, имея желание быть со Христом, говорил ученикам: «...Оставаться во плоти нужнее для вас». И не просил Господа ускорить своего переселения на Небеса. А теперь вспомним батюшку Серафима Саровского. Батюшка был прост в слове: «Там — лучше». Однако правда в том, что мы и на земле нужны Господу. На нашей Русской земле. Мы должны жить и благодарить Иисуса Христа за жизнь.

Идет война. Поэтому нередки случаи, когда люди жертвуют жизнью ради Родины. Грех ли это?

Из истории Церкви мы знаем: одна мученица кинулась вниз головой с крыши, чтобы насильники не осквернили ее девство. И этот поступок не осужден святыми отцами. Аминь.

...Агенты Бенкендорфа, должно быть, ушки держали остро, слушая отца Викторина. О войне он сказал, сказал о тех, кто жертвует жизнью ради Родины. Но эти слова можно и к немцам отнести.

Инспектор Ступин был согласен с проповедью: цесаревич Алексей на месте! Священник чтит Царя!

Смерть агента

В Людиново прибыл батальон, снятый с фронта.

Засылку агентов в партизанские отряды Бенкендорф возложил на Дмитрия Иванова. Митька Иванов остановил выбор на учительнице из деревни Березовки. Милая, умные глаза. Личико светлое, ясный лобик. Все советское ненавидит. Ненависть оправданная — отца и мать раскулачили бессовестно. Живности «лишней» — жеребенок у лошади да телка у коровы. Телку оставили, чтоб деньжонок на учебу Лизоньке собрать... Старший брат погиб на лесоповале в Мордовских лесах, отец вернулся из Караганды больным. А сердечного друга Елизаветы, взявшего в руки обрез постоять за крестьян, — застрелили чекисты.

Судьба.

В эти самые дни Нину Зарецкую взяли на работу переводчицей в комендатуру. Отец Викторин о предложении Ступина сообщил через Олимпиаду и Азарову Золотухину; тот был рад иметь своего человека в самом гнезде врагов.

Но Нину посылали и на допросы в полицию, если приходили офицеры из конторы Айзенгута. Отец Викторин сильно переживал за нее.

А Нина тряслась, попадая в это страшное место, но чуть ли не в первый день службы сообщила отцу очень важное и очень нужное.

Машинистка полиции Анастасия Петровна встретила в коридоре новую переводчицу, белую как полотно.

— Что с тобой?

Нина ресницами хлоп-хлоп, слез нет, а на лице — ужас.

— Бьют, что ли, кого?

Головкой кивнула.

— Кого?

— Девушку. Резиновым шлангом. Ее на снег выбросили, во двор.

Анастасия Петровна дала воды попить.

— Партизанка... У нас бьют жестоко. Привыкай к человеческой грязи. Вот, гляди! — показала бумажонку. — Печатаю для доклада немцам.

Нина прочитала: «Староста деревни Вербежичи г. Горбачев помогает партизанам. Для партизан деревенские жители хлеб пекут. Громова».

— Может, и пекут хлебушек! — сказала Анастасия Петровна. — А куда этому Горбачеву деваться? Не даст хлеба — партизаны без спроса возьмут... Не жизнь, а беда! Партизаны не прибили, наши укокошат. Нашим лишь бы поживиться чужим добром. А немцам — что? За службу чин дадут, медаль.

Когда Нина и Анастасия Петровна шли на обед, им встретились Иванов и с ним пригожая, быстроглазая молодая женщина.

— Вот она, Громова-то! — сказала на улице Анастасия Петровна. — Красивая, добрая с виду, а — доносчица... Не первый раз с Митькой вижу дурочку. Завербует, к партизанам пошлет. А у партизан-то на предателей нюх собачий.

Поговорили и забыли, но уже через день Василий Иванович Золотухин читал донесение Ясного.

«Из достоверных источников стало известно, что для засылки в партизанский отряд готовится некто Громова, лет 30-ти, темно-русая, среднего роста, одета по-городскому, по характеру вспыльчива, питает страшную ненависть к коммунистам и активистам. С каким заданием пойдет — неизвестно, умалчивает. По логике, она должна вернуться вскорости».

Немцам важно было знать, какие силы сосредоточены в отряде, какое у партизан вооружение.

Иванов сам повез Елизавету Громову в Куяву на легких быстрых санках.

— Возвращайся обратно, особенно не задерживаясь! — просил Митька учительницу. — До чего же сладко тело твое дышит!

— По любви мое тело исскучалось, — невесело призналась Громова.

— Буду ждать.

— Не молод ли для меня?

— Коль на такие дела сгодился, какие теперь делаем, и в других не оплошаю.

— Не оплошай! — Серьезно глянула: — Скажи, что с Россией будет?

Митька даже лошадь придержал:

— Ты о чем?

— О том, что такие пары, как ты и я, — сволочей нарожают.

— Ты себя сволочью зовешь?

— Сволочью. Мщю за убитую жизнь нашей семьи. Но мой прадед гренадером служил, в самом Санкт-Петербурге...

Митька стегнул лошадь кнутом. Помчались. Лес в струнку вытянулся по сторонам дороги. Митька крикнул Елизавете на ухо:

— Мозги побереги! Как бы не закипели от думанья. Выживем — поглядим. Коли Германия будет везде — в Австралию можно будет махнуть.

Проехали на рысях Куяву.

— Пора? — спросила Громова.

— Погоди торопиться. Поближе подвезу.

Отпустил вожжи. Лошадь сначала бежала, потом трусила, перешла на шаг, и сани замерли.

Громова выбралась из-под тулупа:

— Пошла?

Он прикрыл веками глаза, соглашаясь.

— Хороши у тебя ресницы, паря!

— Погляди, есть ли у них минометы, — сердито сказал Митька.

Подняла руку, но не обернулась.

Партизаны остановили учительницу Громову в деревеньке, в Ивоте, одноименной поселку, где прошло детство и отрочество Алеши Шумавцова.

Громову даже судили. В тот же день, как взяли. И расстреляли в тот же день.

Был невезучим засылавший.

Переводчица

Нина Зарецкая, переводчица комендатуры, багровела до корней волос от стыда, от позора смотреть на мужчин и женщин, которым приказывали раздеваться догола, а потом пороли резиновыми палками. Но лицо Нины становилось белым, когда люди кричали от боли, а ягодицы и спины избиваемых превращались в кровавое месиво.

Иванов сказал переводчице, ухмыльнувшись:

— Зарецкая! Не знаю, когда ты лучше? Красная как рак — пригожая. Белая, как лист бумаги, — Царевна Лебедь.

Митьку Иванова девочка сторонилась, а с рядовыми полицаями была смелой. Защитники у нее нашлись надежные: великан Стулов и особый человек Ступин. Ступина боялись и начальник полиции, и глава управы.

Нина теперь знала, что это такое, когда стынет кровь в жилах. Дом полиции — двухэтажный, но очень уж небольшой. Крики избиваемых двери с петель срывали.

Страдая, стыдясь и почти умирая, Нина, однако, все видела. Всех видела. Лица людей, приходивших своей волей к Иванову, она запоминала. И не потому, что это было нужно. Кабинет следователя ужасал. Иванов ужасал. Бледный, с потупленной головой, глаза, как стоячая вода. Какого

они цвета, Нина не успевала понять. Поражало другое: глаза вцеплялись в тебя, будто когти дикой кошки, и тотчас же отстранялись, тонули в черной тоске. Иванов, скорее всего, знал, чему быть.

Нине казалось, что она в предбаннике ада. Дом, папа, мама — были для нее раем. Но дома ей тоже было страшно: ад мог поглотить рай через день, через час, в эту вот самую минуту. Вломятся в двери полицаи и убьют спяну.

Собирались вместе только за ужином.

Полина Антоновна разливала по тарелкам свекольный борщ из фарфоровой супницы фарфоровым черпаком. Борщ без мяса, но с грибами, с тертым хреном. Очень вкусно и полезно. Мясные бульоны батюшка не отвергал в скоромные дни, но не любил. А теперь — где его взять, мясо?

— Удивительный сегодня привкус! — порадовался батюшка супу.

— И правда! — согласилась Нина.

Отец и дочь смотрели на матушку.

— Нашла мешочек с мятой! — открыла секрет Полина Антоновна.

— Скорее бы лето! — вздохнула Нина.

Батюшка головой покачал:

— Не торопи жизнь.

Нина была согласна с отцом. Зимой воевать трудно.

— Подольше бы тишины, — сказала она, вылавливая грибок. — Сегодня приходил к Иванову лесник Фанатов. Его брали в армию, но он сбежал. В общем, дезертир. Работает у лесничего Никитина. Никитин показал полицаям, где спрятаны у партизан машины. Причем он сам тайник этот закладывал.

Нине о подполье знать не полагалось. Таково было требование батюшки. Заданий она не получала, просто рассказывала о работе:

— С лесником приходил парень. Ему лет семнадцать. На губе темный пушок, сам длиннющий, и нос у него длинный. Уши оттопыренные. Этот парень еще три раза приходил к Иванову. Один, без лесника.

Нет! Нине совершенно не положено было знать, что она помогает бороться с врагом. Она — напуганная девочка, что естественно. Домашний ребенок из хорошей семьи. В полиции с пособниками партизан не церемонятся... Вот и страшно девочке.

Уже через день донесение Ясного ляжет на дощатый стол Золотухина. В отряде будут ждать засланного к ним молодого парня с пушком на губе, с длинным носом, с оттопыренными ушами.

Впрочем, Ясный не забудет предупредить: поголовный провал агентуры Иванова вынудит полицию искать партизан в своих рядах.

Партизанский штаб, соглашаясь с Ясным, затевал «игры» с офицерами Гехаймфельдполицей. В тайниках появлялись «донесения» агентов, якобы внедрившихся в отряд.

Бенкендорф в своих отчетах давал Иванову оценки скудные, но неизменно высокие.

Когда пришло наконец новое штатное расписание для полиции, Дмитрий Иванов получил должность старшего следователя. Теперь ему полагался офицерский мундир без знаков отличия, парабеллум в кобуре и кабинет.

Однажды остроглазая Анастасия Петровна шепнула Ниночке:

— А начальник-то полиции, господин Посылкин, по-моему, боится Митьки... Двадцать лет парню, а поди-ты! Очень секретный человек.

Секретный этот человек был не только умным, жестоким, но и коварным.

Поймали девчонку-партизанку, может, и не партизанку, но нашли у нее листовку.

Привели к Иванову. Митька прочитал листовку, хмыкнул и позвал огромного Стулова. Девочке сказал:

— Задирай платье, снимай трусы!

Сняла, задрала.

— Как зовут тебя? — спросил девушку Иванов.

— Римма.

— Ложись на лавку.

Легла.

— Сколько? — спросил Стулов.

— Пяток!

Тоненько кричала красна девица.

— Ума набралась? — спросил Иванов.

— О-о-ой! — стонала битая.

— Набралась. Натягивай трусы, пойдем судьбу твою решать, жить тебе или на виселицу.

Повел Иванов партизанку Римму — в комендатуру, к самому Бенкендорфу. По дороге листовку достал:

— Сама писала?

— С забора сняла.

Митька засмеялся. Показал Римме листовку с обратной стороны.

— А где клей? Ты бы хоть уголки оторвала, если врать не умеешь.

Бенкендорф тоже листовку прочитал, стал грустным.

— Какая все это глупость! — вышел из-за стола, посмотрел девочке в глаза. — Вы, голубушка, — милая. И, я это вижу, душевная. Вы — добрый от природы человек.

С тревогой посмотрел на Иванова.

— Вина за девочкой серьезная?

— Листовка...

— Нашла или переписала? — спросил Бенкендорф следователя. И поднял руку: — Молчите. Дитя скажет мне правду.

— Переписала, — пролепетала Римма.

— Ах ты Господи! — Бенкендорф развел руками, прошел за стол. — Иванов, об этом инциденте еще кому-нибудь известно?

— Никак нет, господин комендант! — щелкнул каблуками Митька.

Бенкендорф радостно улыбнулся.

— Иванов! Теперь ведь Масленица.

— Так точно, Масленица.

— Прощеный день?

— Прощеный день будет в воскресенье!

— Я прощаю эту девочку.

— Поклонись! — прошептал Митька.

Римма поклонилась.

— Как все хорошо устроилось! — порадовался Бенкендорф. — Вы свободны.

Митька и партизанка вышли на набережную.

— Ты свободна, — сказал девушке старший следователь. — Но к нам придется зайти. Я тебе пропуск выпишу. Понравилась ты коменданту. Он у нас человек добрейший.

В кабинете Мишка толкнул девушку за ширму, где стояла кровать. Изнасиловал.

— Вот теперь ты свободна. О том, что здесь было, — молчи. Даже матери — ни полслова.

Если бы не страх перед патрулями, Римма бегом бы бежала до дома. Только дом теперь не защитник. Ей и дома чудилось, что она бежит.

И во сне она бежала. Только вот куда? От себя и на Северном полюсе не схоронишься.

Блины

В Прощеное воскресенье в Казанский собор явилась фрау Магда.

Служба уже кончилась, но матушка Полина Антоновна с другими женщинами кормили детей блинами, намазанными маслом, и со сметаной.

Фрау Магда тоже привезла гостинец: два больших пакета с галетами.

Запах блинов показался хозяйке Людинова вкусным. Призналась:

— Никогда не ела блинов.

Тут матушка спроста и пригласила комендантшу на блины. Магда согласилась, а Полине Антоновне пришлось оправдываться, когда подавала на стол:

— К блинам — сметана и мед, масло детям отдали.

Скатерть, прожаренная морозом, ослепительная, от нее — озон. На стенах — картины и рисунки.

Фрау Магда долго смотрела на изображение страдающего Христа.

— Что это за художник?

— Батюшка! — улыбнулась Полина Антоновна.

Магда поглядела на отца Викторина, пожалуй, даже с испугом:

— У вас несомненный дар! Как же так? Вы — священник провинциального крошечного города. Пусть со своей историей, со своей славой. Но Людиново — не столица. Вы не дали жизни своему дару. Почему?

— Род Зарецких — священники. Искусство требует полной самоотдачи. — Батюшка поправил покосившийся рисунок Лазаревской церкви.

— И все-таки — почему? — Графиня была поражена: русские совершенно не умеют ценить себя.

— Фрау Магда, я не Сталина рисовал, я рисовал Христа. А Россия, в которой мы жили, именовалась Советской.

Сели за стол.

Блины — стопкой. Простые. Золотые.

— Из какой это муки?! — изумилась фрау Магда.

— Какая случилась, но я пшена добавляю.

— Очень! Очень вкусно!

И Магда стопку блинов повезла для своего графа.

Провожая, матушка, батюшка, Нина по очереди подошли к фрау Магде и просили прощения.

— Прекрасный обычай! — одобрила комендантша и задумалась: — А ведь я не посмею просить у вас прощения. Я ни в чем не повинна перед прекрасным вашим семейством, но я — частица войны. Помолитесь, батюшка, обо мне, об Александре Александровиче.

И, уже взявшись за ручку двери, повторила просьбу:

— Помолитесь, отец Викторин, о Бенкендорфах.

Семен Щербаков

Разведчики Володи Короткова возвращались из Людинова ни с чем. Тайник был пуст. Связь со Щукой прервалась.

Сначала Афанасий Ильич Посылкин пришел в отряд без донесений, теперь Астахов и Кирпичиков зазря отмахали сорок километров.

Они были на окраине Сукремли, когда услышали, что их зовут:

— Мужики! Вам говорю, мужики!

Документы у разведчиков самые разнемецкие, из управы. Оглянулись — подросток.

— Пойдите сюда!

Подошли. Паренек снял варежку, подал разведчикам руку:

— Я — Семен Щербаков. Ваш Золотухин обещал взять меня в отряд, если оружие добуду. Забирайте! И меня в придачу.

Домишко со съехавшей на бок крышей. Снег по окну.

— Кто у тебя дома?

— Один живу. Оружие под поленницей, в яме.

Разведчики решили дожидаться ночи в доме Щербакова. Когда за вечерело, пошли посмотреть, о каком оружии говорит шустрый паренек.

Под пленницей — яма, в яме — головы и кости лошадей. Разгребли свалку — ящики с минами, снаряды, завернутые в тряпки немецкие автоматы, ППШ, несколько десятков винтовок, ручные гранаты, немецкий ручной пулемет. Коробки с патронами.

— Ого! — вырвалось у Кирпичикова. — Пулемет, немецкий, возьму.

— Сейчас мины подрывникам нужны! — сказал Астахов. — Один ящик допрем.

— Пусть Василий Иванович присылает за остальным человека три, и спросите его настрого: обещания не забыл?

Яму прикрыли, пленницу поставили. Разведчики отправились в отряд повеселевшими: не с пустыми руками возвращались. Пулемет, мины — это серьезно.

Золотухин, встревоженный молчанием Щуки, отправил в Людиново и впрямь трех партизан. Афанасий Ильич Посылкин побывал в Казанской церкви, два других разведчика остались в домике Щербакова.

Отцу Викторину Посылкин передал записки об упокоении и о здравии из Усох, Буды, Колчина, Тихоновки. Принес просьбу жителей Колчина приехать к ним, окрестить новорожденных детей и тех, кто постарше, не крещенных из-за страха перед советской властью.

О Щуке отец Викторин знал немного. Главное, жива, здорова, работает. Но в больнице полиция Айзенгута проводила проверку. Исчез врач Хайловский. Еврей. Немцы его выкрали и, скорее всего, расстреляли. Врач Соболев после бесед с Азаровой согласился помогать партизанам. Врач

Евтеенко, тоже свой, но к нему ходит на лечение Иванов. Немецкие хирурги руку полицаю спасли, а долечивать не стали.

У медсестры Марии Ильиничны Беловой связь с партизанами. Другая медсестра, Евдокия Михайловна Апатьева, — мать Толи Апатьева. Вся нелегальная работа теперь свернута; слишком много вражеских глаз и ушей вынюхивают, высматривают.

Чересчур внимательные взгляды Афанасий Посылкин уловил на себе и в церкви. Для этих глаз спектакль устроил. Прощаясь с батюшкой, кланялся до земли, просил не отказать колчинским бабам в их просьбе:

— Батюшка! Фронт нет-нет да погромыхивает, самолеты бомбами сыпят. Купол в колчинском храме снесло. Ты уж, батюшка, уважь народ, покрести ребятишек. Крещеный — к Богу, а некрещеному, хоть и невинному, мыкаться во веки веков неприкаянно.

— Испрошу пропуск и буду, — ответил отец Викторин ходоку колчинских женщин. — Господин комендант о духовном здравии народа имеет доброе отеческое попечение.

— Воистину так, батюшка!

Посылкин посмеивался про себя: такое донесут Бенкендорфу.

Из церкви народный любимец отправился исполнять прочие поручения; главное, дождался Шумавцова, шедшего с работы, передал задание Золотухина. Оно было краткое: «Взорвать локомотив, дающий немцам электричество, взорвать паровоз».

Поздно вечером партизаны, Посылкин и Семен Щербаков нагрузили санки оружием, снарядами, минами и ушли, дождавшись ночи, в лес. Вот только склад старателя разве что на треть убыл.

Диверсии

Среди трофеев при втором взятии Людинова немцам досталось два паровоза: «овечка» — безнадежно устарелый, слабосильный — и маневровый, средней мощности, на нем возили лес.

Бенкендорф, будучи управляющим завода, расширил ассортимент изделий. Гробов требовалось по-прежнему много, а для немцев живых русские рабочие делали срубы блиндажей, крепления для окопов.

Гитлер нацеливал громаду войск на Сталинград, на Кавказ, а здесь, на Орловской, на Калужской земле, фашисты держали оборону. Разумеется, до лучших времен.

Паровоз «ЭР» подрывник Григорий Сазонкин и его ребята вывели из строя бережно. Придут наши — пригодится. Опять же, машинист и кочегар — русские люди.

Шашка тола, замаскированная под кусок каменного угля, покорежила топку, но никого не убила. Паровоз перевели на запасной путь и забыли про него.

Подобная шашка вывела из строя «овечку». «Овечка» перевозила грузы внутри завода.

Сиял Толя Апатьев.

А на другой день разорвало железное брюхо локомотива.

Сиял Сашка Лясоцкий. Это он выдолбил в березовой чурке дупло для мины. Получилось что-то вроде пенала. Кочегар в чурке не усомнился.

В конце февраля принесло метели, и сразу грянуло тепло, началась ростепель.

Один из батальонов, прибывших уничтожить партизан, снова отправился на фронт. Немцы вели разведку и ждали.

Месиво русских дорог приводило командование в негодование. Все эти проселки не только для машин были неодолимыми, но и для танков.

А для русского человека весна — праздник.

Герасим Семенович Зайцев принес графу Бенкендорфу дары леса: огромного глухаря и трех тетеревов. Граф послал за графиней, представил ей своего любимца:

— Наш ловчий, Герасим Зайцев! Истинный зверобой Брынского леса!

— Это же красная дичь! — воскликнула Магда. — Королевская дичь... Скажите, Герасим, водятся ли в ваших лесах вальдшнепы, бекасы?

— Водятся, госпожа графиня! — Зайцев выказывал себя удальцом.

— Писатель Тургенев, имевший дружбу с братьями Гонкур, — Эмиль Золя тоже, кажется, был из их круга, — угощал приятелей бекасами.

— Развесенится — бекасы прилетят! — доложил графине Зайцев. — Настреляю и принесу.

Бенкендорф поднял брови:

— У тебя оружие?

— Господин комендант! Я нашел брошенную винтовку, сходил на охоту. Птица — вот она, перед вами, а винтовку, не извольте беспокоиться, я сдал старшине Гукову.

Граф улыбнулся:

— Рад. Приказ военных властей не нарушен.

— Господин комендант! — Зайцев вытянулся по-солдатски. — Старостам и старшинам без оружия нечем себя защитить от партизан.

— Согласен, — Бенкендорф посуровел. — Однако бюрократия и на войне — бюрократия.

— Но ведь полицаи вооружены!

— Старосты избираются народом.

— Надо что-то придумать! — сказала Магда. — Какие красавцы эти птицы!

— Верно, верно! Следует что-то придумать! — согласился Бенкендорф.

— Граф! Александр Александрович! — На лице охотника явился испуг. — Теперь, слава Богу, тихо

в лесу. Для зверья и птиц — нормальная жизнь. Ждать войны-то? Или Бог помилует, пронесет грозу мимо?

— Боюсь, что не пронесет! — сказал строго комендант, посмотрел с прищуром.

— Эх! — Герасим Семенович весь воздух выдохнул из широкой груди. — Тишина, конечно, — благодатно. Но с партизанами бок о бок жить — испытание.

— С партизанами будет покончено в самое ближайшее время, — доверил Бенкендорф старосте тайну. — Огня и грома не избежать, но тишина в лесах наступит, я в этом уверен, долгая. А посему ударить надо в самое больное место. Больно ударить.

Герасим Семенович поклонился графине, поклонился графу.

— Пойду. Жена и дочка одни в доме. — Глянул на Магду: — Ружьишко бы! По нынешним временам и автомат — не лишнее в доме.

— Подождите! — сказала Магда, принесла четыре плитки шоколада: — Вашим женщинам.

Птицей летел Герасим Семенович по лесу. В низинах, под снегом, вода поет!

— Самое больное место? — переспросил Золотухин Зайцева. — Мать честная! Они ведь на госпиталь целятся!

Подарил немецкому старосте немецкий автомат, к автомату — пяток лимонок.

В Думлове у Зайцева двадцать два бойца. Отряду предстояло занять позицию в Птиченке, где располагался партизанский госпиталь, поддержать Короткова и его разведчиков.

Володя Коротков, прощаясь, сказал Герасиму Семеновичу:

— Не забудь! На развилке трех дорог мы заложили очень серьезную мину: двадцать килограммов

взрывчатки в сорокаведерном котле. Смотри, не подставляйся... Перекресток дорог в полукилометре от госпиталя. Представляешь, где это?

— Представляю.

Большая мина

В партизанском госпитале разразилась суматоха. Майор Ермаков, начальник госпиталя, грузил в сани раненых и медицинское оборудование. Кто был способен держать оружие, занимали оборону: немцы могли появиться в любую минуту.

Коротков первым делом выставил засаду с пулеметами. К мине отправил Сережу Астахова. Взрывали примитивно: нужно было за веревку дернуть.

Коротков наказал настрого:

— Ждать моей команды! Махну рукой — действуй!

Прикатил на лыжах разведчик:

— Немцы идут колонной! Батальон!

Коротков подозвал пулеметчиков:

— Пряхин! Копылов! Занимайте позицию! Огонь откроете после взрыва мины.

Послал связного к майору Ермакову:

— Грузить всех раненых. Уходить без промедления.

И последний приказ своим разведчикам:

— Голов не поднимать. Ждать взрыва мины. Осколки будут страшные.

В это время отряд Зайцева, все двадцать два бойца, шли на лыжах по Куявской дороге.

— Ребята, давайте малость пробежимся! — предложил командир. — Если немцы будут отходить в нашу сторону, придется их пугнуть. Злость могут на Думлове сорвать. Жен и ребятишек побьют, дома спалят.

Вышли на горку. За деревьями попрятались. Вперед, дозором, пошел сам Герасим с пятью

парнями. У всех автоматы, ручной пулемет тоже взяли.

Немцы двигались со стороны Мосеевки. На развилку дорог вышло боевое охранение. Остановились, поджидая основные силы.

Астахов взглядывал на командира. Коротков смотрел и ждал.

— Как муравьев! — сказал Астахов, подтягивая веревку.

Немецкий офицер достал карту. Дорога в лес — партизанская, к лагерю и дальше, к Болве.

Коротков поднял руку. Резко бросил вниз. Астахов что есть мочи рванул веревку.

Полыхнуло рыжим, будто солнце свалилось с неба, и — рев, утробный, пронизанный свистом осколков. Черные клубы дыма росли, кучерявясь, выше и выше, а снизу, пронзая эту кучерявую безликую голову, взмывали космы земли.

Ударили пулеметы, друг перед дружкой затараторили очереди автоматов, ахали винтовочные выстрелы.

— Отходим! За Болву! — приказал Коротков.

Немцы палили во все стороны, а лес умолк.

Замыкающая колонну рота останавливала бегущих.

Командиры погибли: батальона, роты, несколько взводных.

На деревьях — ошметки шинелей, кровоточащие куски мяса.

Сколько солдат попало под взрыв — пока еще не понятно. Толпа, пораженная ужасом, кинулась на дорогу к Думлову, и тут снова ударил пулемет, посыпались автоматные очереди.

Бегущие метнулись на старую дорогу к Мосеевке.

— Домой отходим кружным путем! — приказал своим партизанам Герасим Семенович. — Упаси Господи привести за собой немцев в Думлово.

Через день разведчики побывали в Мосеевке. Немцы увезли в Людиново семнадцать подвод убитых и раненых.

Впрочем, убитых подсчитать партизанам было трудно. На деревья у перекрестка и у храброго сил не было глаза поднять.

— Свое получили, — сказал партизанам Золотухин.

СС и русские мальчики

Повторить поход за партизанскими головами немцы решили, во-первых, подготовившись, во-вторых, силами специалистов.

Фронт стоял всего в восемнадцати километрах от Людинова. В районе деревни Гавриловки занимала позиции 323-я дивизия генерала Гарцева, город Киров обороняла 330-я дивизия под командованием полковника Соколова.

Особый отряд Красной армии майора Гамоги выбил немцев из деревень Большие и Малые Желтоухи. Перемещались по немецким тылам отряды НКВД Брянцева — будущего писателя, Орлова, Шестакова.

Главное, армия и партизаны держали семикилометровый проход возле Кирова. У немцев не было сил залатать брешь. В эту брешь Володя Коротков провел обозы с продовольствием и семьсот человек, готовых сражаться в рядах Красной армии. Мобилизацию, а заодно и спасение от угона в Германию партизаны провели в деревнях и селах Людиновского и Дятьковского районов. Вся эта территория была под немцами. Но хозяевами в деревнях оставались сами жители. Правда, наведывались мародеры, но для иных любителей деревенского масла, курочек и телятинки такие походы заканчивались гибелью.

В десяти километрах от Людинова, под Колчином, в одной деревне власть оставалась у председателя колхоза, степенного человека Алексея Илюшина. В другой деревне вел хозяйство и саму жизнь направлял председатель колхоза великан Бабурин.

Народ не одинок, когда у него есть голова. Бабурина слушали, на Бабурина надеялись. А он не долго думая наказал народу собрать брошенное вояками оружие и сколотил отрядец из двадцати мужиков, пожилых и молодых, не пригодившихся фронту.

Некие мародеры обрадовались ухоженной деревеньке, но их положили до единого, трупы в лесу похоронили. Были немцы, не стало немцев. Записали их, должно быть, в «без вести пропавшие».

В партизана Бабурин не играл. Тайников в лесу не закладывал. За одну свою деревеньку держал ответ. Ни перед Сталиным, ни перед Родиной — перед бабами колхоза, перед детишками. Перед мужиками тоже, конечно. Придут с войны, с председателя спросят за жизнь семейства.

У Алексея Илюшина и жены его Варвары тоже был свой отрядец. Мародеров и полицаев убивали, а вот серьезной силе сопротивления не оказывали. Покорностью врага смиряли.

Иное дело — председатель манинского сельпо Федор Павлович Горчаков. Этот не поленился заложить в лесу несколько схронов с хлебом — урожай 41-го года был невиданный. Землянки тоже построил, мало ли?

Немцы, не имея сил для уничтожения партизан, снова затеяли вербовку мужчин и женщин для работ в Германии.

Великие добрые дела — наказуемы. На смерть шла Клавдия Антоновна Азарова, спасая от угона в Немецчину молодую поросль Людиновской земли.

Клавдия Антоновна выкрала картотеку, и ночами вдвоем с Олимпиадой переписали сотни историй болезни, помечая задним числом обнаруженную заразу.

Врачи Соболев и Евтеенко подписывали справки о туберкулезе, о венерических заболеваниях.

Связи с отрядом у Щуки не было. Афанасия Посылкина немцы искали, за его голову полагалась награда.

Но Клавдия Антоновна и без приказа знала, что ей надо делать.

Ради совести своей.

Золотухин отозвал связников в лес, за Болву, пока она не вскрылась. Отряд поменял дислокацию, и Коротков просил Герасима Семеновича Зайцева выделить несколько человек, встретить Посылкина и всю его группу разведчиков.

На задание староста Думлова отправил пятерых ребят. Всем по 15–16 лет: Костю Низовского, Гришу Юдина, Ивана Рогачева, Сережу Жижикина, Сережу Черняева. Встретить, провести через реку — простое дело!

Но на войне — всё былина.

Ребята дождались Афанасия Ильича, привели на станцию Куява. Станция брошенная, но есть печка. Печку затопили, чтоб зубами не стучать, пока собираются разведчики.

Скоро встретили на лесной тропе Петра Суровцева, вечером — еще троих.

Посылкин был за старшего. Он так решил:

— Ночью переходить Болву опасно. Переночуем в тепле.

Легли вокруг печки, на полу.

Тут Черняев и вспомнил:

— В «Чапаеве» тоже на полу красные спали. И песню пели.

— Петь не будем, — сказал Посылкин. — Чем скорее заснем, тем короче ночь. Смена часового через полтора часа. Кто первый?

— Я! — вызвался Черняев. — Я песни и без голоса могу петь.

— Главное, гляди в оба! — посоветовал Костя Низовский.

В марте лениво светает. Март, должно быть, совсем мальчишка, спозаранок глаза у него слипаются.

Под утро в часовых был Иван Рогачев.

Среди косяков тумана померещились ему на полотне дороги — люди.

— Немцы!

Иван вбежал к ребятам:

— Немцы!

Проснулись тотчас. Посылкин приказал:

— Занять оборону!

Немцы, не доверяя лесным дорогам, предпочли железную.

— Понятно! — сказал Посылкин. — Связные вместе со мной отходят к Болве. Командиром отряда назначаю Рогачева. Оторваться нам десяти минут хватит. Отходите, не затягивая боя.

Разведчики выбрались через окно. Ушли. Немцы, намучившись хождением по шпалам, стекались на площадь перед станцией. Опасности не чувствовали.

Ребятам еще можно было уйти, до леса — тридцать метров. Солдаты, те, которые шли по путям, могли, конечно, заметить, но добежать до первых деревьев — секунды. Но немцы-то — вот они. Толпой. А у тебя в руках автомат.

— Огонь! — И Рогачев дал очередь по самой гуще.

Пятьдесят шагов до цели, пять стволов.

Немецкие солдаты, посланные уничтожать партизан, побывали под Москвой, подо Ржевом. Батальон СС. Залегли, поползли к станции.

— К окнам, по всему залу ожидания! — приказал Рогачев.

Немцы вжимались в мокрый мартовский снег. В станционный домик полетели гранаты.

— Отходим! — крикнул Рогачев. — Низовский! Юдин! Прикройте!

Припоздали с отступлением. Снайпер срезал бегущего по путям Рогачева. Десяток очередей с трех сторон обрушились на Сережу Жижикина. Черняев успел залечь. Огрызнулся одной очередью и замолк.

— Всё! — крикнул Гриша Юдин Низовскому. — Костя! Нас двое!

Дал очередь, перебежал к дальнему окну, опять дал очередь.

— Береги патроны! — предупредил Низовский. — Пусть знают, как воюют русские мальчики.

Граната взорвалась, ударившись об оконную раму. Гриша кинулся к окну, и тут в зал влетела еще граната. Костя успел отпрыгнуть в коридор.

Выглянул: Гриша — на полу. Кровавая, чудовищно большая лужа.

Вой летел из груди, неведомо чей.

Забрал автомат, нашел рожок с патронами. Заскочил в каморку кассы. Окно узенькое, на окне — решетка. Обзора — никакого. Но — крепость.

— Люсь! Сдавайся! — крикнули с улицы.

— Я не Люсь! Я — Русь! Я — Святая Русь! — Костя увидел немцев и положил сразу двоих. — Вот так-то! Знайте русских мальчиков!

Гранаты рвались в зале ожидания.

— Люсь! Сдавайся!

— Близко не подходят. Сколько мы их побили? Не придется узнать, порадоваться.

С автоматом Гриши Костя выбрался из укрытия, что-то немцы притихли. В зале — Гриша. Один.

Костя придвинулся к окну. Ничего себе! Немец с огнеметом!

Очередь получилась экономная.

— Срезал!

Тотчас ударили десятки автоматов, снова полетели гранаты, разрываясь, ударяясь о стены, об окна.

Костя затворился в кассе.

— Люсь! Капут!

— Вот вы где! За нашими деревьями прятаться! Так они — наши!

Дал очередь, длинную и точную. Деревья и впрямь отступили, раздалось, выдали немцев с головой. Пронзительно кричал умирающий.

— Сколько я вас положил? — спросил немцев Костя. Не ответили.

Почуял запах костра. Какой тут может быть костер? Ах вот что! Зажгли дом. Крыша горит.

Поменял рожок в Гришином автомате:

— За тебя, Гришка, за тебя!

Стрелял, потом затаивался. Огонь уже слышно было. Горящие балки рушились. И над ним уже горело.

— Мы еще поживем! Немножко.

Отложил Гришин автомат, дал очередь из своего.

Сверху летели искры. Как бы не потерять сознания от дыма! Живым возьмут.

Снял с ремня гранату.

Подумать о чем-то хорошем.

Вот они! Замелькали в окошке фигурки. Дал длинную очередь из своего, в Гришином тоже еще остались патроны. О хорошем бы подумать.

Перед глазами было зелено, как после зимы, в апреле.

А весне-то не быть уже.

Последняя очередь кончилась.

Потолок, кроваво-огненный, вспухал вовнутрь.

Отворил дверь, вышел в коридор, чтоб не сгореть. И вырвал кольцо из гранаты.

Четыре трупа, четырех мальчиков, досталось немцам. Пятого разнесло. Все — безусые. У всех детские лица. Простодушные и спокойные. Не оплошали. Потери боя в Куяве немцы засекретили. Десятки эсэсовцев, опытных фронтовиков, убиты подростками. Раненых много.

Немцы вызвали из Куявы подводы, отправили убитых и раненых в Людиново. Отряд вошел в Куяву, один взвод направился в Думлово.

Выставленные Зайцевым посты успели предупредить командира.

— Надо немцев заставить погоняться за нами! — решил Герасим Семенович.

Лизоньку по головке погладил. Ефимию Васильевну в височек поцеловал. Шепнул на прощание:

— Придется мужиков в отряд отвести. В случае чего говори: партизаны забрали Герасима! С собой увели.

Немцев думловские обстреляли с двух сторон. Стрельба вышла густая. Солдаты залегли. Заработали пулеметы, прикрывая отступление.

— И нам пора! — сказал Герасим Семенович, увел отряд за Болву.

А у немцев — недоразумение и озабоченность. В боях и стычках с партизанами погибли четверста солдат и офицеров из подразделения СС.

Беспризорник Щербаков

Без разведки, без донесений подпольщиков — не война, игра в жмурки.

Золотухин глаз положил на мальчишек.

На связь с Клавдией Антоновной Азаровой Василий Иванович послал Семена Щербакова.

— Можно, мы с другом пойдём? — спросил Семен.

— Кто у тебя друг?

— Женька Кабанов. Он, как и я, из Сукремли. Есть где отсидеться.

— Хорошо, — согласился командир отряда. — Но к Щуке пойдёшь один. Щука — это главная сестра больницы. Скажешь ей: Щука, она поймет, откуда ты и от кого.

В это время Золотухину доложили: вернулись Афанасий Посылкин, Петр Суровцев и вся их команда. Разведчики рассказали о трагическом сражении пятерых мальчишек из отряда Зайцева.

Не проследил Василий Иванович, как ушли из отряда Семен и Женька — жители Сукремли.

А ушли они не хуже других. Кабанов — с винтовкой, Щербаков — с гранатой за пазухой.

В Сукремль ребята пробрались легко, им нужно было встретиться с Фоминым, узнать, что делается в Людинове. Одну улицу пересекли. Тут Семен и ахнул, глядя на друга: Женька с винтовкой через плечо! Спрятали между слегами у забора. И только вышли на следующую улицу...

— Хальт!¹⁵

Кинулись в проулок, забежали во двор деревенского домишки. Женька — в сарай, Семен — в избу. Смотрит: старушка Конюхова. Ее сын в отряде.

От печи теплом веет.

— Давно топила?

¹⁵ Halt! (нем.) – Стой!

— Вчера вечером.

Семен открыл заслонку, полез в печь.

— Если вякнешь, у меня граната, всю печь разворочу. Закрывай!

Старушка заслонку поставила на место, сама — к столу, рубаху штопать.

И немцы — вот они!

— Партизан! Партизан!

Старушка заохала, руками замахала. Немцы глянули за печь, под кровать, на чердак поднялись. Смотреть больше негде.

На улице, под дулом автомата, — Женька Кабанов. Немцы погнали пленника к начальству. Старушка подождала, заслонку открыла:

— Живой?

Семен выбрался из печи:

— Косточки погрел.

— Твоего дружка поймали.

— Бабка, скорей на улицу! Погляди, куда повели.

Конюхова — к калитке. Скоро вернулась:

— В город! Я Женьку Кабанова знаю. И мать его знаю.

— Та-ак! — сказал Семен. — Готовь, бабка, угощенье сыну. Отнесу. А за храбрость — спасибо. Я у тебя отсижусь... Вечера надо ждать.

Забрался на печь — и ведь уснул! Будто ничего не стряслось.

В отряд вернулся ночью, с винтовкой Кабанова. Не удалась разведка.

А под утро он уже был в пути. Теперь шел один, со строгими наказами, как по городу ходить, не привлекая внимания, где искать в больнице Щуку.

Но в город Семен Щербаков вступил очень даже шумно. Банку из-под тушенки перед собой гнал. Из дыр в зипуне — клочьями вата, ушанка с одним ухом, а сапоги яловые, крепкие. Снял с убитого, должно быть.

Щуку нашел быстро. Показал ей зубы.

— Полечи!

— Полечу, — согласилась Азарова и передала бродяжке тряпицу.

В тряпице — лекарства и донесение.

В обратную сторону Щербаков проследовал, обгрызая капустную кочерыжку.

Донесение Азаровой было тревожное:

«Оккупанты подозревают неправдоподобность наших справок, выдаваемых лицам, предназначенным для отправки в Германию, уж какой раз у них срывается отправка. На выдаваемые справки и их владельцев ведется картотека задним числом. Каждый владелец справки предупрежден. Это в их интересах, и они будут молчать. У оккупантов имеются подозрения на ряд лиц, но кто они, пока неизвестно. Но мы сами делаем выводы. По ходу событий, в ближайшее время нам придется держать ответ, если не арест. Все мы русские, и других улик для врагов не надо. Все предупреждены. На случай потери связи должен сообщить Ясный».

— Как она? — спросил Золотухин Семена.

— Лицом — не подступись. Но хорошая.

— Как, спрашиваю, выглядит? Больная, встревоженная?

Семен руки размахнул:

— Она — большой человек! Глаза, конечно, задумчивые. Но крепкая и смотрит крепко.

— Спасибо, Щербаков. Отдыхай. Нам, как медведям, сил нужно накопить. Тяжелое будет лето.

Прогулка с желтыми подснежниками

Весной небо над Людиновом будто раскрывшийся парашют. На этом парашюте Земля летит. Во Вселенной не падают, во Вселенной взмывают.

В марте и сердце крылато. Алеша Шумавцов носил на крыльях тайны своей улыбку Шуры Хотеевой.

Не та теперь жизнь, чтоб вызвать девушку под первой звездой по улице пройти, крушить весенний лед на лужицах. В центре Людинова патрули, на окраинах, где за каждым забором сад, стоят танки, возле танков — часовые.

На набережной — полицаи.

Алеша лирического дурачка из себя не строил. Шел всегда сосредоточенно, будто по делу. И дело про запас у него было наготове. Остановят — есть что сказать, не выдумывая наспех.

И ложилась четвертушка тетрадной страницы в тайник. За этим листочком приходил из леса партизан. Жизнью рискуя. И не зазря. Строки короткого послания превращались на столе командира и начальника штаба в оперативное донесение.

Алеша даже нафантазировать себе не мог, кто читает его отчеты о весне в Людинове.

«17 марта 1942 года. Секретно. Государственный комитет обороны. Тов. Сталину.

Генеральный штаб Красной армии. Тов. Шапошникову.

16 марта 1942 года по радио командир партизанского отряда, действующего в Людиновском районе Орловской области, тов. Золотухин сообщает: «Карта 1-1 000 000, координаты 7094, Людиново, на улице из центра на Киров — танки, бронемашин. Южнее территории завода — отдельный большой красный дом с вышкой — склады боеприпасов, северо-восточнее завода — склады снаряжения и боеприпасов. Юго-западнее от центра города, на Сукремль, в корпусе ФЗУ с трубой — конюшни. Бомбите».

Спецсообщение от Наркома НКВД СССР».

Интерес Верховного командования к Людинову объясним. В 250 километрах к северу в эти дни погибала 33-я армия генерала Ефремова. Сражающаяся армия.

Сталин не верил прогнозам Генерального штаба. Генералы-провидцы предполагали: летом Гитлер главный удар своих войск направит на Волгу и на Кавказ. Гитлеру нужны для ведения долгой войны русская нефть и русский хлеб. Опять же, нефти и хлеба лишалась Москва. Но как было поверить в такие планы, если перед Западным фронтом Жукова — 70 дивизий?

От Ржева до Москвы, от Вязьмы до Москвы — две сотни километров, от Гжатска, который не удастся отбить, — 180.

И самое страшное — удача отвернулась. Армии то и дело попадают в котлы смерти. Немецкое окружение — удав; была армия, и нет армии.

Начальнику Генерального штаба Шапошникову, главнокомандующему Сталину надо было знать, какие силы у немцев в Людинове, в Жиздре, под Кировом. Не намечается ли клещей для армий Западного фронта?

Орел с орлятами не ведал, сколь важными являются его донесения. Он делал свое дело, ради которого оставлен в Людинове. Он делал это изобретательно и незаметно. А чтобы сила, обнаруженная им, была непременно уничтожена, каждая его записочка заканчивалась приказом: «Бомбите!»

Пришлось-таки Алеше набраться смелости и пригласить Шуру прогуляться. Школьник Шумавцов не посмел бы подступиться к Василисе Прекрасной. Другое дело — командир Орел. Орел приказал Сашке Лясоцкому, коли отец его лесник, добыть подснежников.

Сашка подснежники принес. Желтые.

Алеша явился с букетиком к Шуре:

— Нам надо погулять.

Тоня, отпуская сестру, посмотрела на обоих:

— Подходите.

— Чего? — не понял Алеша.

— Подходим друг другу, — сказала Шура.

День воскресный, весна.

— По центру пройдемся.

Шура взяла Алешу под руку. Он было дернулся, но ведь для дела.

— У тебя рука, будто ты гирию тащишь.

— А лицо? — спросил Орел.

— И лицо никуда не годится. Ты же все время отворачиваешься от меня. Противная, что ли?

— Наоборот.

— Под ручку ни с кем не ходил?

— Не ходил. Я гармонист. Мне руки нужны свободные.

Шли молча.

— Уж если мы гуляем, ты разговаривай со мной. Ухаживай.

— Нам надо посчитать машины и орудия. Запомнить, где стоят.

— Цветы, между прочим, редкие. Спасибо. — Шура легонько торкнула Алешу в бок: — А если бы... Ну, просто так... Принес бы цветы?

— Не принес бы, — сказал Алеша правду. — Постеснялся... Вернее, не посмел бы.

— Какие же вы дураки, мальчишки! — У Шуры даже слезы на глаза навернулись. А глаза у нее — ну, не было еще таких на белом свете!

Они прогулялись по улице Фокина, по Первой улице и по Второй.

— Тридцать девять грузовиков! — посчитал Алеша.

Прогулялись по улице III Интернационала.

— Двадцать пять машин, — сказала Шура.

— Двадцать пять. Итого — шестьдесят четыре.

— Пять машин стояло на Красноармейской, пятнадцать — на Московской, еще пять — на Карла Маркса.

— Автоматическая пушка и три противотанковые на III Интернационала, — подводил итог гуляния Алеша, — на Маяковского — зенитка.

В каменных домах — пулеметные гнезда. Все это на дорогах: на Киров, на Букань, на Сукремль, на Войлово.

Шура остановилась у большого дерева.

— Устала.

— Одно плохо: нельзя бомбить, — сказал Орел. — На самых людных улицах — машины.

— Ты целоваться умеешь?

Алеша опустил голову.

— Ты целоваться умеешь?! — рассердилась Шура.

Посмотрел в глаза.

— Минами будем взрывать. На выезде из города. Пусть немцы думают, что это партизаны.

Шура придвинулась, поцеловала мальчишку в губы.

— Ухажер! — Убежала.

Тепло от прикосновения губ не исчезало. И вкус не исчезал. Настоящая лесная малина.

Допрос на дому

Очередная мобилизация молодого народа для нужд Германии провалилась. Вместо трех сотен набрали сорок человек. А из этих сорока тридцать три сбежали в партизаны.

Старший следователь Иванов по собственной инициативе явился в больницу, допросил врачей и с пристрастием — главную сестру Азарову. Побеседовал с главным врачом Андреевой.

— В поле моего зрения каждый из персонала вверенной мне больницы, — доверилась Андреева Иванову. — Я сама выдаю лекарства, я проверяю расход перевязочного материала. Нарушений

не нахожу, но поручиться за кого-либо не берусь. Они все — русские!

— А мы кто? — спросил Иванов.

— Мы — новые люди, верящие фюреру. Я ненавижу хаос существования. Я — за порядок.

Иванов состроил озабоченность на лице:

— Мне было бы интересно посмотреть документацию. Отсев мобилизованных столь велик, что закрадывается подозрение в умысле.

— Больных действительно много, — сухо сказала Андреева. — Германия для здоровых людей. Картотеку вам предоставит Азарова.

Целый день просидел Митька в больнице, просматривая карты больных. Порядок в документации был немецкий.

На другой день, рано утром, старший следователь явился на квартиру Олимпиады Зарецкой.

Это была коммуналка, но привилегированная. Одну комнату занимала Азарова, другую — Зарецкая.

Женщины собирались на работу.

— Вас я не задерживаю, — сказал Митька Клавдии Антоновне. — Я с вами вчера беседовал. А с вами, Олимпиада Александровна, поговорить не пришлось.

— Но меня на работе ждут. Я в операционной нужна.

— Вас заменят.

— Я арестована? Это допрос?

Митька улыбнулся — обаятельный, застенчивый молодой человек.

— Простите! Я веду следствие. Мне приходится опрашивать всех сотрудников больницы. Не допрашивать, Олимпиада Александровна, а только опрашивать. Беседовать. Если вы предложите мне чашку чая, буду вам признателен. У меня такая работа, что ем на ходу, а чаю на улице не выпьешь.

Азарова наконец собралась, оделась, ушла.

— Проходите на кухню, — сказала незваному гостю Олимпиада. — Мы завтракаем на кухне.

Кухня была просторная, стены белые, фарфоровая чашка — белая с золотым ободком. Скатерть белая, с кистями.

— У вас замечательно! — обрадовался Иванов строгости и безупречности обстановки.

— Ни у меня, ни у Клавдии Антоновны нет семьи. Чистота — наше утешение.

К чаю были сахар и галеты.

— Скажите откровенно, чего ради, от кого спасает Азарова деревню-матушку? Партизаны, каратели, война... Бомбы, наконец. А в Германии — человеческая жизнь!

— Вы действительно хотите откровенного разговора? — спросила Олимпиада.

— Да. Хочу. Я хочу сберечь русских парней и девушек от неминуемой смерти, а мне мешают. Я не верю всем этим справкам. Милая русская деревня, а девки, скромницы, сплошь венерические больные.

Олимпиада слушала, глядя в чашку. Помешала ложечкой сахар, и в чашке образовалась воронка.

— Господин старший следователь!

— Зачем вы так! — вскинул глаза господин старший следователь. — Я — Дмитрий. За глаза Митькой называют.

— Девушки наши были скромницы и по-деревенски наивны до 4 октября 1941 года. В этот день, если помните, Людиново стало Европой. Чуть позже через наш район прошли части, переброшенные из самой Франции. Солдаты, прошедшие Европу, насильствовали простушек Брынских лесов.

— Допустим! — Было видно: Митька не ожидал таких объяснений. — Допустим! А туберкулез? Чахоточных в Людинове все знали.

— Людиново голодает с сентября. В деревнях, ограбленных партизанами, а также мародерами, — уже зимой голодали, а теперь — весна. Все запасы на исходе. У нас по Людинову ходят опухшие от голода люди. Дети от голода мрут.

Митька быстрыми глоточками допил чашку, подошел к окну, заложив руки за спину. Постоял, снова сел за стол.

— Простите, Олимпиада Александровна. Нервы. — И засмеялся: — Мне двадцать один год — и нервы!

— Вот видите, — сказала Олимпиада. — У вас — нервы! А у деревенских девушек — букет любовной заразы.

Иванов вспыхнул:

— Вам доставляет удовольствие порочить немецкую армию.

— Избави Бог! Я к немецкой армии имею отношение только тогда, когда в наш госпиталь доставляют раненых.

Вцепился глазами в глаза:

— Ваш брат, Викторин Александрович, давно сотрудничает с НКВД?

Олимпиада вспыхнула:

— Безобразный вопрос.

— Безобразный? Сколько священников у нас село в 37-м? Отец Николай Преображенский, отец Александр Бриллиантов, батюшки Нагибин — не помню имя, Георгий Булгаков, Петр Казанцев. В Курганье — отец Петр Куликов, отец Василий Лебедев. Почему вашего брата не тронули?

Олимпиада не отвела глаз. Ответила спокойно:

— Мне оскорбительно вести такие разговоры об отце Викторине. Да, не арестовали. Свели корову со двора, лишили жилья. Архиерей, слава Богу, догадался переместить батюшку из Огори в Людиново. Здесь как раз четырех священников аресто-

вали. Я уж не помню, сколько успел отец Викторин послужить в Лазаревской церкви. Налогом задушили. Ушел на курсы счетоводов.

Митька придвинул стул ближе к Олимпиаде.

Положил руки на стол. Пальцы длинные, красивые. На лице тени, лицо тонкое.

— Хотите съездить в Германию? На месяц. Посмотреть, как люди по-людски живут.

— Какая Германия? Я помогаю хирургам отрезать руки и ноги, латать пробитые головы, доставать железо из легких, зашивать развороченные животы.

— Ты другой жизни хочешь? — Митька встал, глаза у него блестели.

— Не хочу. Я как все.

— На вид умная, но такая же русская дура, как твоя мудреная Азарова, как твой брат... — Вышел в коридор, надел шинель. — Мы с тобой у нас поговорим.

У двери повернулся, усмехнулся:

— Не прощаюсь.

Работа Иванова

Про угрозу свою Митька не забыл, но недосуг стало до больничных, чересчур грамотных медсестер.

Немцы готовились к великим успехам на фронтах. По их новым планам, Москва, даже не оккупированная армиями, должна вымирать от голода, как вымирает Ленинград.

Всего и нужно: оккупировать Кубань, Кавказ и оседлать плацдарм на Волге. Лишить Красную армию бакинской нефти, продовольствия с Кубани и приволжских областей.

Несколько батальонов прибыло в Людиново для разгрома партизанского края.

Семикилометровую прореху между Кировом и деревнями Большие и Малые Желтоухи немцам удалось ликвидировать.

Курганье, Куяву, Думлово заняли воинские роты и отряды полицаев.

Потери под Москвой, нескончаемая осада Ленинграда, перемалывание живой силы подо Ржевом для армий Гитлера были ощутимыми.

В Людинове появились чехи. Все подсобные работы — возчиков, интендантских служб — теперь были отданы русским военнопленным. В народе их называли легионерами.

Бенкендорф поручил Иванову заняться семьями партизан.

Работа закипела.

Полицай Иван Апокин доставил в кабинет Иванова учительницу Марию Петровну Воронкову.

— Ваш муж в лесу? — спросил Иванов из-за стола.

— Мой муж был направлен в Орел на курсы повышения квалификации. Я его не видела с октября сорок первого года.

— Может, он и учился. Как мины ставить.

— Мой муж — человек штатский.

— Назовите, Мария Петровна, семьи, где отцы или сыновья в партизанских отрядах. Пожалуйста!

— Откуда мне знать такое? Я детей учу.

— Вот-вот! Детям все известно, — медленно натянул на здоровую правую руку кожаную перчатку, вышел из-за стола, подошел к учительнице:

— Что вы стоите? Мне неудобно сидеть, когда вы стоите. Вот стул.

Учительница села, и он тотчас ударил ее в лицо.

— Господи! — охнула женщина.

— Бога вспомнили! — удивился Иванов. — Вы же советский педагог!

И еще раз ударил.

— Господи! — снова вырвалось у Воронковой.

Иванов возмутился. Затопал.

— Я так не могу! Я не могу выбивать у человека признание, если он поминает Бога. Я же православный! — Скинул перчатку, бросил на пол, наступил. — Немедленно покиньте помещение!

Учительница сидела, ожидая издевательств.

— Я сказал — уходите!

Поднялась, пошла к двери. Не окликнули. Вышла в коридор, спустилась с крыльца. Подвоха не было. Закрывая лицо руками, кинулась к двери.

Иванов, посмеиваясь, вошел в кабинет переводчиков.

Нина Зарецкая переписывала какую-то бумагу.

— Весна тебя любит! — сказал Иванов девушке.

— Почему? — серьезно спросила Нина.

— Да потому что ты — загляденье.

Нина зарделась. Не ожидала такого от палача. Знала: Иванов бьет почти всех, кого допрашивает.

— Выпиши мне пропуск.

— Куда?

— В дом твоего батюшки, но к тебе.

Вошла машинистка Анастасия Петровна:

— Иванов, ты ошибся дверью! Твой кабинет — прямо по коридору.

— Мне нужен адрес Екатерины Хрычиковой — супруги лейтенанта Красной армии.

Получил адрес, вышел. Было слышно его командирский голос:

— Сахаров! Сергей! Пойдешь со мной.

Анастасия Петровна смотрела на дверь, головой качала.

— Надругаются над молодой женщиной, а у нее двое ребятишек. Ах Митька, Митька! — И спросила Нину: — Ты слышала? Бенкендорф подарил Митьке квартиру на Второй Фокинской улице. Не хвалился?

— Не хвалился... В гости напрашивался.
Анастасия Петровна снова покачала головой:
— Красивый парень. Но мне страшно, когда он
входит в нашу контору.
— А я — ничего! — пожалала плечами Нина.
— Красота — твоя защита. Невинность. Но ведь
это все — и соблазн. Берегись, девка!

* * *

Жена лейтенанта жила на втором этаже.
Допрос Иванов начал с порога:
— Кто из партизан бывает у тебя, Хрычикова?
— Какие партизаны? Вот мои партизаны, —
показала на детей.
Младший еще дошкольник, старшему кутенку — лет восемь-девять. Иванов показал Сахарову на шифоньер:
— Погляди, не прячется ли кто?
Полицай распахнул дверцы.
— Прячется! — Снял с плечиков пиджак. —
Бостон!
Примерил на Митьку.
— Годится! — решил Митька. — Как раз. Партизаны у меня всё выгребли. Как это у них называется?
— Конфисковали, — подсказал Сахаров.
— И мы конфискуем костюмчик. Так, дамочка-лейтенантша! Кто он у тебя? Покажи альбом!
Открыл. Глянул.
— Танкист! Окопы наши давит. Пушки наши сминает.
Ударил кулаком, целя в глаз. Женщина рухнула, но Сахаров ее подхватил, опустил на диван.
Старший мальчик кинулся на Иванова.
— Ах ты моська! — Иванов пинком отворил дверь, швырнул мальчика на лестницу. Кубарем скатился.

Мать вскочила с дивана, но Сахаров заломил ей руку за спину. Иванов распорядился:

— Гаденышей отведи к ее сестре. Она через дом живет. А эту — в КПЗ.

Завернул костюм в скатерть и ушел.

Когда Хрычикову привели, старший следователь сначала ее изнасиловал, потом сам же бил кнутом.

— Это тебе за связь с партизанами.

На другой день снова порка. Бил Стулов. Старший следователь смотрел.

Передал заключенную полицаю Машурову:

— Яша, в этой камере партизаны твоих друзей из автоматов расстреляли. Поговори, Яша, с подружкой твоих обидчиков. Душевная, думаю, получится беседа.

Машуров бил кулаками, ногами. А как стемнело, женщину отпустили домой.

— Я бы тебя прикончил! — признался Иванов. — Комендант у нас сердобольный. Запомни своего спасителя: майор фон Бенкендорф. Детей твоих пожалел.

Непрошенные гости

Хрустальным мартовским вечером в дом под колокольней явились гости: инспектор Ступин и старший следователь Иванов.

Отец Викторин вечерню, утреню и обедню служил днем, вечером — комендантский час.

Ступин поставил посреди стола бутылку шнапса. Иванов, здороваясь с Ниной, попросил:

— Принеси две тарелки.

На одну положил великолепный бекон, на другую прямо из кармана насыпал шоколадных конфет.

Отец Викторин был озадачен, но молчал. Гостей пристыдила Полина Антоновна:

— Вы что — нехристи? Нынче Великая Среда, земные поклоны прекращены до Троицы, а вы — сало, водку!

— Промахнулись! — Ступин отнес шнапс в переднюю, спрятал в карман шинели. — Сало доброе, на Пасху покушаете... Мы согласны с Дмитрием Ивановичем на чаек.

— Чай подам! — сказала Полина Антоновна. — Но пост мы держим строго. К чаю — черные сухари.

Батюшка Викторин прочитал молитву, сел за стол.

— Отец Викторин, за какую сторону ты молишься? — спросил, улыбаясь, словно бы шуткуя, Ступин. — За тех, кто здесь, или за тех, кто — там?

— За всех батюшка молится! — отрезала Полина Антоновна. — Господь с Креста разбойника благословил.

— У немцев Пасха уже была, — сказал Ступин. — Как раз бои случились в лесу, а на нашу Пасху партизан, скорее всего, выкурят из Брынских чащоб. Получается, Христос немецкое оружие благословляет.

Нина принесла фарфоровый чайник, расставила чашки. Матушка на подносе подала сухарики и сахарин.

— А было когда-нибудь, — спросил Митька, — попы помолились — и вот она, победа?

— Было, — сказал Ступин. — И по-другому было: помолились, а враг стену развалил и всех верующих зарезал.

Отец Викторин намочил сухарь и теперь похрустывал.

— А ведь не хуже сала! — засмеялся Митька. Сухарики он грыз, и ему было вкусно, на Нину все поглядывал.

— Знаете, что я слышал? — спросил Ступин. — Хоть верьте, хоть не верьте! Сталин в кремлевских церквах молится.

— В соборах? — спросил отец Викторин.

— В тайных церквах, в самом Кремлевском дворце.

— О домашних царских церквах я читал когда-то у Забелина, — сказал отец Викторин. — Это не тайные, это внутренние церкви для семьи царя. Возможно, Сталин и бывает там, но кто это может знать?

— Один пленный командарм рассказал.

Батюшка пил чай и разговора не поддержал. Ступин обиделся:

— Батюшка, люди знают всё! От ангела или от черта — это, смотря, кто кому друг... Я вот слышал, что отец Викторин с НКВД водил дружбу. Прошу прощения, но такое говорят.

— Может быть, и говорят. — Отец Викторин был спокоен. — Правильнее сказать, наговаривают.

— Завистники, что ли? — усмехнулся Иванов. — Такие, как отец Николай?

— Отец Николай ревновал. На его службах народа было немного. Но я ушел из церкви, оставил ему приход, уверен, он не писал на меня доносов в НКВД, а теперь мы в разных храмах. Отец Николай не получил духовного образования, но он человек честный.

У Иванова в глазах вспыхивали огоньки.

— Ну, а все-таки?.. Всех пересажали, а Зарецкого почему-то обошли?

— Потому и обошли! — рассерчала Полина Антоновна. — Колокольный дворянин Зарецкий оставил место и пошел в счетоводы.

Митька взял очередной сухарик, подкинул, поймал.

— Я уверен, господин Зарецкий и сестра его Олимпиада — одного поля ягодки. Улик у меня, что верно, то верно, никаких, а нюхом очень даже чую: с Золотухиным заодно.

Полина Антоновна с тревогой смотрела на батюшку: почему терпит это?

Отец Викторин улыбнулся:

— Вы молоды, Дмитрий Иванович! Однако дарования ваши — налицо. Ко мне на исповедь приходили молодые и не очень молодые женщины, избытые страшно! И ни одна из них — заметьте себе, в исповеди! — не обмолвилась, что побывала в вашем рабочем кабинете, в вашем очень страшном для всего Людинова доме... Вы великий мастер запугивания. Скажите, как мне понимать все эти разговоры? — Отец Викторин повернулся к Ступину. — Между прочим, перед Бородинским сражением Кутузов приказал показать войску нескольких священников, над которыми издевались французы. Для того, чтоб русские солдаты знали, кого они насаживают на штыки.

Встал, перекрестился на икону.

— У меня нет дивизий, которые защитили бы меня от обидчиков. Одна только вера в Божию милость.

Ступин тоже поднялся.

— Ладно, батюшка! Не серчай. Мы провели новый набор в полицию. В Светлую седмицу можно ли привести их — клятву принять?

— Только не в Воскресенье!

Иванов тоже встал из-за стола. Спросил Нину:

— Может, погуляем?

— Великий пост, молодой человек! — строго сказал отец Викторин. — Помолитесь. Время покаяния.

Браслет из платины

Бродяжка Щербаков пришел в Казанский собор святить творожную пасху и десяток яиц, выкрашенных в шелухе лука.

Дорога у Щербакова была длинная, от самого Золотухина нес восточку. Важности необычайной. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергей обратился к православным с пасхальным словом.

Отец Викторин читал это слово домашним, то и дело останавливаясь: слезы мешали.

— «Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто тучами, страна наша все еще терпит лютое нашествие фашистов. — Горечь была в этих словах, и тотчас звучала вера в лучшее: — Но тьма не победит света, хоть бы на время и заслоняла его. Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать своим знамением языческую свастику. Не забудем слов: “Сим победиши”. Не свастика, а Крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше “христианское жительство”. В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его...»

— Мы — победим! — сказал батюшка. — Надо переписать послание Сергея и раздать самым надежным прихожанам.

— Только не теперь! — твердо возразила Полина Антоновна. — Если к нам приставлены Ступин с Ивановым, дело очень нехорошее.

— Кто их приставлял? Чутье у них собачье, вот только не ведают, к чему прицепиться.

— Я и говорю. Нельзя рисковать, батюшка.

На Пасхальную службу фон Бенкендорф выдал пропуска. В Казанском соборе собрались прихожане и полицаи. Полицаев чуть ли не сотня, но свечи горели на удивленье светло, празднично.

Когда после службы разговлялись, Нина сказала отцу:

— Я заметила, как разное звучало нынче «Христос воскрес!»». Наши восклицали с такой надеждой, что я слезами умылась.

— Кто — наши? — не поняла Полина Антоновна.
— Женщины, дети...

— По-моему, бас Стулова всех покрывал, — сказал отец Викторин.

— Папа! И Ступин кричал: «Христос воскрес!», Иванов кричал, сестрица его. Все, кто в черном. У них был азарт. Они себя хозяевами в церкви чувствовали. Папа, они не Воскресению радовались, а тому, что Христос — их собственность.

Матушка нахмурилась:

— Нина, пожалуйста, не умничай. Христос для всех Христос.

Нина прижалась к матери.

— Нет, нет! Я, может, рассказать не умею, но мне было страшно слушать полицаев.

— Похристосуемся! — сказал отец Викторин семейству. Олимпиада тоже пришла на разговорение. — Я, Нина, так скажу. Я тоже усмотрел разъединение в единой, казалось бы, радости: Господь воскрес из мертвых. В нынешнюю ночь, такую всегдажданную, вместе с Христом воскресли далеко не все. В иных возгласах — ты права, Нина, — истины не было.

Днем к Зарецким пришел христосоваться Иванов. Явился к столу, принес жареную индейку, удивительные писанки. К Нине разбежался с поцелуями, но матушка сказала строго:

— Ликоваться — не значит целоваться.

Застолье, с рюмкой кагора, из-за гостя было молчаливое. Тогда Митька сказал, указывая на окно:

— Сегодня ради Пасхи — солнце. Я даже стихи вдруг вспомнил:

Ласковый ангел! Мудрый солнцелов!
Твои уста воистину стоусты —
Но разве ты не чувствуешь, как густо
Часы стекают с солнечных часов?..

Нина, мне обещали букет нарциссов. Сходим за ними.

— Какие теперь цветы?! Начало апреля! — удивилась матушка.

— Это недалеко. Через полчаса, в крайнем случае через сорок минут, я доставлю Нину домой. С цветами.

На Иванове был дорогой, ладно сидящий костюм. Рубашка ослепительно белая, галстук строгий, соответствующий.

Красивый, воспитанный молодой человек.

— Это вы Рильке читали? — спросил отец Викторин.

— Стихи об ангеле.

На улице было ветрено.

— Зато океан синевы! — сказал Митька и достал из кармана пальто серебряные часы на серебряном браслете, с искрами.

— Это тебе, Нина!

Положил часы ей в руки.

— Наверное, дорогие. Серебро.

Митька засмеялся. Зубы белые, лицо милое.

— Тебе? Серебро? Нина, ты себя совершенно не ценишь! Дорогуша моя, это — платина. Возможно, какой-то сплав, но платина. Платина дороже золота. Прими!

Нина, как всегда, зарделась:

— Не возьму! Такие подарки дарят невестам.

— Ну и прекрасно, что невестам.

— Мне шестнадцать лет.

— А мне — двадцать один. Я для тебя старый, что ли?

Нина сдвинула брови и замолчала.

— Мне холодно. Отведи меня домой.

— А цветы? Потерпи пять минут.

Он вошел в калитку деревянного дома. Вернулся быстро, с нарциссами.

— У них есть теплица! Грядка, закрытая рамой. — Митька подал цветы и уже собирался было надеть браслет на руку Нине.

— Убери! Или я брошу цветы.

Шли обратно молча. Возле дома Митька заторопился.

— Мы с тобой могли бы, через какое-то время, разумеется, уехать в Германию, потом перебраться во Францию или в Швейцарию.

— Мне рано замуж, — сказала Нина, поднимаясь на крыльцо.

— Сегодня ветрено. Когда потеплеет, и ты станешь добрей ко мне.

Засмеялся. Поиграл огоньками.

— Это ведь бриллианты.

Уже на другой день, в церкви, на службе, Нина услышала шепот двух женщин:

— Посмотри! На этой девчонке мои часы! Подарок бабушки.

— Тише! — испугалась старшая. Нина узнала в ней учительницу Клавдию Васильевну. — Это родная сестра Иванова. Валентина, кажется.

— Точно, Иванов! Он с этим огромным, со Стуловым, приходил ко мне с обыском. Ничего не нашли, но ограбили.

— Тише! — Клавдия Васильевна отошла от знакомой, словно бы свечку поставить.

Нина тоже зажгла свечу, встала возле сестры Иванова. Браслет был тот самый, с искрами, пускающими длинные синие лучики.

«Хорош подарочек невесте».

Нина вздрогнула, так ей вдруг стало холодно. Вчера Митька ведь очень нравился: Рильке, нарциссы, платина...

Все, что на нем, — награбленное.

Нина вышла из церкви. Ей хотелось плакать. Было стыдно, было горько. И она плакала. Деревья в парке темные от влаги, с голых веточек — тоже слезы. Весна.

Исповедники

Орден боевого Красного Знамени прислали Герасиму Семеновичу Зайцеву в его леса самолетом.

Первый орден в Людиновском отряде. Славный орден. У маршала Буденного, у маршала Ворошилова, у самых любимых героев Гражданской войны — ордена боевого Красного Знамени.

Вот когда сердце заплакало, не прощая разлуки. Радость тогда и радость, если есть с кем ею поделиться. У Герасима Семеновича для себя — треть жизни, две трети — Ефимии Васильевне, супруге ненаглядной, и Лизушке, дочери милой, партизанке смышленной. В войну заигрался. Автомат в руки — тра-та-та-та! Из-за дерева весело палить. Ответные пули сосны принимают. Оставил жену и дочь на заклятие.

Герасим Семенович ходил-таки в Думлово. Вокруг да около. Две роты на постое. Своих — ни единого мужика. Вернее, один-разъединый и остался: Ваня Калиничев. И он бы ушел. Да где ему по лесам бегать — слепой. Свет видит, а лица не различит. Немцы его в старосты определили. Лиза под дубом донесение оставила. Ее рукой писано то, что Калиничев диктовал: «Прислано две роты фронтовиков. До десятка пулеметов, есть минометы и огнемёт».

Не знал новый думловский староста: фон Бенкендорф отдал приказ арестовать семью партизана

Зайцева и в тот же день произвести показательный расстрел.

Волостной старшина Гуков, опередив карателей, прислал Калиничеву своего человека: за семейством Зайцева учинить надзор — главное, чтоб в лес не сбежали.

Калиничев тотчас отправил к Ефимии Васильевне свою мать: не мешкая, пришли Лизу, не то будет поздно. А как прислать? По деревне пройдемь — увидят. Схитрили, матушка Калиничева привезла в санках для козы своей ворошок сена. У Зайцевых, известное дело, сено медом пахнет. Под сеном калачиком — Лиза.

У старосты уже был заготовлен пропуск на имя Веры Апокиной, жительницы деревни Курганье.

Дали Вере-Лизе санки, в санки положили корчагу соленой капусты, крынку соленых грибов и мешочек на три-четыре фунта, отруби вперемешку с просом.

Девочку, сменявшую тапки на еду, пропустили. До Курганья она дошла. А следом слух прилетел — Ефимию Васильевну полицаи расстреляли прилюдно. Искали ее дочь, не нашли.

От греха Лизу отправили из Курганья к другим родственникам — в Черный Поток, совсем иная сторона. В Черном Потоке искать дочь Герасима Зайцева, водившего за нос самого Бенкендорфа, немцы не догадаются.

В эти страшные для Думлова дни Семен Щербаков принес Золотухину донесение из Людинова: «Из 40 человек, предназначенных для отправки в Германию на работу, 28 человек дали согласие уйти в партизанский отряд, что в д. Косичино. Пять человек изъявили желание уйти в партизаны, что в д. Куява. Попавшего в плен молодого партизана из п. Сукремль Кабанова Женю спасти от угона в Германию невозможно. Непобежденная».

Записка пролежала в тайнике слишком долго. Тридцать три молодых партизана уже пополнили отряды, а вот сообщение о Кабанове — новость! Печальная, но не худшая: жив.

— Спасибо за службу! — сказал Семену Золотухин. — Три дня отдыха. Потом надо будет сходить к Бабурину, а на обратном пути завернешь в Людиново, проверишь тайники. Если ничего не будет, ступай в церковь, в Казанскую, покажись на глаза священнику.

Не ведал партизанский начальник: вокруг отца Викторина жизнь шла очень даже непростая.

Повадился ходить в гости старший следователь Иванов — обожатель Нины.

Гостя стерпели раз, другой... А потом Полина Антоновна отправила дочь к соседке.

Иванов ждал, не дождался.

Через день — вот он. А Нины опять нет.

— Вы что?! Вы прячете дочь от меня? Полицай неугоден? — закричал на батюшку Митька.

— Нина и матушка пошли к болящей.

— Что это за болящая? Где?

— Болящая — учительница. Смирнова Клавдия Васильевна.

— Смирнова? — Митька аж серым стал. Смирнову он вызывал к себе, сам порол, Стулову отдал, а тот перестарался.

Не повезло Митьке и в очередной приход.

— Я ведь обидеться могу, — тихо сказал полицай, шаря рукой на поясе, пока не нашел кобуру.

— Дмитрий Иванович! — Батюшка — само смирение. — Нину Викторовну вызвала к себе фрау Магда! Фрау Магда угощает детей в ознаменование дня рождения фюрера.

Митька больше не появлялся в доме под колокольней. Зато заявился великан Стулов. Глядел ясными глазами — сама наивность, недоросль.

— Меня берут в начальники полиции, в Бытошь! Здешние грехи замолить бы надо.

— Имя? — спросил отец Викторин.

— Василий. Я, батюшка, всю правду тебе выложу.

— Исповедь и должна быть правдой!

— Эх, батюшка! За просто так в начальники не ставят. Я хоть не зверь, но маленько зверствовал. Разбойников, я слышал, Бог прощал.

— Разбойников прощал, — согласился отец Викторин.

— Девчонку я застрелил. Партизанку. В молчанку взялась с нами играть. Бью — орет! Спрашиваю — молчит. Намаюсь с дурой. Пристрелил. Батюшка, я и по-доброму могу. Двух или трех, не лупя, отпустил. Девчонки, а туда же — Германии противиться. Правду сказать, насилдовал. Не отпустить же без внушения! Жалел, в общем. Кожа девичья — шелковая. Всех, конечно, помиловать невозможно...

Призадумался полицейай:

— Все надо выкладывать?.. Тебе, батюшка, слушать это — каково? В деревне, не помню, как называется, — в трех крайних избах подчистую семейства постреляли. Старых, малых... Хлеб партизанам пекли. Батюшка, так ведь — война!

Глаза — голубые пуговики. Лицо честное.

— Батюшка! А ежели война, может, и не надо исповедоваться? На войне убийство не засчитывается как убийство. Чего скажешь, простятся мне прегрешения?

— Суд у Бога, — сказал отец Викторин и снял епитрахиль, не прочитав разрешительной молитвы.

— А мне и теперь полегче стало! — признался Стулов. — Пойду.

Хорошо хоть не потребовал причастия...

Назавтра еще исповедник: полицай Сергей Сухоруков. У этого исповедь была похожа на донос. Он-де служит, чтоб не голодать, а вот Серега Сахаров — злодей. Партизанку застрелил — поздно вечером шла в сторону Заболотья. Иванов — злодей. Вежливым прикидывается, а как возьметесь пытаться, обязательно пальцы переломает. И, главное, на левой руке, хоть у мужика, хоть у женщины. За свое ранение мстит. Приказал учительницу Смирнову Клавдию Васильевну резиновым шлангом бить. И прямо-таки орал: «Сильней! Сильней! Лупи так, чтоб рубцы вспухли!»

На следующей службе исповедался сам Иванов: — Батюшка, я знаю: говорить надо, как есть. Во-первых, дочку твою хочу замуж взять. Не отдашь — не утерплю, изнасилую... А еще, батюшка, я всем нутром моим чую: ты — советской власти служишь. Ты — самый настоящий партизан. Я тебя на чистую воду выведу. И сестрицу твою. Пока не попалась, но она — немцам враг. Меня не проведешь.

Подумал, глаза закатил:

— Да! Вот что. В Страстную неделю я трех девок изнасиловал. Грешен. Но двух отпустил с миром. Одну, правда, пришлось расстрелять. Два хороших дела на одно плохое.

Нагнул голову, однако батюшка не покрыл Митьку епитрахилью:

— Раб Божий Дмитрий! В тебе нет покаяния. Ты красуешься злыми делами. Приходи, когда будешь готов ответить Богу за все печальное, что есть в твоей жизни.

Батюшка взял Евангелие, крест и ушел в алтарь. Начал службу.

Митька повел глазами, как бритвой, по прихожанам. Но до него никому дела не было. Никакого! Он хоть и стоял в храме, да ведь — не существовал. Для этих теток, бабок, детишек.

Вскинул глаза на Спаса. Спас смотрел, но так смотрел, что Митька даже повернулся... Кто стоит за его спиной?

«Не существую?.. Для Бога не существую?.. Напугали! Я — Германии свой человек!»

Вышел из церкви, гремя сапогами.

На улице сник. Храм высоко в небо уходит, небо бездонное... И все это — не его. Покосился на кресты офицерских могил.

Сорвался с места. И — остановился. Спешу? В кабинет? Орать? Бить до крови, стегать до крови?

И вдруг открылось. Его отец расстрелян такими же, как Митька. Такими же! Такими же подлецами, хотя энкавэдэшник Кермель — жид пархатый. Но Иван Иванович, отец родной, — в Казанской, в алтаре, с этим партизаном Зарецким.

— Отдохнуть бы! — сказал Митька вслух, поднял руку перекреститься, а рука не поднялась, буд-то не его.

Мины к празднику

На приеме в честь дня рождения Адольфа Гитлера фрау Магда подчеркнуто опекала семейство Зарецких. Нина тоже была приглашена и оказалась неожиданным цветком среди официоза. С Ниной говорил генерал, Ниной любовался фон Бенкендорф.

— Это ведь тоже наше завоевание, — сказал граф Айзенгуту, указывая глазами на юную переводчицу.

Митька Иванов во время приема был неподалеку от коменданта. Иванов — любимчик Бенкендорфа, быстр умом, исполнительен, предан.

А фрау Магда улучила минуту выслушать отца Викторина. Ее возмутили враждебные наезды Иванова и Ступина на священника, на его семейство. Дальновидная фрау Магда имела политические

и даже патриотические виды на Зарецких. Только через Церковь, считала она, возможно сближение народа Германии и народа России. Только в храме наблюдается спокойствие и благожелательность. Отец Викторин — проповедник от Бога. Его проповеди подчас очень смелы, но их результат — к пользе властей.

Проповеди Викторина Зарецкого спасают население от губельного уныния. Если же говорить честно — от слепой ненависти к Германии.

После приема у коменданта полицаи оставили батюшку Викторина в покое. Митька тоже угомонился.

Скоро 1 мая, советский праздник. Праздника ради на окраинах города, на всех его дорогах начали подрываться автомобили. Иногда жестоко: взрывчатку партизаны не экономили.

Мины ставили братья Апатьевы, Саша Лясоцкий, Алеша, но самыми удачливыми подрывниками были девочки — Римма Фирсова и Тоня Хрычкова.

На охоту за машинами они выходили ночью. Мины несли в корзинке, а то и в авоське. Огородами пробирались в лес, лесом — на окраины города. Грунтовая дорога податливая, углубил ямку, заложил мину, присыпал землей. Сапоги солдат в ночной тишине далеко слышно, тем более — мотоцикл. Не попадались, хотя немцы увеличили число патрулей. Набравшись храбрости, Римма и Тоня стали минировать улицы. Спозаранок взорвались три машины, через день разнесло в куски мотоцикл с мотоциклистами. Подорвалась повозка.

Устанавливая мины, Римма приговаривала:

— Эта им за меня, собакам! И эта за меня! Русских девочек обижать? Получайте!

Техника выходила из строя немецкая, а вот возчики и шофера чаще всего были русские. Легионеры.

Свою обиду Римма оценила в пять взрывов. Ста-
ла ставить мины: «за папу» — папа был на фронте.
«За маму, за братьев, за сестер».

Тоня сердилась на подругу:

— Зачем ты говоришь: «за маму, за папу»? Наши
мины могут до смерти убить.

— Ладно! — согласилась Римма. — В Усохах
немцы расстреляли мою бабушку, мамину маму,
и мою тетю — мамину родную сестру, да еще трех
маленьких братьев — двоюродных. Пусть мины
мстят за убитых.

Для начала поставила мину за Павлика — ему
было два года, и за Петю — пятилеточку.

Заряды килограммовые, а Римма их сдвоила.
Одна ловушка ждала немцев прямо на улице, дру-
гая — при выезде на дорогу.

Немцы направлялись громить партизанские
деревни. Машина с двадцатью солдатами взорва-
лась на городской улице. Каратели в ярости про-
гнали по этой улице жителей домов. Обошлось.

Снова в путь и — второй взрыв. Еще двадцать
трупов.

Миноискатели у немцев не срабатывали. Парти-
занский профессор минного дела Григорий Сазон-
кин металлические корпуса мин заменял на кар-
тонные. Капсюли тоже ставили из картона.

В тот страшный для себя день немцы подави-
ли танками заборы и палисадники. Машины шли
теперь под окнами домов. Ставьте свои мины, това-
рищи партизаны! Калечьте своих людей!

Присмирела минная буря.

— Я знаю, чего мы сделаем, — сказал Толя Апа-
тьев Шумавцову. Они натягивали провода на новые
столбы. Старые сами же и рванули. — Мы разведем
вшивых немцев.

Смешную затею Толи Апатьева изучил основа-
тельный человек Саша Лясоцкий.

Оказалось, баня при больнице теперь не только баня, но военный объект. Немцы устроили санпропускник, прогоняют через него взводы, роты, батальоны, отозванные с фронта, а также и те, что направляются на фронт. При бане был склад солдатского белья. Нижнее белье — не фугасы, не патроны. Часовых здесь не ставили.

Апатьев и Лясоцкий забрались ночью в санприемник, приготовили диверсию.

5 мая немцы привезли на склад две машины обмундирования и нижнего белья, значит, ждали батальон.

Прожарить вшей, помыться, одеться в чистое немецким фронтовикам в тот раз не пришлось.

В ночь на 6 мая склад сгорел. Расследование было недолгим: короткое замыкание. Виноватых искать не стали.

Донесение Орла тоже было кратким: «В ночь с 5 на 6 мая уничтожен склад с обмундированием и санпункт обработки немецких войск».

Невелик ущерб для германских вооруженных сил, но ведь все-таки не прибыль.

Побег из баньки

Семену Щербакову Золотухин, провожая в разведку, уточнил задание: в Людинове надо встретиться с Володей Рыбкиным, передать Ясному и Непобежденной сообщение: «Отряд уходит выполнять приказ Красной армии, будет действовать в прифронтной полосе. Подпольщикам предоставляется самостоятельность. Для проведения диверсий получите новые образцы мин. Следует подготовиться к интенсивной разведке в условиях лета и к особо строгой проверке со стороны немцев и полицаев».

К Людинову Семен подошел под вечер. Пилы визжат, земля охает, будто ей под дых бьют.

Подкрался ближе: лес немцы сводят. Кому столько деревьев понадобилось? Причем без разбора валят. Деревья-великаны, пятерым мужикам не обхватить, и дерева-свечечки.

Смекнул. Пустырем от партизан огораживают Людиново. Вообще-то ничего хорошего. Днем будет не пройти в город.

Семен дождался ночи. Проскользнул по Людинову невидимкой.

Володьку Рыбкина условным стуком на крыльцо вызвал. Запустил палкой в дверь. Вот тебе и пароль.

Немцев у Рыбкиных не было. Домишко невзрачный. Володькин отец находился в отряде. Семен принес подарок от него — немецкие армейские ботинки.

— Скоро фрицев побьем? — спросил Володька.

— Пока они нас по лесам гоняют! — сказал Семен правду.

— Немцы объявили о разгроме маршала Тимошенко под Харьковом. Миллион солдат взяли в плен. Это правда?

— Не знаю. Нам такой правды не скажут.

Щербаков ночевал у Рыбкиных. Утром Володя проверил тайники. Принес донесение:

«На территории локомобильного завода в сборочном цехе № 1 расположен склад патронов в ящиках, и каждый день машины загружаются легионерами и уходят на передовую. Проникнуть гражданскому человеку невозможно, круглосуточно охраняются усиленной охраной... Ориентиры: западнее котельной 200 метров, юго-западнее отдельного белого здания 50 метров. Заход: северный угол верхней плотины озера. Орел».

— Ты Орла знаешь? — спросил Семен.

— Знаю. Наш командир.

Семен ушел из Людинова ночью.

У него было еще одно задание: найти отряд Бабурина. Добрался без приключений до деревни, а там немцы побывали. Немцы взяли в заложники детей и стариков, а партизанских жен отправили в лес за мужьями. Несколько женщин привели мужей. Немцы, как и обещали, никого не тронули, но мужчин забрали в легионеры: пилить лес вокруг Людинова. Бенкендорф приказал оградить от партизан город полуторакилометровым пустырем.

Семен привык к хорошему — в деревнях все свои, — не поостерегся, спрашивал много. Вот его и угостили, как в родном доме: дали щей, кружку молока, ломоть хлеба. А из дома за порог — два полицаи.

Полицаи Семена — по морде и заперли в банке. Один полицаи остался стеречь, другой пошел искать старосту — взять у него лошадь, партизана в город везти.

День был истинно майский. Первая благодатная жара. А у сторожа Семенова с собой — бутылка самогона, уже початая.

Полицаи, расположась на травке, разомлел. Ну, а Семену нельзя было время терять. Ощупал углы, попробовал потолок. На одну доску налег — поднимается. Доску вынул, протиснулся под крышу. Крыша — гнилая. Проломил, выпал на землю. Тут полицаи и продрал глаза.

Семен винтовку схватил первым. Винтовка русская, со штыком.

Всадил штык в пьяного дурака, патрон — в ствол, и — по огороду, в лес. Ушел. Доставил донесения Орла Золотухину.

На другой день локомотивный завод атаковали с неба. Орел доложил: «Первые бомбы упали рядом. Вторым заходом — прямым попаданием — был вызван взрыв огромной силы. Разрушен корпус. Оккупанты боятся, ищут партизан».

Лесник Царьков

Великолепие мая породило великолепную грозу. Молнии покрывали небо узорами, будто здесь, среди золотых сосен Брынского леса, расцвел Аленький цветочек и Чудище несусветное писало ослепительное признание в любви.

По земле, однако, шагал двадцатый век. Война поглотила сказки, дети постарше взяли в руки оружие, а малые научились прятаться от смерти.

Над Косичино, над Куявой, следом за грозовой тучей налетели «Юнкерсы». Немецкая разведка знала партизанские тайны. Бомбы рвались в чащобах, где были склады и землянки. Правда, уже пустые, если речь о схронах, и оставленные, если — о землянках.

Партизаны получили приказ Москвы перейти в прифронтовую зону и заняться разведывательно-диверсионной работой.

Но Косичино и Куява всё еще были партизанские. После бомбардировки немецкие батальоны, снятые с фронта, вступили в лес, пуская перед собой самоходные орудия. Лес под снарядами стоял, как стояли русские солдаты под картечью на Бородинском поле. А вот когда пошла вперед живая сила, партизанское оружие показало свою неуступчивость.

Лесник Царьков был в тот день вторым номером при скорострельном пулемете Пряхина. Пулемет — трофейный. Сняли с «мессершмитта». То ли летчик заигрался в догонялки — зацепил сосну, расстреливая партизанский лес, то ли был сбит очередью с земли, но Володя Коротков на такой пулемет нарадоваться не мог, приговаривал:

— Ребята, лес — за нас! Вон какой от него подарочек!

Немцам, чтобы двигаться дальше, пришлось пересечь просеку. Коротков выждал, когда на от-

крытое место выйдет как можно больше солдат, и дал сигнал пулеметчикам.

Пулеметчики у Короткова — мальчишки, по пятнадцати-шестнадцати лет: Коля Андронов, Миша Степичев, Юдин... Опытному Пряхину не намного за двадцать. Фронтовая наука спасла немецких солдат, мишенью были не более трех секунд. Залегли, расползлись, а по огневым точкам партизан ударили минометы.

Отряд у Короткова, как всегда, был небольшой — двадцать партизан. Половина из них по возрасту — допризывники, а что ни мина — веер смертоносных осколков.

Пулеметы замолчали. Мальчишки не стали ждать, когда их накроет стальным веером, — отступили. Пряхин не растерялся. Поменял позицию и открыл огонь по минометам. Скорострельный пулемет — чудовище. Минометчикам пришлось залечь. Отряд Короткова оторвался от противника, растворился в лесах.

Партизанам казалось: война у них идет с немцами очень даже успешная. Немцы вынуждены снять с фронта элитные подразделения СС, перебросить для сражения с лесом артиллерию, отвлекать от армейских нужд авиацию. Наконец, немцы в боях с партизанами несут потери. Два сбитых самолета — утрата для великой Германии никак не ощутимая. Но самолеты эти уже не сражаются с нашими летчиками, немецкие асы в строй уже не вернутся.

На счету мальчика Миши Степичева — шестьдесят солдат. Шестьдесят воинов-победителей, прошедших Европу и Россию до Москвы. Их заменят, но уже не герои. Их заменят солдаты или очень молодые, или те, кому за сорок, для которых провал наступления на Москву — утрата веры, пусть и скрываемая, в непобедимость Гитлера.

Партизаны не понимали: в июле 1941 года немцы открыли еще один фронт. Нападению подверглись женщины и дети русской деревни. Началась кампания по изгнанию русского народа с Русской земли.

Пока это был эксперимент.

Бенкендорф, потомок Бенкендорфа, перерезал пуповину: отсек Россию от русских. Из сел и деревень изгонялось все население. Июнь — месяц голодный, а в деревнях — пусто. Негде партизанам подкормиться. В больших селах и деревнях, в том же Косичино, в Куяве, каменные дома переделывались немцами в огневые крепости.

В населенных пунктах, более далеких от партизанских отрядов, Бенкендорф проводил в жизнь иную схему приручения русских.

Немцы арестовали жену и детей лесника Царькова. Ему за тридцать, жене — двадцать восемь, детям — девять, семь, шесть, четыре, три, два... Детей немцы взяли в заложники, мать послали в лес искать мужа.

Нашла. Как-никак жена лесника.

Наивный, лесной человек!

Не таилась от партизанского начальства. Самому секретарю подпольного райкома Афанасию Суровцеву, в глаза глядя, сказала:

— Отпусти мужа! Не придет — детей расстреляют.

Афанасий Федорович усадил женщину на пенек — партизанский стул, сам сел на другой:

— Страшное положение. Если вы вернетесь — вас всех расстреляют. А если останетесь, думаю, немцы не посмеют поднять руку на малолетних детей.

— Они сами стрелять не будут, — сказала мать. — Заставят полицаев перебить ребятишек. Полицаи, сам знаешь, — наши, самогонкой зальют глаза, да прикладами по головам... — поднялась. —

Меня держать не смей. Задержусь — погублю сыночков. А лесника моего не отпустишь — возьмешь грех на душу: меня и детей постреляют.

Царьков возле командирской землянки жену ждал. Партизаны тоже стоят, смотрят.

— Исхудал, — пожалела жена мужа. — Прощай на всякий случай! — Глаза отерла и мимо тропы — в лес. Станут искать, чтоб вернуть, лес укроет — свой, ухоженный трудами.

Царькова, не давши ему возможности опомниться, позвал к себе Суровцев.

— Уйдешь — немцы всех родственников партизан похватают. И тебя они не помилуют, уничтожат вместе с семьей.

Царьков молчал.

— Ты слушаешь меня?

— Слушаю.

Суровцев за голову схватился.

— Ударить — сил мало! Немцы дивизию пригнали выкуривать нас из лесов... Дети, семья... Понимаю, но есть Родина, есть народ. Все тайные службы, Царьков, одинаковы. Слабину дал — в оборот возьмут. Сегодня ты партизан, воин, русский богатырь. А из тебя они сделают Иуду. И будешь ты врагом Родины, врагом народа. Из детей твоих, если не расстреляют, тоже предателей вырастят.

От комиссара Царьков в роту вернулся. Никто ничего ему не сказал. Какие тут слова! Все знали детишек лесника — мал мала. Белоголовые, деловитые. Помощники мамины. Даже самый маленький щепочки подбирал.

Спросили работничка:

«Зачем тебе щепки?»

Удивился:

«На растопку! Зима долгая».

Коротков обнял Царькова. Головой к голове прижался:

— Украсть надо детей твоих.

Вечером лесника-пулеметчика позвал к себе Золотухин. Сказал правду:

— Хуже еще не было. Помочь тебе невозможно... Одно скажу: уйдешь — погубишь себя и детей своих погубишь. Позором заклеишь имя рода своего. Предают сегодня, а слава худая — на веки вечные.

— Что же мне делать-то? — вырвалось из груди Царькова.

— Сражаться со зверем... Если сотворит худшее — мстить до полного уничтожения.

Царьков кивнул, соглашаясь.

Ушел ночью. Поднялся, сказал караульному:

— По нужде.

Все понимали, каково Царькову.

Погони не было.

А то, что было, — война на себя записала.

Вернулся Царьков домой, жена ему, партизану вшивому, баньку затопила. Напарился, облачился в чистое, тут бы в кругу семейства, за самоваром поблаженствовать — немцы, вот они.

Вежливый офицер, по-русски знает:

— Вы нам должны немножко помочь.

Увел Царькова с собой, а в доме оставил двух автоматчиков с канистрой бензина.

Повел лесник немцев на ту самую стоянку отряда Короткова, откуда сам ушел. Место обжитое, но, во-первых, лето на дворе, всюду хорошо. Во-вторых, если немцы о базе знают, то придут... Коротков — разведчик, опасность должен чують загодя.

Нет! Не увел отряд Володя. На совесть Царькова понадеялся. Но какая совесть, если Ваню со щепочкой для растопки сожгут в избе с братьями, с матерью?

А вот немцы, ведомые лесником, оказалось, имели выучку особую. Никто из двадцати разведчиков, даже Коротков, проснуться не успели.

Миша Степичев уцелел с Колей Андроновым, потому что пулями были задеты в последнем бою. В госпитале, под доброй опекой партизанской мамы, сил набирались.

Майские беды 1942 года

Партизанской матерью в отряде называли Василису Федоровну Юдину. Она была лесником, заменила мужа. Работа в лесу трудная, но матери помогали две старшие дочери, Мила и Тоня; третья, младшая, была с рождения больная. Умница, а ноги ходили плохо, руки искорежены, речь невнятная, зато личиком — ангел.

Дом Василисы Федоровны стоял в дебрях лесных. А лес и с лесником бывает суров. Дважды пришлось вдове схватываться со стаями волков. Один раз спасла от гибели кормилицу корову. Ружье с собой было. Пробилась к дому. Другой раз на дереве всю ночь куковала.

И еще был случай, ужаснувший совсем еще маленьких дочерей. Рой диких пчел сел на их маму. Девчонки, тоже искусанные, бегали на колодец, ведрами воды освободили Василису Федоровну из пчелиного плена, водой же студили укусы. Выжила.

А с немцами Василиса Федоровна до войны дружбу водила. Искала для корабелов Германии сосны на мачты. В каких теперь морях ее красавицы?

Лютая война брынских чащоб не обошла.

В доме Василисы Федоровны жил партизанский командир Медведев, потом Золотухин присмотрел лесниковские хоромы для госпиталя.

На руках Василисы Федоровны умирали мальчишки и отцы семейств. Ее сердцем были выхожены безнадежные.

И — вот она, доля матери. Партизан, сыновей своих, выпроводила, раненых укрыла в потаенных землянках. А сама не ушла, с ангелом осталась своим. Мила и Тоня — тоже при матери. Много ли угрозы от пожилой женщины с тремя дочерьми для рейха, собравшегося жить тысячу лет? Но у немецкого командира — приказ: обезлюдеть территорию. Да ведь и вера у него — фашистская. Будущий мир — достояние полноценных людей.

На глазах матери и сестер немцы расстреляли ангела. Женщин погнали в Жиздру. Молодые сильные девки — годны для отправки в Германию, пожилая — тоже работница.

Ночевать пришлось в лесу. Уже за полночь Василиса Федоровна разбудила дочерей:

— Часовые обходом прошли... Придут минут через пятнадцать. Скорее! От дерева к дереву, без шума. Ночью искать побоятся. Сестру похороните и ступайте в отряд.

— Мама!

— Я свое пожила. С Богом!

Лесных жителей по деревушкам, по кордонам немцы набрали два десятка человек. Кто сбежал — ладно. Привели в Мосеевку. А по дороге в Петровский поселок Василисе Федоровне посчастливилось затеряться в зарослях малинника и крапивы. Дня через три партизанская мама была уже в отряде с дочерьми. И сразу к раненым, к детям своим.

Другая большая беда стряслась в Войлове. Староста выдал немцам Василия Петровича Колесникова, знаменитого председателя колхоза.

Жители Войлова ни в 41-м году, ни в 42-м голода не знали. Изумивший крестьян урожай осени 41-го года Колесников с женщинами и стариками собрал без потерь. Весь хлеб, все овощи и картофель мудрый хозяин отдал колхозникам. Особенно позаботился о многодетных семействах.

И скот у него не пропал. Перегнал овец, коров, лошадей подальше от фронта, сдал государству, сам вернулся домой. Идти пришлось по земле, занятой немцами. С партизанами встретился, был у Золотухина. Дал согласие помогать лесному воинству.

Коммунист, председатель богатейшего колхоза, Василий Петрович вынужден был вести ночную жизнь. Подкармливал отряд Ящерицына, собирал военные сведения. Пронюхал староста: Колесников, оказывается, дома живет. А тут для прочесывания местности прибыл из Бытоши отряд полицаев с их новым начальником Василием Стуловым.

Стулов перед немцами выслуживался как мог. Жестокостью похвалялся.

Не добившись признаний, Стулов выколол глаза Василию Петровичу. Изуродованного, избитого человека провели по Войлову, пугнули людей.

На очередном допросе Стулов взбесился и отрезал язык молчуну. Собирался рассчитаться с семьей председателя — опоздал. Партизаны, пробравшись в Войлово, увезли жену и детей героя.

Брошенное на поругание тело исчезло в первую же ночь. А еще через день полицаи узнали: председатель колхоза Колесников Василий Петрович похоронен партизанами у речки Птиченки с воинскими почестями.

Самолет со звездами

Лиза Зайцева смотрела, как в небе купаются ласточки. Война, но ласточки прилетели, не побоялись. Вдруг Лиза пожалела, что она человек. Были бы с мамой, с папой ласточками, по такому теплу летали бы нынче над родным Думловом.

Когда спасали ее, дочку партизана, было страшно, а все-таки хорошо. За нее, как за родную, многие жизнями рисковали.

Теперь она жила у незнакомых людей, в Черном Потоке. От леса далеко. Деревья тут — рощицами.

В семье, которая приняла ее, совсем чужую, Лизе — четырнадцать, но ее сажали обедать с детьми, и она знала почему. Детям давали больше еды. Лизу совесть замучила! От нее новой семье никакой помощи. С девочками — с Надей, Наташей — они ходили искать щавель и нашли. Ходили за крапивой молодой. Нарвали целую сумку. Крапивные щи вкусные, сметаной закрашивали, а к щавелевому супу полагалось по половинке яйца. Но что еще может она дать семье и сколько придется здесь жить? Войны не убывает.

И вот она, радость! Хозяйки дома — бабушка Ксюша, тетя Александра, мать Нади и Наташи, маленьких мальчиков Гены, Миши, Васеньки, — решили огород под картошку вспахать.

Земля сверху просохла — самая пора. Соха в доме была, а лошадь взять негде.

— Я сильная! — обрадовалась Лиза. — Я потяну!

— Втроем, пожалуй, справитесь, — согласилась тетя Александра. — Бабушка за пахаря, Надя с Наташей пойдут с тобой соху тянуть, а мальчики будут сажать.

Радуюсь погожему дню, многие женщины Черного Потока вышли сажать картошку.

Лиза впряглась в соху весело, а налегла на постромки — ужас! — будто саму землю подцепили.

Работали с отдыхом. Большие картофелины резали надвое.

— Все равно вырастут! — сказала тетя Александра. — Можно было очистки с глазками сажать. Рисковать, однако, страшно.

Гена, старший, ему семь годиков, костерок развел, испечь картошки. На дрова пошли сухие ветки яблонь, вишен. Дым был вкусный.

— Ладно! — сказала тетя Александра. — Солнышко высоко уже стоит. Давайте наляжем, еще семь-восемь борозд — и делу конец. Спасибо тебе, Лизонька.

— Но, лошадки! Но! — закричал Васенька. Ему три годика всего. Размахивая прутиком, подгонял лошадок, бабушке Ксюше помогал.

Вдруг загудело в небе. Женщины, сажавшие огороды, оставили на минутку дела, смотрели на самолет:

— Бабы, со звездами! Наш!

Такая радость...

— Полетел фрицев долбать! — сказал Гена.

Лиза снова налегла на постромки, пошло вроде полегче. Переглянулась с тетей Александрой, тоже улыбается. Ей тоже полегчало. Самолет вдруг развернулся, пошел на снижение. Застрочил пулемет.

— Бомба! — закричала Лиза, кинувшись прочь с поля.

Половина огорода взмыла в небо. В ушах звон сквозь страшную тишину. А самолет со звездами на крыльях сделал еще заход, посмотрел на работу свою, не снижаясь, ушел за край земли.

Лиза видела, как бегут к ним женщины со своих огородов. Звук возвращался в уши толчками. На черной земле белоголовый Васенька, в руке красный прут вербы. Бабушка Ксюша — вот она. Руки опущены, смотрит в небо. Гена и Миша возле бабушки, Надя стоит над Васенькой, Наташа — в сторонке. Рукой руку держит. С руки капает кровь.

Где же тетя Александра?

Звуки вернулись к Лизе, сразу все. Услышала:

— Почему мы?! — кричала бабушка Ксюша.

Это она Бога спрашивает? И тут Лиза сама закричала:

— У него же звезды на крыльях! У него же звезды! Я видела.

Женщины повели, а потом понесли Наташу. К немцам. Рану обработать.

Другие женщины искали, что осталось от тети Александры.

Лиза слышала, как они говорят друг другу:

— Почему баб разбомбил? Он же видел: на поле бабы, дети.

— Решил: на немцев работаем.

— Сталинский сокол! — сказала бабушка.

Женщины обступили Лизу, передали ей Гену, Мишу, Надю.

— Ты теперь за старшую. Веди ребятишек домой. Вам всем лучше поспать.

— А как же... огород?

— Не беспокойся. Посадим.

И тут запричитали:

— Нашли! Есть что похоронить. И колечко цело!

Звук снова исчез: Лиза повела своих братьев и сестру домой.

Война и вера

Победа под Москвой вернула полководцам Сталина дух революционной самоуверенности.

И пошло. Под Харьковом немцы разгромили войска маршала Тимошенко — командующего Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенанта Малиновского — командующего Южным фронтом. Понесли непоправимые потери, попали в окружение и сдались войска генералов Городнянского, Рябышева, Гордова, Москаленко, Подласа, Харитонов, Костенко.

Потеряв сотни тысяч солдат, из котла, устроенного генерал-фельдмаршалом фон Боком, генералами Клейстом, Паулюсом, маршал Тимошенко вывел 22 тысячи бойцов.

В Крыму маршал Буденный и комиссар Мехлис погубили еще несколько сотен тысяч бойцов.

И это не всё! Под Ржевом изнемогала в окружении 2-я Ударная армия генерала Власова. Под Ленинградом, уже в апреле 1942 года, провалилось наступление на Любанском направлении. В самом Ленинграде от голода, болезней, бомбежек и обстрелов погибли 640 тысяч мирных жителей. Слава Богу, героини шоферы по льду Ладожского озера вывезли из города 550 тысяч женщин и детей.

Выходило: Гитлер возвращал себе славу непобедимого фюрера. Его маги гнали тьму на Россию. Она же советская. Безбожная. Ею правят гонители Христа. Так представлялось чародеям сверхсекретных бункеров и замков — хранителей Третьего рейха.

Но в Ленинграде на Пасху 1942 года вокруг уцелевших церквей шли крестные ходы с горящими свечами.

Пасха пришлась на апрель и совпала с 700-летием победы святого князя Александра Невского на Чудском озере, победы пращуров над немецкими рыцарями.

«...Признает ли наша Церковь себя гонимой большевиками и просит ли кого об освобождении от таких гонений? — вопрошал Патриарший Местоблюститель митрополит Сергей в предисловии к книге «Правда о религии в России», и давал ответ на вопрос: — Для тех, кто убежден в наличии гонений, линия поведения, принятая нашей Церковью в отношении фашистского нашествия, конечно, должна казаться вынужденной и не соответствующей внутренним чаяниям Церкви, а молитва о победе Красной армии может казаться лишь отбыванием повинности, проформой, иначе говоря, одним из доказательств несвободы Церкви даже в стенах храма...

В своей внешней обстановке беспомощности мы могли рассчитывать только на нравственную силу

канонической правды, которая и в былые времена не раз сохраняла Церковь от конечного распада. И в своем уповании мы не посрамились...

Наша Русская Церковь не была увлечена и сокрушена вихрем всего происходящего. Она сохранила ясным свое каноническое сознание, а вместе с этим и канонически законное возглавление, то есть благодатную преемственность от Вселенской Церкви и свое законное место в хоре православных автокефальных Церквей. — А дальше было сказано твердо и просто: — Мы, представители Русской Церкви, даже и на мгновение не можем допустить мысли о возможности принять из рук врага какие-либо льготы или выгоды. Совсем не пастырь тот, кто, видя грядущего волка и уже терзающего церковное стадо, будет в душе лелеять мысль об устройстве личных дел. Ясно, что Церковь раз и навсегда должна соединить свою судьбу с судьбою паствы на жизнь и на смерть. И это она делает не из лукавого расчета, что победа обеспечена за нашей страной, а во исполнение лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл жизни в спасении ее детей».

Русскую Православную Церковь не поколебали жесточайшие поражения наших войск.

Господь с Россией... Россия победит.

А Русская земля и впрямь превратилась в землю мучеников.

Конца этой муке и мученичеству не было. Сначала Германская война 1914 года. Ужас революции. Смерть и голод Гражданской войны. Разор, смерть, голод коллективизации. 1937 год. Казни комиссаров, надругавшихся над русским народом, над Церковью при Ленине, при коллективизации, и заодно выкашивание всего умного, самостоятельного, что успело воспрять на Русской земле к 1937 году.

Без передыху — финская позорная война.

И вот война с Гитлером — на уничтожение.

Какую необоримую силу таила в себе наша земля, наш народ! Немецкие солдаты эту силу успели познать уже в 41-м. Но Гитлер снова был зачарован могуществом своих армий. Он не заметил, приготавливая удар на Сталинград, атакуя Одессу и Крым, что его фельдмаршалы целые участки фронтов отдавали армиям итальянцев и румын.

Охрану железных дорог в районе Людинова, Жиздры на Брянщине несли чехи.

Появились части из легионеров. Миллион непобедимых немецких солдат упокоился в русской земле.

Разведчицы

Июнь. Красота Божия. Даже на фронте, под Кировом, где оборону держала 323-я дивизия, — тишина. Немцы с партизанами воюют, но сколь плотен у них фронт, штабу дивизии не удавалось установить. Запросили помощи у Золотухина. И тут осечка. Задача найти проходы в тылы немецкой обороны оказалась невыполнимой и для партизанских разведчиков.

Все дороги под жесточайшим контролем, все прифронтовые деревни для пришлых людей блокированы. Когда мужик русский бессилен, за дело берется женщина.

У Золотухина Мария Михайловна Лясоцкая — палочка-выручалочка.

Мария Михайловна взяла в напарницы Тоню Хотееву. По дорогам не пройти, но земля-то велика. Болотцами, сквозь кустарники, через жгучие заросли крапивы вышли разведчицы на край Людиновского озера, к деревне Носовке.

Несколько часов ждали — никого. И уж за полдень на мостки пришла женщина с корзиной белья.

Мария Михайловна вышла к ней, а та руками машет:

— Спрячься! За мной из деревни полицаи следят. Разговоры с партизанами — это расстрел.

Мария залегла в кусте бузины:

— Ты — наша?

— А чья же? У меня муж на фронте. Трое ребят.

— Тогда скажи, немцы в деревне стоят?

— Наезжают. У нас рота полицаев. Через трясину немцы лежнёвую дорогу стелют. Нас гоняют лес валить.

— А что у них? Может, пушки прячут?

— Пушек нет. Склады, наверное, будут строить. Ящики возят.

— Война далеко от вас?

— Точно не скажу. Тут то немцы, то наши. Теперь во всех деревнях — как раз немцы. В Космачеве их много. Там и фронт, должно быть.

— Как тебя зовут? — спросила Мария Михайловна.

— Дарья Григорьевна.

— Не поможешь ли нам?

— А чем?

— Приходи на мостки. Скажем, по вторникам. Об эту пору.

— Приду. Скорей бы уж погнали немчуру-то! Надоело голову в плечи прятать. Они ж какие? Один шоколадку ребенку сунет... А было дело — верзила мордатый схватил мово маленького и повесил на воротах. За ножки успела поддержать.

Удалась разведка Марии и Тони.

В те же дни со стороны Черного Потока другая наша дивизия пыталась неожиданным ударом пробиться к Людинову. Среди дня обрушился на немцев ад артиллерии, посыпались бомбы и за шквалом огня пошла пехота.

Первую линию обороны заняли красноармейцы шутя. Развивая успех, поспешили к победе и напо-

ролись на доты, дзоты... Немцы ударили с флангов — успех обернулся жестоким поражением.

Только после кровавого урока из штаба битой дивизии пришел запрос партизанам: уточнить систему обороны в районе населенных пунктов Черный Поток — Ясенок.

Та еще задачка! Систему с одного погляда не распознаешь. Шумавцову доставили и приказ, и совет Золотухина: произвести разведку, разведке опираться на девушек.

Алеша пришел к Лясоцким. Говорил, запинаясь:

— Мария Михайловна... Не знаю. Вы уж простите... Приказывают.

— Что приказывают?

— Посылать в разведку девушек... Я не согласен... Но приказ.

— А ты соглашайся! — Засмеялась, провела ладонью по командирской голове: — Волосы у тебя шелковые. — Посмотрела в глаза: — Не красней. Разведка, в какую бы грязь ни окуналась, — дело чистое. Нужно приискать нашей Тоне хахаля, от которого будет прок.

— Где мы такого хахаля сыщем? А Тоня? Что она скажет? Как она посмотрит на нас?

— А знаешь, куда я пойду искать нужного нам теленочка? В бордель. У меня подруга там, верный человек!

Уже на завтра Алеша, Мария и Тоня обсудили план действия и самого кандидата на Тонину любовь.

Владимир Сергеев — легионер. Переводчик при майоре Фогеле, командире батальона.

Немцы Сергееву доверяют, он попал в плен в 41-м. Почти год на службе у немцев, значит, надо быть с ним начеку. Родом — из Ростова.

— Будет он у нас — Ростовский, — окрестил Алеша легионера.

— Ему такая фамилия идет! — улыбнулась Мария Михайловна. — Я с ним разговаривала. С виду человек легкий, а глаза так и просят: не обманите!

Шумавцов нахмурился:

— Как это понимать?

— Думаю, устал он быть немцем, ищет «хорошую» девушку. Хорошеньких и без нас находит, своему Фогелю поставляет. Хорошая для него — настоящая, гордая. Скорее всего, через любовь хочет он от заразы предательства очиститься.

Тоня сидела, отвернувшись от Шумавцова, спросила Марию:

— Я должна спать с ним?

— Он должен прилепиться к тебе. «Кармен» читала?

Шумавцов рассердился:

— Никакой литературы! У нас задание: установить, какая у немцев система обороны, сколько линий обороны — две, три?

Тоня даже порозовела:

— Ты собираешься послать меня с кавалером прогуляться между немецкими окопами?

— Нет! — сказал Алеша. — Между немецкими окопами прогуляюсь я сам, но в форме легионера и хорошо бы с этим переводчиком, знающим язык... Нужны пропуски и два велосипеда.

Тоня обняла командира:

— Прости, Алешка!

Алеша встал, посмотрел на Марию:

— Выходит, я должен отдать Тоне приказ: обворовать!

— Есть! — откликнулась Тоня и не улыбнулась, и Мария Михайловна тоже не улыбнулась. Сказала Тоне:

— Ваша первая встреча — завтра.

Ростовский

Встреча получилась необычайной. Мария Михайловна свела Ростовского с Тоней Хотеевой в Казанском соборе, в праздник Троицы.

Храм, убранный зелеными березами, словно оградил молящихся от войны, от оккупации... Даже полицаев на службе не было — всех отправили по лесным деревням ловить партизан, вынюхивать сочувствующих советской власти.

Отец Викторин прозревал в людях их чудесное состояние — быть самими собой на своей земле.

Мария Лясоцкая предупредила батюшку о Ростовском. Не откроется ли духовному человеку в легионере коварство игры скрытного, натренированного ума, какой-либо маски?

Знакомство Тони и Владимира вышло кратким. Мария Михайловна назвала их друг другу, а разговоры разговаривать не пришлось. «Царю Небесный» пели. Всенародно.

Ростовский с первого взгляда понял: Мария Михайловна, обещавшая познакомить с хорошей девушкой, слово сдержала.

Антонина лицом хороша, прелестями женскими, хотя и скрывает их, притягательна. А вот глаза — недотроги, в стати — все серьезно. Девушка — не для утех. Любовь такая не раздаривает. Любовь-то и хранит ее.

Сладкая тоска объяла легионера. На войне, когда убить могут всякий час и в любую минуту, все эти дедовских времен ухаживания — идиотизм чистой воды. Но Ростовский, не перемолвившись с новой знакомой даже несколькими словами, был согласен примерить на себя романтический плащ нецелованного, не прикоснувшегося пока что к женской плоти дуралея.

Они встретились уже на другой день, прошлись вдоль озера.

— Смотри! — говорила Тоня Ростовскому, и тот смотрел.

Раздвигая травинки, шел по своим делам зеленый июньский жук.

— Моя любимица! — шептала Тоня, указывая на высокие стебли вдоль берега и на бирюзовую иголочку стрекозы.

Потом они смотрели на воду. И Тоня вдруг спросила:

— Ты понял, что сейчас произошло с нами?

— Не понял, — признался Ростовский. — Побыли на природе?

— В эти полчаса у тебя и у меня — не было войны. Мы о смерти забыли.

Ростовский снял немецкую пилотку, запустил пятерню в волосы.

— Да, это так. — Дотронулся до руки девушки: — Я хочу знать тебя, как самого себя. Я хочу быть рядом с тобой. Смотреть, слушать.

Тоня засмеялась:

— Это мне надо тебя слушать. Ты — мужчина. Ты — воин.

— Уж такой воин! — усмешка искривила губы Ростовского, пожалуй что... презрением. К себе.

— Давай встретимся у нас в доме.

— Завтра я целый день буду в Жиздре. Если это возможно, приду к вам послезавтра.

Дом Хотеевых ради гостя особой уборки не требовал, а вот себя готовить нужно было особо.

Мария Михайловна Лясоцкая поговорила с батюшкой. Отец Викторин встречу благословил.

— Я заметил, как ваш друг что-то объяснял офицеру. Никакого заискивания! И главное, он не пытался изображать из себя ровню перед немцем...

— Годами молод, но поведения умного, — согласилась Лясоцкая.

Отец Викторин разволновался.

— Не торопите событий. Думаю, не следует вызывать молодого человека на откровенные разговоры о немцах ценой собственной откровенности.

Лясоцкая сама это знала, но армия ждет доклада разведчиков. Посоветовала Тоне:

— Ты его должна принять без свидетелей.

С Татьяной Дмитриевной поговорила Шура. Мудрая женщина ни о чем спрашивать не стала. Отправилась с Витей, младшим, к соседям. Шура увела Тамару.

Ростовский явился, как обещал, но в дом даже не вошел.

— Мой Фогель едет в какое-то село, где женщины привели своих, мужей и партизан, из леса. Хочет побеседовать с этими женщинами и отдельно с их мужьями.

— Я пирог испекла из последней муки! — возмутилась искренне Тоня.

Развел руками:

— Я — в подчинении. Пирога обязательно отдаю, завтра.

Подарил цветы, убежал.

Мария Михайловна пришла от рассказа Тони в восторг:

— Ты его завтра в бараний рог скрутишь! Нажимай на его невнимание к тебе. О несчастной доле помяни. Глядишь, и он на свою посетует.

Ростовский принес пакет муки, шоколад, вино.

Тонин пирог стоял посреди стола, румяный, с клюквой в меду. На бутылку девушка посмотрела с сомнением.

— Вино мы пьем на Новый год да на Пасху.

— Сегодня, Антонина, значительный день. Я утром был в церкви. Сегодня отдание праздника Пятидесятницы.

— Ладно! — согласилась Тоня и принесла рюмки, высокие, наполненные светом, — хрусталь Дятькова с удивительными гранями!

Рюмки на столе тотчас затаились, ожидая миг своего торжества.

— За праздник нашей встречи! — сказал Ростовский и посмотрел Тоне в лицо.

Она вспыхнула и расцвела.

Рюмки рассыпали удивительный звон — счастливый, легкий, словно бы рассмеялись.

И вино было прекрасное: крымский мускат.

— Знаешь? — сказал Ростовский. — Я — человек города, но очень любил летние месяцы, когда меня увозили к бабушке... В вашем доме тот же самый воздух. У бабушки стены были в рушниках, а у вас вышивки. Какое чудо — скатерть в красном углу!

— Я очень обиделась, когда ты убежал в прошлый раз! — призналась Тоня.

— Я же — солдат!

— Немецкий.

— Немецкий. Моя синяя шинель — мой крест... — Опустил голову. — Я даже рук вверх не поднимал, когда стал пленным. Сдалась разгромленная дивизия... нас собрали, как скот. Погнали, как скот, и очутился я за колючей проволокой...

Налил вина:

— Тоня, за счастье!

— А счастье с твоей шинелью согласно?

— Помоги. Помоги мне! Я хочу, чтоб счастье было нашим.

Рюмки снова зазвенели, но в звонах была тревога, что-то очень острое.

Тоня положила на тарелку Ростовского кусок пирога и себе, полоску.

— Люблю клюкву.

— Пирог замечательный. Я такого вкуса еще не знал.

— А почему ты служишь, если твое сердце тоскует по другой жизни?

— Приказ за номером 270. Кто сдался — враг, семья попавшего в плен — враги. Ростов под немцами, а если будет у наших, наши арестуют мою маму, мою сестру. Ведь я — предатель.

— Этот твой приказ — сам враг русского народа! — грозно сдвинула брови Тоня. — Война без плена не бывает. Наши войска отступали целых полгода. В плену миллионы советских людей. Их всех в тюрьму посадить надо? Посадить того, кто, отступая, бился насмерть?

Тоня взяла бутылку и сама разлила вино.

— Володя, за победу!

Ростовский встал, снял с себя френч.

— Теперь можно. За победу!

Он подошел к девушке, чуть обнял, а поцеловал — ой как!

— Я не знаю, чем бы мог помочь тебе, твоим, нашим?

— Есть один человек, он ищет возможность достать пропуск в Черный Поток, в Ясенок.

— Прифронтовая сторона. Такой пропуск может стать ловушкой для смельчака. Ты хорошо знаешь этих людей?

— Хорошо.

— Им нужна система оборонительной линии?

— Не знаю.

У Тони сердце катилось из груди куда-то вниз, в пятки.

— Я добуду велосипеды.

— Одного хватит.

— Одному прокатиться не получится. Нужно искать два велосипеда, ему и мне.

У Тони глаза просияли.

— Ты тоже поедешь?

— С немцами надо говорить по-немецки, особенно в прифронтовой полосе.

Пришла Шура с Тамарой:

— Простите! Полицаи по домам ходят.

Ростовский застегнул мундир на все пуговицы. В горницу ввалились два полицая.

— Эй, хозяйка! — И осеклись при виде легионера в офицерской форме.

— Что вам надо? — спросил Ростовский по-немецки. — Вы — мародеры? Захотели под расстрел?!

Полицаи шарахнулись прочь из дома.

— И мне пора, — Ростовский взял Тоню за руку, поцеловал. — Какого роста твой знакомый?

— Выше меня, но пониже тебя. Он — школьник. Ему бы в десятом учиться...

— Наше катание возможно в воскресенье. В пятницу ты меня познакомишь с будущим другом.

В тот же день Лясоцкая отправила донесение в отряд:

«Ростовский развязал язык. В плену он находится с первых дней войны. Был в лагере для русских пленных. Испытал все ужасы холода, голод, бесчеловечное отношение, смерть товарищей. Был морально сломлен, дал согласие служить у врага. Теперь опомнился, проклинает себя за малодушие. Мучает совесть, спрашивает, что он может сделать, чтобы искупить вину. Изучаем его возможности и его связи. Ждем дополнительных указаний. Непобежденная».

Мария Михайловна пожила на заставе — сплошь госбезопасность. Знала, какой язык они понимают. Кто он, Золотухин? Сержант НКВД. Теперь лейтенант, может, старший лейтенант?

Война минеров

Велосипедами переводчик майора Фогеля обзавелся в роте связи, где служили легионеры. Здесь же раздобыл комплект обмундирования. Пропуска

Ростовскому устроил ефрейтор Курт. Все получилось.

Воскресная «прогулка» прошла без происшествий. Немцы «связистов» не останавливали.

По дороге в Черный Поток Алеша и Ростовский не разговаривали, педали крутили. На обратной дороге тоже не хотели удачу спугнуть, помалкивали, но перед Людиновом пришлось им юркнуть в дубовую рощу — пропустили колонну машин.

— Сколько тебе лет? — спросил Ростовский Алешу.

— Шестнадцать. Я — мартовский. Весенний.

Ростовский головой покачал:

— Смелые вы ребята... Черный Поток — вторая линия обороны.

Алеша глянул в глаза Ростовскому. Ничего не сказал. Из отряда был приказ использовать легионера втемную.

— Я хочу быть с вами. Возникнет во мне нужда, всё, что в моих силах, сделаю.

Алеша улыбнулся:

— Простите, я — моложе вас! — Извинился за то, что руку легионеру подал первым.

На следующий день в отряд ушло донесение Орла:

«Ростовский много сделал в проведении разведки, а главное, вел себя смело и мужественно. Разрешите использовать его и в дальнейшем».

От прогулки на велосипедах по укреплениям врага, под взглядами тех, кто хранит тайну, военную тайну, — впечатлений хватило бы на всю жизнь.

Но уже на другой день связник Петр Суровцев и Рыбкин с Щербаковым принесли Шумавцову две сумки с минами.

Алеша был на работе. Бабушке оставили. Бабушка показала ребятам место, где сумку поставить. Под лавкой, на которой ведро с водой стоит.

Подарок из леса был драгоценный. Не мины, а чудо. Плоская коробочка, магнитная. Сунул под кабину и пошел себе. Англичане такие мины придумали, поделились с союзниками.

Лесная посылка пришла ко времени.

Бенкендорф снова спрятал склады с боеприпасами на заводе. Машины каждый день везли ящики со снарядами в сторону Черного Потока.

Когда Алеша шел на смену, машины в очередь выезжали из ворот. Выбрал предпоследнюю, часы поставил на сорок минут.

Отыскал в цеху Сашу Цурилина. Давно не привлекал парня к своим делам. Попросил:

— Незаметно считай, сколько грузовиков уходит с завода и сколько возвращается.

Четыре мины дал Апатьевым:

— Ставьте на машины, груженные снарядами, по одной mine в день. Стрелки на часах отводите минут на сорок, на час, чтоб машины погибали далеко от Людинова.

Партизаны как раз тоже развернули минную войну против карателей. Теряя солдат, немцы приостановили атаки на партизанские леса. На разминирование лесов искали охотников среди полицаев.

Изумив Бенкендорфа, к нему явился старший следователь Дмитрий Иванов, просил отправить туда, где горячее всего, — на мины.

Бенкендорфа расчетливый патриотизм молодого русского растрогал. Ничего нет предосудительного в том, что юноша нацелен на высокие должности в будущем. Карьеризм, за который можно заплатить жизнью, — это не кумовство. Это — путь героев. Путь рыцарей.

И Митька, пройдя краткое обучение, снимал с мин взрыватели. А где опасность была велика, устраивал взрывы, загоняя на минное поле скотину. Но что особенно важно для будущего роста,

пустил на разминированное поле деревенских, причем — стариков.

И никто не погиб.

Бенкендорф предполагал и такой расклад: Иванов мог прогнать бабушек и дедушек по свободному от мин месту. И это — замечательно. Хвала русской сметке!

Агеевка

Немцы подбили над городом советский бомбардировщик. Самолет взорвался в лесу.

От Золотухина пришел приказ Шумавцову: найти батареи зениток. По звуку выстрелов было понятно — зенитки где-то в районе Кировской улицы. Здесь немцы не стали пилить деревья. Здесь место гористое.

В разведку пришлось посылать Тоню и Шуру. На горках место ягодное, и самая пора земляники. Тоня набрала полное лукошко, Шура — половину, но она-то и усмотрела две зенитные батареи.

Развернулись домой и увидели перед собой двух немцев с автоматами. Один из часовых свистком вызвал офицера.

Появился лейтенант. Тоня и Шура смотрели на него во все глаза. Красивый, юный.

— Мы — свои! — по-немецки сказала Тоня. — Мы из Людинова. Это земляника. Возьмите. Пожалуйста! Вы — воин.

Протянула лукошко офицеру. Шура свое — солдатам.

Офицер лукошко взял. Улыбнулся. Сделал знак рукою часовым: отпустите. Девушки уходили, оглядываясь на прекрасного рыцаря. Лейтенант поднял лукошко.

— Хорошо! — указал рукой на землю. — Сюда — ни хт!¹⁶

¹⁶ Nicht! (нем.) — Нет!

Девушки испуганно, дружно кивали головами, припустили бегом.

Уцелели. А в отряд ушло донесение: «Победа и Отважная сообщили, что западнее Кировских улиц, 1500–1700 метров по северному склону, в лесу обнаружены две зенитные батареи с расчетами, замаскированные ветвями. Ориентиры: от станции Ломпадь прямо на север 1500–1600 метров. От западной окраины склона 1400–1500 метров. 23. VI. 42. Орел».

Бомбить сразу зенитчиков не стали, чтоб подозрение на девушек не пало. Через неделю уничтожили.

А Тоня и Шура сходили по ягоды и в районе Мальцовского моста. В этой стороне ахала какая-то большая пушка. Снаряды, наверное, к ней подвозили. Промежутки между выстрелами длились по нескольку минут.

Сестры и здесь напоролись на часового. Солдат отобрал ягоды, показал дулом автомата, что будет с красавицами в следующий раз. А Орел доложил о разведке девочек в штаб: «Северо-восточнее станции Ломпадь — 1200 метров и юго-западнее Мальцовского моста — 800 метров находится дальнобойное орудие».

Это орудие, бившее по тылам 16-й армии, через несколько ночей уничтожил ночной бомбардировщик.

Июнь, принесший столько побед боевой дружине Шумавцова, подходил к концу. Отец Викторин, принимая на исповедь Марию Лясоцкую, сообщил ей:

— Мои прихожане заметили: в деревне Агеевке скопление машин и мотоциклов. Очень много солдат.

Шумавцов, выслушав Марию Михайловну, решил:

— Не будем затягивать. Пока сделаем запрос в отряд, пока придет разрешение на разведку, немцы могут из Агеевки уйти. Счастье Тони и Шуры испытывать раз за разом — тоже не следует. Это я беру на себя.

Уже на следующий день проверял провода на столбах на дороге в сторону Агеевки. Движение и впрямь было здесь большое и какое-то беспечное даже.

Углядел стадо. Вот и прикрытие разведке!

В воскресенье с Сашей Лясоцким они пристроились к пастуху.

— Мы — заводские, на природе хочется погулять, а тут — пропуска, проверки...

Угостили старика самогонкой. На закуску у ребят было сало. Подпаскам, двум мальчикам, дали галет и по кусочку сахара. Попросили разрешения коров попасть. Уж очень дело интересное. Подпаски поучили Сашу и Алешу кнутом щелкать.

Разведчики подогнали стадо ближе к деревне. Удивились:

— Вроде немцы по улице голые ходят!

— В штанах! — сказали подпаски.

— Но ведь без формы.

— Они у нас от войны отдыхают! У нас в Агеевке хорошо. У нас — сады, пасека. Теперь как раз липа цветет. Запах сладкий.

Саша Лясоцкий залез на дерево.

Сверху был виден большой дом, поставленный под пологом леса. Спрятанные под деревьями грузовики.

— Хорошо устроились, — согласился с Сашей Шумавцов. В штаб он доложил: «Разведка в Агеевку установила, что в деревне располагается большое количество отдыхающих фронтовиков с техникой. Солдаты ведут себя беспечно, раздеваются, без оружия. Для бомбежки объект удобен.

В прилегающем к деревне лесу замаскировано много машин. Разведка обозрела только юго-западную часть деревни».

И уж через два дня — от Орла ушло еще одно донесение:

«В Агеевке наши авиаторы нанесли значительный урон оккупантам. Более сотни разных машин уничтожены или повреждены, десятки солдат и офицеров были убиты, более пятидесяти доставлены в лазарет».

Оккупированное лето

Июль 1942 года — время великого противостояния. У немцев все еще превосходство в танках, самолетах, орудиях, численности войск. И всюду — победы. Сдалась 2-я Ударная армия Власова. На службу к немцам перешел любимец Сталина генерал Власов, а так как по приказу Иосифа Виссарионовича все, сдававшиеся в плен, подлежали расстрелу, то появились власовцы. Тысячи русских солдат, ставших доверием к войскам Гитлера.

Потерпели поражение красноармейцы Брянского фронта, вновь созданного Воронежского, фронтов Южного, Юго-Западного.

Группа немецких армий «А», усиленная 4-й танковой, двинулась на Кавказ. Шестая армия генерал-полковника Паулюса — на Сталинград. У Паулюса 18 дивизий, 740 танков, 1200 самолетов, 7500 орудий и минометов. Наши армии, 62-я и 64-я, имели 360 танков, 337 самолетов, артиллерии было больше — 7900 единиц. Но уступали в живой силе. У немцев 250 тысяч солдат, у наших — 187.

Немецкие войска пошли в наступление и в районе города Людинова. Удары следовали по Кирову, по Фаянсовой. Наши войска упирались, но отступали.

Командование 10-й армии обратилось за помощью к партизанам. Штабу нужно было знать, велики ли резервы у немцев в районе наступления. Наступление ли это или всего лишь отвлекающий удар?

Спасать Россию пошли Тоня и Шура. Разведчиц в дорогу готовила Мария Михайловна.

В июле в Людинове жилось голодно. Огороды еще не кормили, зимние запасы иссякли.

Немцы позволяли менять одежду на еду. У Хотевых для меня нашлось Зинино платье, она теперь санитарка в отряде, да оставшиеся от отца, умершего перед войной, галстук и рубашка.

Мария Михайловна пошла к батюшке Викторину.

Полина Антоновна Людиново обшивала, а вот свой гардероб был у нее невелик. Предложила платьица Нины, из которых та выросла.

Принесла несколько кофточек и юбок Олимпиада. Клавдия Антоновна Азарова, всегда следившая за модой, отдала часть устаревших вещей.

И отправились коробейницы по белу свету.

Лето. Жданное, благодарное за любовь. По обочине дороги — земляника. Вот только пыль на ягодах пропитана гарью немецких машин.

Земля под ногами русская, а глаза ищут чужих. Родина превратилась в территорию. Территория занята войсками Гитлера. Самое страшное — территория все еще расползается по Русской земле.

Сестры шли вместе до Тихоновки. Шли бесстрашно. Ростовский добыл надежные пропуска, но настала пора расходиться. Тоня отправилась по дороге на Колчино, где война гроыхала без передышки. Дорога Шуры вела в Манино. Здесь тоже фронт, но до него путь более долгий. В Манине был скит — еще одна сказка для патрулей.

— Бабушка за святой водой послала. В скиту источник, а бабушка болеет.

О мене тоже нельзя было забывать. Девичьи плечи оттягивали теперь сумки с пшеном, с мукой, с горохом. Был кусок сала. Полицаи отняли. Через три дня сестры сошлись в малой деревушке возле села Мокрое.

Уже вдвоем добрались до Савино и через Вербежичи — домой. Тоня и Шура делились добытыми продуктами, а Золотухин переправлял в штаб 10-й армии донесение Орла:

«Возвратилась разведка из района Мокрое, а также юго-западных населенных пунктов. На протяжении 15–20 километров вражеских резервов не установлено. Поход прошел успешно».

Донесение Орла ободрило командующего 10-й армией. Немцев отбросили на прежние рубежи, город Киров не сдали.

Две девочки рискнули жизнью — и тысячи не искалеченных судеб. Обошлось без «немецких овчарок» — так называли женщин, которых немцы превращали в любовниц, без предателей — ради спасения детей, семейств. Без грабежа, без насилия. И звенит вопрос в безупречной синеве зенита: были ли люди, которые хотя бы раз помянули в молитвах Антонину и Александру — своих избавительниц от ужаса оккупации?

Не ведают новые поколения, кто дал им жизнь, жертвуя своей. Память нынче — шоу. Не хочется русского слова осквернять.

Шумавцов июльской благодати не замечал. Дело он себе нашел очень даже не простое. Попытался проследить жизнь генерала Ренике. Во сколько часов подают ему автомобиль из гаража, устроенного Бенкендорфом на заводе. В какие часы шофер приезжает на завод заправляться. Как долго автомобиль генерала стоит у штаба дивизии.

Четкого графика не получалось. Машину генералу подавали в восемь утра, но она могла стоять

у штаба часами, однако иногда увозила генерала много раньше восьми.

Во второй половине июля, не достигнув успеха под Кировом, немцы начали наступление от Жиздры на село Ульяново.

Красная армия снова запросила помощи у партизан.

На этот раз Золотухин разработал операцию сам. Оперативник НКВД, он посещал в мирное время поселения эстонцев, живших в Жиздринском районе с екатерининских времен. В разведку Золотухин отправил Тоню Хотееву. Для нее изготовил документы на имя немецкой колонистки Анны Рерих.

Оккупанты, заняв Жиздру, всех немцев и всех эстонцев вывезли в Прибалтику и в Германию. Жиздра — фронтовой город, а земля Германии, земля Эстонии — войны уже не будут знать.

Казалось бы, какие теперь колонисты в Жиздре? Но было замечено: в городе появлялись молодые люди, искавшие своих родственников. Советский Союз — страна счастливого студенчества. Юноши и девушки учились в вузах, во втузах, в техникумах...

Фольксдойче Анна Рерих тоже разыскивала своих близких.

Фольксдойче — лицо немецкой национальности, проживающее вне Германии. Для солдат — свой человек.

Но нужно было приодеть милую фройляйн Анну. Через батюшку Викторина Мария Михайловна Лясоцкая получила от прихожан часть немецкого парашюта. Может, и не чистый шелк, но на шелк похоже. Материю выкрасили, а Полина Антоновна создала для Тони платье «смерть немецким офицерам».

Воздыхающих Тоня собрала по дорогам Жиздры большой букет. Ее подвозили на «опелях», ее

устраивали на ночлег, помогали находить населенные пункты, где еще остались колонисты.

Фройляйн Анна просияла в Жиздре прекрасной кометой и пропала в космосе. Впрочем, Анна Рерих не была выдумкой. Дочь ломового людиновского извозчика Антона Рериха — Тонина одноклассница. Они вместе уезжали в Москву поступать в вузы. И поступили. Тоня летом 1941 года приехала в Людиново на каникулы, а вот Анна в городе не появилась. Немка. Возможно, ее отправили куда-нибудь в Оренбург или в Казахстан. Военное время. Американцы своих японцев после Пёрл-Харбора загнали в концлагеря. Советская власть часовых к своим гражданам немецкой национальности не приставляла. Жестокость была в другом: увозили с насиженных мест. Оставляли на целинной земле. Копайте землянки, стройтесь, работайте, если выживете.

Каких-либо военных резервов Тоня Хотеева в Жиздринском районе у немцев не обнаружила. Небольшие отряды во время наступления на Ульяново покидали свои квартиры, и замены им не было.

Шумавцов, слушая Тоню, не сдержался и рассказал ей о своей диверсии:

— Я подложил мину под автомобиль генерала. Генерал сегодня поехал к войскам. Машина не вернулась.

— А ты что-нибудь о Ростовском знаешь? — спросила Тоня.

— Нет, — Алеша тоже тревожился: — Не подаст о себе вестей.

— Он не был у меня целую неделю до Жиздры. И пока я в Жиздру ездила, не появлялся.

— Скорее всего, на фронте. Он же при командире батальона.

— Хочется верить. — И вдруг глаза у Тони засмеялись: — Шумавцов! А нам с Шуркой ордена положены? Как ты думаешь?

— Вы заслужили память народа, — сказал Алеша серьезно. — А впереди у нас еще много чего... Золотухин приказал провести разведку в Красном городке. Туда тоже не сунешься.

— Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, сгодятся Тонька с Шуркой!

— Очень даже сгодятся. Я думал о Римме Фирсовой, о Тоне Хрычиковой.

— Не надо! — сказала Тоня. — Мы с Шурой умеем зубы немцам заговаривать. А девчонки... Смотреть в глаза немцу с автоматом — это надо уметь.

Через два дня Золотухин читал очередное донесение Орла:

«Обследованием “Кр. городка” установлено, что строения используются под склады. Объект усиленно охраняется часовыми на вышках и собаками. Ориентиры: северо-восточная оконечность верхнего озера, 400 метров севернее колеи железной дороги. От основной дороги “Кр. городок” — деревня Шипиловка, свеженаезженная дорога, в двух часах ходу склады боеприпасов».

Гибель своего от своих

Тоня Хотеева явилась в часть, где служил Ростовский:

— Вохин ист герр¹⁷ Владимир Сергеев? Их бин фрау¹⁸ Сергеева.

Тоне ответили по-русски:

— Бомба. Майор Фогель и переводчик Сергеев погибли в Жиздре. Советская бомба.

По щекам Тони покатались слезы. Опустила голову, пошла. Ее догнали. Сунули в руки пакет. Так и шла через Людиново, не понимая, что несет.

¹⁷ Wohin ist herr?.. (нем.) — Где господин?..

¹⁸ Ich bin Frau... (нем.) — Я госпожа...

Пакет у нее взяла возле дома Шура. Тушенка, плитка шоколада, сахарин, бутылка шнапса.

— Это все, что осталось от Володи, — сказала Тоня.

Достала черный платок, черное платье, пошла в церковь.

— У меня не стало человека, — сообщила она матушке Полине. — У меня нет денег. Возьмите тушенку.

— Тоня! — укорила девушку Полина Антоновна. — Скажи имя.

— Владимир... — и спохватилась. — Он был переводчиком у немцев... Он мой муж. В его машину попала бомба.

Полина Антоновна взяла Тоню за руку, отвела к бабушке.

— На небе меня к нему не допустят? — спросила Тоня. — Мы не записывались. Мы не венчались. Он — любил меня, а я выполняла задание. Я его соблазняла. Он помогал нам, два раза помог.

Отец Викторин знал о сестрах Хотеевых, знал о Шумавцове.

— Я Володе никто? — снова спросила Тоня.

Отец Викторин смотрел на ее закрытые глаза. Стрелочки век, белизна висков.

— Ты его любила?

— Я его теперь люблю. Я теперь люблю взаправду. А когда он был, я — выполняла приказ. Он был нужен.

— А он тебя любил?

— Он — любил. Он знал, что я хитрю. Он — это знал. Но он меня любил.

— Господь есть любовь. Ваша любовь случилась в горчайшее время, но она — ваша любовь, теперь частица вечного света. Вечно живого света.

— Света! — удивилась Тоня. — А-а! Я знаю. Звезды может уже не быть, а свет ее достиг Земли только в наши дни. И будет лететь и долетать...

Отец Викторин прочитал молитвы, дал Антонине просфору.

— Я знаю. Ты все время в бою. Да будет Господь с тобой!

Вечером Тоня вышла на крыльцо. Ждала звезд. Но небо было перламутровое. Она вышла в огород посмотреть, есть ли где прорехи в небе. И тут на нее стали падать капли. Это не было дождем, это были, скорее всего, — слезы.

— Володя! — Тоня подняла ладони, но капли падали ей на лицо.

Соцкий и пролитая кровь

Саша Цурилин прямо-таки заждался Шумавцова.

— Ты чего не спрашиваешь про машины?

— Спрашиваю.

— Четыре грузовика не вернулись. «Опель-капитан» генерала Ренике тоже не вернулся.

— Разбомбили?

— Может, и разбомбили.

— Генерал погиб?

— Генерал никуда не ездил. Генерал на заводе, у Бенкендорфа, я его сам видел.

— Спасибо. Продолжай наблюдения, — похвалил Цурилина Алеша.

Итак, охота на генерала не удалась. Погиб какой-нибудь штабной офицер.

Алешу тревожили разговоры рабочих. Бенкендорф вербует доносчиков. Скорее всего, немцы установили: взрыв машины генерала — это не наезд на мину. Об английских магнитных минах контрразведка Айзенгута, скорее всего, знает.

— Ну что ж, господин Бенкендорф! — У Шумавцова сверкнула интересная мысль: пожалуй, есть, что противопоставить немецким хитростям.

В конце июня на завод поступил сверстник, хороший парень, зовут Прохор. Из деревни, живет у своего дяди, у Гришина. Гришин — начальник столярного цеха. Доверенное лицо у Бенкендорфа. О нем говорят: баптист. Был проповедником. Сидел. Гришин, скорее всего, и вербует стукачей. Что-то останавливало Алешу поговорить с Прохором по душам. Фамилия, что ли? Звучала как-то подозрительно: Соцкий. Алеша нашел в цеху Виктора Фомина, он тоже теперь гробы немцам сколачивал. Попросил его познакомиться с Прохором Соцким, прощупать: наш — не наш?

В эти дни по Людинову прошел слух: полицаи сожгли деревню Хотню. В этой деревне жители убили трех полицаев; сволочи изнасиловали мать и двух старших ее дочерей. Забирали вещи подороже, собирались зарезать телушку. Жители защитили себя.

Бенкендорф приказал деревню сжечь, людей расстрелять. Иванов сам обошел все дома, разрешил взять с собой, что могли унести, и всех отпустил спрятаться в лесу.

— Отомстим за Хотню! — сказал Шумавцов новому члену своего отряда Георгию Хрычкову.

Нина Зарецкая выправила Шумавцову, Лясоцкому, Апатьевым, Хрычкову пропуска в лес «для покоса травы». Поэтому и косы были с собой.

В лесу нашли кабель, вырезали метров пятьдесят. И тут Шумавцов сказал Георгию:

— Мы воюем, а убитых врагов даже не видели. Сейчас приедет связист, и мы его убьем.

Связист появился минут через сорок.

Ребята косили траву, но когда немец приблизился, Георгий замахнулся на него косою, а Шумавцов повалил вместе с велосипедом, выхватил финский нож из ножен на поясе связиста.

Ударил.

— Вот теперь мы пролили немецкую кровь, — сказал Шумавцов.

Немца бросили в овраг вместе с велосипедом, а его парабеллум Алеша спрятал у себя за пазухой.

И все бы хорошо. Победа! У Гитлера убыль. Но бабушка Евдокия Андреевна варила свекольники из листьев свеклы. Красные. Кроваво-красные. Заправляла тушенкой. Сапожники, расставаясь со своей поварихой-кормилицей, оставили ей банок двадцать, не поскупились.

Война — она, конечно, всюду, но и люди, если они с совестью, остаются людьми. Для Алеши это было просто: он насылал на свое Людиново самолеты с бомбами, ставил мины, но — на немцев. А сапожники были с именами, с лицами. Он ел их хлеб, их разделенные с ним солдатские харчи...

Впрочем, теперь все перевернулось. Он, Алеша, убил врага своей рукой, своей хитростью, своей волей, своей удачей.

«Не думать!» — приказывал себе командир Шумавцов.

А в голове — каша. Вот Наполеон. Он же — Наполеон, хотя самый настоящий грабитель. Вывез из Москвы золото, серебро. Ограбил дома московской знати, ограбил церкви, содрал ризы с икон... И — расплата. Русская земля не позволила разбойнику увезти ее богатства в чужие края. Правда, в Москву ничего не вернулось. Все это золото и серебро то ли в каких-то озерах утоплено, то ли в тайниках лежит. Русские Париж тоже взяли, но ведь не ограбили. Граф Воронцов даже заплатил долги офицеров. Миллион серебром!

И обрывал поток словесной чепухи, взмокая, помня, как дрожало сердце от радости, когда убил! И снова думал о взорванной машине генерала. Смерть генералу приготавливал, а погиб неведомый офицер. Судьба? Бог? Почему Бог хранил

большого злодея? Но, может, все правильно? Бог сберег генерала, ибо другой генерал перевешает половину Людинова?

Враг — не человек. Враг — это зло, покусившееся на твою собственную жизнь. И снова думал о связисте.

Целую неделю от всякой еды подташнивало. Но хуже всего — в мозги вселилась мерзкая мысль: «Ты за это заплатишь!»

«Чем?» — спрашивал Алеша неведомо кого. Но ответ знал: «Кровью. Ты же пролил кровь».

Спасаясь от наваждения, принялся вспоминать битвы. Александр Невский, святой князь, но он же в бою мечом рубил врагов! И на поле Бородине... Надо было заколоть француза штыком, чтоб не дать убить себя. Война — это война!

А ночью сон не шел. Странно, в лесу ничего не испытал, кроме радости: вот он, враг, и вот он — убитый. Теперь всплывало: связист что-то пел, катя стежкой на велосипеде. В его песне были слова «мэдхен» и «нахтигалль» — «девочка» и «соловей».

Алеша пошел в церковь. Постоял среди женщин. Чтица, Полина Антоновна, читала молитвы по книге. Царские врата закрыты.

О чем просить Бога?

О том, чтоб помог еще убить одного, а лучше — многих.

Испугался: сейчас Царские врата откроются. Ушел.

Воскресенье. Люди на улице толпятся. Что такое?

Немцы, выгнав людей под открытое небо, разбирали дом. Потолкался среди народа, проследил, куда везут бревна. Все стало ясно.

Уже через час в тайник легло донесение:

«Немцы в Людинове строят линию обороны. Она тянется от лесопилки вдоль линии до Псур-

ского, а возможно, и дальше, моста. На это строительство фашистские сволочи ломают наши дома. Выгоняют из домов мирных жителей, дома и надворные постройки они увозят на строительство дзотов. Терпеливые русские люди все эти издевательства, скрепя сердце, переносят. Но они знают, что скоро наступит тот час, когда великая Красная армия освободит от фашистского ига и отомстит за все издевательства. Они уверены в нашей победе. Орел».

Карьера предка

Матушка Полина Антоновна вязала, а батюшка Викторин Александрович сидел за книгой. Радовался:

— Как просто пишет Иоанн Златоустый! И в то же время правда его простоты совершенная полностью содержания. Поля! Проникнись, пожалуйста.

Прочитал:

— «...Возлюбленные, тщательно выслушаем сказанное и посмотрим, что Писание повествует о Каине и что об Авеле; не пройдем мимо этого рассказа без внимания, потому что Божественное Писание ничего не говорит просто и как случится; каждый слог, каждая даже черта заключает в себе некоторое скрытое сокровище; таково свойство всего духовного».

Засмеялся, да уж так хорошо:

— Я о простоте, а Иоанн о сокровище! Все духовное — сокровище.

Полина Антоновна тихонечко ойкнула.

— Что такое, матушка?

— Стрельнуло.

— Сердце?

— Не сердце, а как-то непонятно. Подумалось о страшном. Батюшка, неужто каины... Слово

какое жуткое! Неужто каины объявятся среди наших людей? В России? Глядишь, и в Людинове? В семьях живут кто как. Бывает, злобятся, завидуют, сплетни переносят. Но это житейское... Это ведь даже ребячество неизжитое... Я закрыла глаза, когда ты читал, и все знакомые люди рядком встали у меня с Авелем. А каины? Полицай — каины?

Отец Викторин положил руки по обеим сторонам сочинения Иоанна Златоустого, словно огораживая.

— В полицай пошли люди, живущие одним днем. Кормят — вот и пошли. У этих, поспешивших служить завоевателю, нет чувства вечности... Почитаем дальше. «Итак, что говорит Писание? “И бысть по днех, принесе Каин от плодов земли жертву Богу; и Авель принесе и той от первородных овец своих, и от туков их...”» А теперь толкование Златоустого. Но ты сама подумай над словами Библии. Что они в тебя в эту вот минуту вложили?

Смотрели друг на друга, улыбались. И тут у матушки из-под ресниц закапало.

— Не волнуйся, батюшка. Это так...

— Да что так?

— Война, а мы читаем, как прежде. Но ведь и тогда, без немцев, ты читал, а я в окно смотрела: придут — не придут? На святом Слове запрет от властей... Викторин! Как же можно было жить-то хорошо! А жили с оглядкой. Все дни, что нам дадены, мы жили с оглядкой. В страхе.

Отец Викторин вскинул голову:

— Нет! Поля, нет! Мы жили великой жизнью. Мы не отрекались. Страшиться, верно, было. Но мы не отрекались от святых книг. Мы их читали, читали вслух... У Златоустого здесь как раз о нас сказано: «Опять говорю и не перестану говорить: Бог принимает наши приношения не потому,

что нуждается в них, но потому, что хочет, чтобы и через них выражалась наша благодарность».

— К нам Олимпиада.

— Посматриваешь в окно?

— Приучили.

Отец Викторин закрыл книгу, встал:

— Чтобы закончить разговор, вывод таков: Богу приносить надобно драгоценнейшее.

— Русские это умеют.

— Ты о чем?

— Русские люди жизни кладут за правду.

Постучали.

— Я открою, батюшка.

Пошла в сени и вернулась. Поглядела отцу Викторину в глаза:

— Ты проповедь хочешь сказать о Каине?

— Думаешь, это наивно, когда столько неверующих? Но кого-то уберегу! Господь отвратит иных через пастыря от окаянства.

Олимпиада румяная, веселая, от нее лесом пахнуло, но глаза будто медлят и всякое движение чуть приторможено, проверено мыслью.

— У нас проблема, отец Викторин. В больнице на излечении — четверо из леса. Двое из них после операций. Однако все уже ходячие. Выписывать опасно: главная врачиха в каждом раненом видит партизана. Проверку, боимся, устроит, пригласит следователей из конторы Айзенгута. Ночью в больнице охрана усиленная. Бежать днем — из города не выйдешь.

— Хромые среди ваших партизан есть? — спросил отец Викторин.

— Хромых нет.

— Пойду к Бенкендорфу за разрешением крестного хода. У больницы отслужу молебен. С крестным ходом уйдут. Надежные люди разберут их по домам. Ночью покажут дорогу.

Отец Викторин не мешкая оделся.

Бенкендорф принял священника, отложив текущие дела.

— Думал о вас, и вы пришли! — У коменданта Людинова настроение было хорошее. — Отец Викторин! Я плохо знаю о первых шагах восхождения по служебной лестнице моего великого предка.

Батюшка обрадовался. После бесед о шефе жандармов комендант бывает сговорчивым.

— Граф Александр Христофорович, еще не достигнув пятнадцати лет... — Отец Викторин сделал вид, что вспоминает. — Да! Пятнадцати не было — 1798 год. Так вот, тогда еще не граф, но дворянин потомственный. Вступил в лейб-гвардии Семеновский полк унтер-офицером. А уже 31 декабря того же года был произведен в прапорщики с назначением флигель-адъютантом к императору Павлу.

Комендант Людинова просиял:

— Выходит, юный Бенкендорф привлек внимание такого строгого и такого справедливого государя, каким был Павел Первый. — Александр Александрович поднялся, вышел из-за стола, глядел на портрет предка. Спросил: — Скорее всего, перевод на Кавказ не был случайностью?

Отец Викторин чуть приподнял плечи:

— Я знаю, что ваш пращур стремился принять участие в военных действиях. Он сражался под командованием князя Цицианова. Участвовал в штурме форштадта крепости Ганджи, выказал беспримерную храбрость в сражении с лезгинами и за эти подвиги был награжден орденами Святой Анны и Святого Владимира четвертой степени. Позже граф был направлен на остров Корфу, где формировал легион в тысячу бойцов из албанцев и сулиотов. Сулиоты — греко-албанцы, католики. Это было в 1804 году.

— В двадцать один год — опытный офицер! Замечательно! — Александр Александрович усадил отца Викторина на диван под портретом графа Бенкендорфа, сел рядом:

— Что вас привело к нам, замученным текущими делами?

— Прошу разрешить проведение крестного хода. Отслужу молебен перед больницей, где много страдающих, и панихиду на могилах. Возле больницы есть захоронения...

— Дело богоугодное. Я рад, что вы участвуете в жизни города! — Посмотрел долгим, вопросительным взглядом: — Знаете, вы мне понадобится для очень важного и очень непростого дела. Но это потом...

С крестом по Людинову

Крестный ход для города — событие. Невиданное в последние лет двадцать. Шли все, кто был на службе. В храме три десятка человек, почти что многолюдье, а на площади зрелище сиротское. Десять человек с хоругвью, с иконами. В облачении отец Викторин, за ним семь человек хора, далее народ — большая капля.

Священнику всегда хорошо, всегда на службе, ему даже одному не страшно — он с Богом. А за Людиново за столь жидкое шествие неудобно...

И вдруг толпа мужчин, густая, организованная. Встали за женщинами-прихожанками. И — робкое движение бабушек обрело уверенность. Хор запел радостно, стройно.

Отец Викторин понял, откуда такая помощь. Майор Бенкендорф прислал рабочих завода. Крестный ход помолодел, превратился в народный. Народ, глазеющий на обочинах дороги, поспешил под кресты, под иконы. Отец Викторин заметил:

в проулке — танк, в другом — грузовик, в грузовике — солдаты. Сказал себе: «Это называется — на всякий случай». Понимал: немцы, соизволяя церковное шествие, приманивают народ. Большевистская власть крестные ходы из пулеметов выкашивала, а тут — свобода. Молитесь. Пусть ваш Бог будет с вами, мы, немцы, быть Ему дозволяем.

Крестный ход поравнялся со зданием полиции. Инспектор Ступин присоединился к шествию со взводом полицаев.

Полицаи пели:

Боже, Царя храни!

Славному долги дни

Дай на земли! Дай на земли!

Гордых смирителю,

Слабых хранителю,

Всех утешителю — всё ниспошли!

На том песня и кончилась. Дальше гимн просил Бога хранить «Перводержавную, Русь православную».

Веселый ужас теснил грудь отцу Викторину: крестный ход вобрал в себя тех, кто служит немцам, поработителям, и тех, кто не покорился, кто сражается здесь, в логове оккупантов.

На могилах возле больницы батюшка совершил литию и молебен о здравии болящих. Больные, ходячие, вышли из больницы вместе с врачами, с медицинскими сестрами.

Сладко пахло ладаном, людей посетило умиротворение. Подлечившиеся партизаны влились в ряды крестного хода, и все двинулись к собору.

Алеша Шумавцов шел с Толей Апатьевым и Сашей Лясоцким. К ним в ряд стал Иванов. На голове пилотка, мундирчик облегающий и словно бы на размер меньше.

Митька взял под руку и Шумавцова и Апатьева, лицо веселое — свой паренъ.

— А не сыграть ли нам, ребятки, в футбол? Полицай на заводских?

— Под ноль разделаем! — сказал Апатьев, пытаюсь высвободить руку.

— С чего бы-то?

Лясоцкий засмеялся:

— Все очень просто. Твои каждый день самогон хлещут, а то и шнапс. Форма у вас не та.

— Форма — лучше не надо! — Митька улыбался, а глаза стали волчьи. — Мы перед игрой побеседуем накоротке. Если выиграте с разницей в мяч, выпорем. Ну, а разгромите — это тянет на расстрел.

— Не получится, — сказал Алеша. — Вы плохо шутите, господин Иванов!

— Почему же плохо? Говорю, что есть: мы — власть.

— А мы люди коменданта Бенкендорфа.

Тут уж Митька засмеялся:

— Ребята! Мы же, оказывается, свои. Игра будет честной. А если кого и хлопнем, так из-за угла.

— Из-за угла партизаны стреляют, — сказал Лясоцкий.

— Мы тоже умеем! — Митька стиснул локти Толе и Алеше. — Шучу, ребята. Всего вам! Мне на работу, партизан лупить резиновым шлангом. Хотите поглядеть? — Снова засмеялся. — Вы еще петушки. Вот выпейте.

Достал из кармана бутылку, сунул в руки Лясоцкому.

Крестный ход повернул к собору, рабочие пошли на завод.

— Чего с ней делать? — спросил Саша.

Апатьев взял бутылку, вытащил затычку, шел, поливая землю.

— Из-за угла они стреляют!..

Каины

Вернувшись в собор, прихожане благодарили батюшку со слезами на глазах:

— Слава Тебе, Господи! Осветили Людиново! Столько мерзости и греха. Глядишь, полицаи, устыдясь, присмирят. Ведь иные из них — волки!

Расходились умиротворенные. Надежные люди увели к себе ушедших из больницы партизан.

А на другой день страшная новость: из-за угла застрелили сына учительницы младших классов. Сын пришел из леса мать проведать. Уходя, взял шубу, валенки...

Кто убил молодого партизана? Свои? Тайная полиция, полицаи? Ни ареста, ни пыток, ни казни. Выстрел — и народных мстителей убыло.

— Неужто Митька нам свою силу показал? — испугался Лясоцкий. — Убили, как обещал, из-за угла.

— Ответа ему недолго ждать, — Шумавцов глянул на Сашу — и разговору конец.

День минул, другой, и по Людинову слухи шепотом: партизаны расстреляли лесничего Никитина, предателя, и двух лесников-предателей.

В тот день Нина вдруг спросила отца:

— Никитин и его лесники были самые настоящие каины, но кто они теперь? Мученики? У тебя на столе листок и крупно написано: «Господствуй над грехом». А в Библии стихи помечены. Я прочитала: «...всякому, кто убьет Каина, отмстится всемерно». Каины под защитой Бога?

— Суд — дело Божие. Обрекая себя быть палачами, люди разносят заразу Каинова греха.

— Но разве это не потворство греху, если праведный Авель убит? И у него уже не будет детей, а Каин родит и скотоводов, и гусяров с кузнецами?

— Каин во всех родах человечества — останется Каином, — примирительно сказал отец. — Но почему ты сердишься?

— Да потому, что Бог убийцу Каина сделал неприкосновенным. И теперь этих каинов или, может быть, иуд в одном нашем Людинове пруд пруди!

Отец Викторин посуровел:

— Но есть в нашем Людинове девушка Нина, есть воины леса, есть неизвестные нам люди, живущие в городе. Появляются листовки, вытекает из цистерны горючее, взрываются машины с грузами.

Нина вдруг обняла отца за плечи:

— Это ужасно, но сегодня Иванов подарил мне цветы и сказал: «Надоумь своего отца, пусть не геройствует. А то мало ли что может случиться».

— Разве я геройствую? Какие у меня дела, готовлю проповедь об Авеле и Каине. Вот мои дела.

Нина сдвинула бровки сердито:

— Раз Митька сказал такое, значит, полиция что-то затевает. Тот же Ступин!

Вдруг дотронулся до головы дочери:

— Спасибо, Нина. Поостерегусь. Береженого Бог бережет.

В тот же день, слушая своих особо доверенных прихожан, батюшка просил на время притихнуть, поберечься. Борьба бабушек и их внучат с немецкой армией была совсем уж малая. Дырявили мешки, из которых потом сыпались продукты, резали провода, вывинчивали пробки на баках с горючим в автомашинах, что-то угоняли, что-то уносили, отвинчивали какие-то гайки.

Не война, пакости, если что-то немцы и теряли, то всего лишь минуты времени. Но ведь время возврата не знает. Утраченные минуты — утраченные победы. И все это — незримо.

Победы графа Бенкендорфа

Графиня Магда пригласила отца Викторина сообщить ему о своей милосердной миссии. Она приобрела продукты для раздачи голодающим.

— Я прошу вас, батюшка, не распылять пайки, но избавить от истощения и от смерти крайне ослабленных детей.

Церковь получила сто банок тушенки, сто банок сгущенного молока, тридцать килограммов галет, сахарин.

Деловая часть разговора была намеренно короткой. Графиня показала отцу Викторину альбом со знаменитыми изображениями Девы Марии.

— Симоне Мартини! — обрадовался священник.

— У нас совпадают вкусы. — Графиня Магда была приятно удивлена: сельский батюшка, правда, хорошо рисующий, знает искусство средневековой Италии.

Полюбовались репродукциями «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи, «Мадонны» Рафаэля.

И опять лицо батюшки стало детским, как солнышко.

— «Мадонна под яблоней!»! Лукас Кранах! Неужто вам нравится немецкое?.. — Магда сказала это искренне, имея в виду манеру живописи.

— Графиня! Глаза Мадонны, как и Младенца, устремлены в будущее. Будущее радовать не может — впереди Крест и крестные муки. Но изумительно рыжие волосы Богоматери, румяное золото яблоч, свет от лика Младенца, лик Его Матери наполняют душу счастьем. Кранах сумел это передать — цветом.

— А какая Мадонна для вас самая-самая? — быстро спросила Магда.

— «Мадонна с прялкой» испанца Моралеса.

Графиня ударила ладонью о ладонь.

— У нас вкусы на удивление близкие. А ведь, казалось бы, Европа и Россия — две параллели, несоединимые даже в мировом пространстве. Впрочем, картина Моралеса чувственная. «Мадонна с прялкой» — это горе, окунувшееся в нежность матери.

Графиня умничала, и ей нравилось философствовать.

— Выразить не умею, — улыбнулся отец Викторин, — но мои беды становятся ничтожными, когда смотрю на эту работу.

Графиня открыла альбом на нужной странице:

— Вот наше чудо. Посмотрите, каков взгляд Христа Младенца на крест в Его руке. Это целая эпопея «Война и мир». А крест — это же и есть прялка. Тут очень большая мысль, но я не могу ее додумать.

— Более утонченного лика мне не доводилось видеть на картинах художников, — сказал отец Викторин, поднимаясь.

В гостиную вошел граф. Квартира коменданта Людинова этажом выше его официального кабинета.

И вот отец Викторин стоит перед портретом шефа жандармов.

— Батюшка, — признался комендант, — мне больше не с кем побеседовать о моем предке.

Им принесли кофе. Настоящий, ароматный, мастерски приготовленный.

— Я знаю о сражении под Прейсиш-Эйлау. Поручик Александр Бенкендорф состоял тогда при дежурном генерале графе Толстом. За свой подвиг мой дивный предок получил чин капитана и орден Святой Анны второй степени. — Александр Александрович посмаковал глоточек: — Кофе из Парижа, где Александр Христофорович после Тильзитского мира проходил посольскую службу.

А вот когда он и за что получил чины полковника и генерал-майора, я до сих пор не знаю.

Настоящим кофе отец Викторин угощался впервой. Вкусно, да уж очень мала чашечка.

— Чин полковника граф Бенкендорф получил через две недели, как удостоился чина капитана.

— Через две недели? — изумился комендант.

— Произвели по случаю окончания войны, а генерал-майора граф Александр Христофорович удостоился за атаку в сражении под Велижем 27 июля 1812 года. В то время он командовал авангардом корпуса генерала Винцингероде.

Майор Бенкендорф смотрел на отца Викторина заворуженно:

— Рассказывайте! Рассказывайте!

— После Велижа граф получил задание чрезвычайно рискованное. Он должен был обеспечить пути коммуникации главной армии с корпусом графа Витгенштейна. Имея всего восемьдесят казаков, генерал Бенкендорф прошел по тылам французов и взял в плен полтысячи солдат неприятеля. — Отец Викторин умолк.

— Пожалуйста! — чуть ли не простонал комендант.

— Во время отступления наших войск после Бородина граф командовал арьергардом отряда Винцингероде, а от Звенигорода до Спасска даже всем отрядом. Граф подчинил себе еще два казачьих полка и, наступая на Волоколамск, разбил крупное соединение французов. В плен ему сдались более восьми тысяч человек. А будучи комендантом Москвы, он пленил еще три тысячи солдат Наполеона, захватил к тому же тридцать орудий. И это не все трофеи генерала. Преследуя отступающих французов, граф Александр Христофорович взял в плен на Немане трех генералов и шесть тысяч разных чинов.

— Это ли не Песнь песней! — воскликнул комендант Людинова. — Дальше! Дальше, батюшка!

— Командуя летучим отрядом между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, генерал-майор Бенкендорф разбил в Темпельберге сильное соединение неприятеля, за что получил орден Святого Георгия третьей степени. Далее принудил к капитуляции город Фюрштенавальд, а с отрядами генералов Чернышева и Теттенборна покорил Берлин.

— Еще! Еще!

— Двигаясь от Ютербока на Дрезден, пленил шесть тысяч французов, но от Дрездена пришлось отступить. Дрезден защищал маршал Даву. У Бенкендорфа было слишком мало сил, чтобы сразиться. Генерал переправился через Эльбу, захватил пост в Вербене. Чуть позже участвовал во взятии Люнебурга, за что получил Анну первой степени.

— Не замолкайте же! — Комендант от возбуждения перешел на шепот.

— Граф Бенкендорф участвовал также в сражении при Гросберене, прикрывал корпус Воронцова от французских войск, и за этот подвиг царь отметил его золотой шпагой с бриллиантами. Далее граф участвовал в битве под Лейпцигом, а после победы отправлен был с отрядом в Голландию. Изгнал французов из Утрехта, Амстердама, взял крепости Гавель, Мюнден, Гельдерскую батарею. Занял Роттердам, Дортрехт, Госувот, крепости Гертрюденберг, Бреду, Вильгельмштадт. Перешел в Бельгию, освободил от французов города Лювен, Мехельн и в Дюссельдорфе соединился с войсками Винцингероде. Все эти подвиги доставили генерал-майору Бенкендорфу орден Владимира второй степени, большой крест Шведского меча, прусский орден, от нидерландского короля шпагу с надписью «Амстердам и Бреда», от регента Великобритании — золотую саблю «За подвиги 1813 года».

Комендант поднял руки:

— Я хочу, чтобы сказка была продолжена. Услышанное надо пережить! — Подошел к отцу Викторину, пожал руку. — Я вам доверяю, как самому себе. Хочу, чтобы вы приняли участие в одной очень тонкой операции... Завтра утром за вами заедут.

«Тонкая операция» Тайной полиции

Штурмбаннфюрер СС, майор войск СС начальник Тайной полиции Антонио Айзенгут прислал за Викториним Зарецким автомобиль с унтер-офицером.

На окнах машины занавески, но в переднее смотреть не возбраняется. А что увидишь? Лес, лес, лес! Иной раз мелькает впереди мотоциклист охраны.

Узнал Манино. Однако село миновали. Скорее всего, Людиновский район остался позади.

Привезли в деревню, где половина домов — сожжены, разметанные снарядами и бомбами. Но уцелела деревянная церковка! Советская власть в обезглавленном храме устроила библиотеку.

Отца Викторина встречал сам Бенкендорф. Показал на кровлю:

— Видите крест? Это мой дар народу. Ваша служба — возобновление духовной жизни крестьян.

— Чтобы служить, нужен антиминос! — сказал отец Викторин.

Бенкендорф улыбнулся по-графски. Оказалось, освящать церковь прибыл некий игумен Игнатий. Антиминос у него был, но кто он и откуда — узнать не пришлось. Народ явно согнали, Бенкендорф приказал начинать освящение. Служба под надзором все равно служба. Богу.

Отец Викторин, благословляя паству, слова молитв произносил с такой теплотой, с такою

верой, что люди потянулись к нему взглядами. Ответно батюшка смотрел, как пастырь, победивший напасти. Мрачное, молчаливое состояние толпы, отвыкшей от церковных служб, а то и не знавшей, как и что бывает в церквях, переродилось в молчание единых. В церкви стало светлее — скорее всего, от лиц.

Игумен Игнатий уехал после службы тотчас. А отец Викторин покидал храм, окруженный людьми.

За порогом уже приготовлено было несчастье.

Из грузовика вываливались солдаты, кто-то из них пошел в дом, возле церкви. Тотчас раздались дикие крики. Немцы тащили двух ребятишек. Мать, молодая женщина, хватала солдат за руки, но ее отбросили. Она цеплялась за сапоги. Ее пнули.

Кто-то из прихожан сказал, плача:

— Учительница. У нее муж, завуч, еврей.

Кто-то ахнул:

— Вон оно что. Сама-то русская, а дети у нее, выходит, еврей... Евреев забирают.

Все смотрели на отца Викторина. Из соседнего дома выбежал мужчина с топором. Кинулся отбивать ребятишек, и — выстрел.

— Убили, — сказали прихожане.

Солдаты кинули мальчиков в кузов, сами садились по бортам. Мотор рыкнул, машина пошла.

Отец Викторин подбежал к Бенкендорфу:

— Да как же так?! Сделайте что-либо!

— Это вы можете сделать! — сказал Бенкендорф, суровый, как бог войны.

— Да что же я могу? Пасть на колени? — перекрестился, положил поклон.

— Садитесь в машину, — приказал Бенкендорф. — Мы их догоним.

Догнали через сотню метров.

Машина с солдатами остановилась, отец Викторин подбежал к кабине, и солдаты без всякого ссадили ребятишек. Он взял их за руки, повел... Все село бежало им навстречу.

Отец Викторин подтолкнул мальчиков за плечи, к матери, сел в машину.

— Вам бы среди людей теперь побыть, — предложил Бенкендорф.

— У меня большое сердце, Александр Александрович.

Машина тронулась, набрала скорость.

Матушке Полине отец Викторин рассказал о случившемся с порога.

— Помолимся.

Молились и плакали.

— Игра! Немцы устроили игру! Но дети живы. Детей надо уводить в лес. Как можно скорее!

Вечером пришла Олимпиада. В немецкий госпиталь привезли пятерых детишек. У детей взяли кровь. Сколько в них было.

Всего лишь слух. Но раньше о таком не говорили...

Провокация

Отец Викторин проснулся среди ночи:

— Полина! Они же «добрым делом» с участием священника прикрыли своих врачей-вампиров.

— Так оно и есть, — согласилась Полина Антоновна. — Но дети учителя, намеченные для ликвидации, — спасены!

— Что же мне делать-то?

— А то, что делаешь. Бороться.

Отец Викторин горестно качал головой:

— Мои солдаты — старушки да мальчишки с девчонками, не успевшие закончить школу.

— Крепись, батюшка! Машины взлетают на воздух очень даже нужные фронту! Бомбы падают

на пушки, на склады, на головы солдат. Тощают немецкие силы! С вашей помощью тощают.

Отец Викторин затеплил свечу перед иконами Спаса и святого князя Александра Невского.

— Образ князя-воителя перенеси в собор! — осенило матушку. — Все время какое-то движение вокруг нас.

— Нечто незримое, сверлящее затылок, и я чувствую, — согласился батюшка.

* * *

Случилось в единый миг. В конце службы к отцу Викторину подошли трое незнакомых мужчин. Один сказал:

— Батюшка! Ты — поп. Значит, человек сердобольный. Нашего товарища пуля зацепила, и хорошо зацепила, не дойдет до леса. Прими, укрой. Денька через два заберем.

В глаза кинулось: лица у всех троих белые. Сытые лица. Партизаны круглый год на воздухе, под солнцем, под дождем.

Под ложечкой засосало: провокаторы. Сказал твердо:

— Церковь — не лазарет, а я — не врач.

— Ты не лечи, ты укрой! — В словах угроза.

— Где же я укрою?

— У тебя комната в храме.

— Трапезная.

— Не перечил бы ты нам! — сказал напористый. — Раненого приведем ночью, дверей не запирай в соборе.

Ушли. Отец Викторин шепнул матушке:

— Ступай к Нине. Если меня возьмут, скажешь, что послана мной доложить о партизанах. Возвращаться не торопись. Зайди к Олимпиаде.

— Что ты задумал?

— Пойду к Бенкендорфу.

— Не к нему, иди к Магде. На графа ей пожалуйся.

Отец Викторин вспомнил разговор с дочерью. Выходит, Иванов предупредил.

Графиня Магда выслушала взволнованного священника. И все обошлось. Раненый не появился, видимо, выздоровел. А главное, все забыли о происшествии. Накрепко.

Впрочем, однажды отец Викторин узнал среди полицейских напористого «партизана». Полицейских привел в собор Ступин. Эти тоже давали клятву перед портретом цесаревича Алексея.

Директор лесного банка

Землянку Золотухина заполонили мешки с деньгами. Он даже спал теперь на деньгах. Свободного места — проход бочком к окошку. Подоконник заменил и стол, и сейф. Здесь обед, здесь работа, здесь коробка с документами.

В любой день и час тринадцать увесистых мешков с красными знаками могли обернуться тяжелой обузой. С мешками денег мыкаться по лесу потеха, но очень даже веселая.

На заседании обкома Золотухин внес удивительное предложение:

— Первоочередной задачей считаю избрание, вернее назначение, директора банка.

Члены обкома воззрились на Золотухина с тревогой.

— Зачем нам банк в лесу? — осторожно спросил Афанасий Суровцев.

— А затем, что мне надоело спать на мешках с деньгами.

Назначили директора и поручили ему передать отвоеванные у полицаев семьсот пятьдесят тысяч рублей в ближайший государственный банк.

— А таковой, как я понимаю, в Сухиничах. Всего семьдесят километров, — сказал Золотухин.

Начальник штаба Алексеев заохал:

— Верно, семьдесят. Но таких, что не разберипомилуй. Где-то немцы, где-то наши, где-то бои, а где-то тишь да гладь.

Однако ж все согласились: партизанская землянка — для больших денег хранилище сомнительное. Суровцев сказал нерешительно:

— Кто отважится с такими деньгами пробираться через территорию, занятую врагом, фронтами?

— Коммунист! — отрезал Золотухин. — Есть у меня на примете коммунист. Из рабочих.

* * *

И вот уже проселочной дорогой катила, не особенно поспешая, большая двуконная подвода. Груз не ахти как тяжек, но велик объемом. Опять же — мало ли что? Одну лошадь убьют, другая повезет.

Ездок в телеге один-одинешенек. Костя Фирсов. Неулыбчивый, но лицом открыт, лоб светлый. Сорок лет человеку. Экватор жизни.

Когда вожжами тронул, там, возле землянки командира, кто-то сказал:

— Двуконь, а ездоку не легче...

Директорам банков легко-то и не бывает. Костя и оборачивался, и по сторонам поглядывал.

За ремнем на животе револьвер, в брезентовой куртке, в обоих карманах патроны и в каждом по гранате, по лимонке.

Костю из леса выводил Коротков с двумя разведчиками. Расставаясь, дал немецкий автомат. К автомату приложил пару рожков.

— Под сено положи. Это тебе не пукалка. От разбоя не спасет, а если напорешься на солдат — не стреляй.

Первую ночь директор банка ночевал на краю леса, в телеге. Утром запряг лошадей, а на дороге рокот: немецкие танки. Переждал, поехал проселками в сторону Думиничей.

И вот она, удача счастливого человека, — наши! Полк вышел из боя, потому что немцы отступили. Красноармейцы обживали новые позиции, ждали пополнения.

Директор банка со всей своей казной покатил к штабу.

Начальник штаба выслушал товарища Фирсова и замахал руками:

— Нам не до миллионов! Была бы у тебя тушенка!

Костя Фирсов уперся, потребовал доложить о себе комполка. Комполка был всего лишь капитан, замещал убитого полковника. Посоветовал:

— Езжай, пока немцы помалкивают. У нас в тылу, кажется, свои.

Поехал, на ночь глядя попал под артиллерийскую дуэль. Со стороны немцев били без передыхи, наши отвечали редко, но из пушек с голосами могучими.

Над головой огненная буря. Куда ехать? Да и какая езда ночью!

Утром повернул-таки к Сухиничам, заехал в село, а на другом конце села — немцы.

Не жалел лошадок, кнутом стегал. Никто, впрочем, не гнался.

Лесной дорожкой, ведущей неведомо куда, выехал к городу. И немцы — вот они! Ставят мины в поле.

Костю-директора сомнения одолели. Немцы оголаживали себя с тыла. Значит, наши ушли вперед, на запад? У кого он? В тылу? Где фронт?

На пятый день мытарств вынесло директора банка с его тысячами в мешках на батарею. Не какие-нибудь пушчонки — гаубицы.

В начальниках — комбриг.

Костя про семьсот пятьдесят тысяч, а комбриг — улыбается:

— Зачем мне такая морока? Гору объяснительных записок придется писать. Под подозрение попадешь.

Приказал накормить директора и выдать ему паек на неделю.

— В Сухиничи езжай. Это от нас девяносто километров.

Ехал-ехал, а ближе не стало, стало дальше.

Дважды был Костя Фирсов от немцев в сотне шагов. Горькая чаша миновала. И опять удача. Наехал на госпиталь Красной армии.

— У нас вон какая бухгалтерия! — сказал Фирсову главврач. — Идут тяжелые бои. Раненых сотни.

Раненые и впрямь на улице лежали.

«Двуконь, а езду не легче!» — вспоминал Костя нечаянное напутствие.

Въезжая в Сухиничи, не радовался. Устал. Да и вечер на дворе. Ночевал возле банка, ломиться ночью не стал, еще арестуют, а главное — как бы не завернули!

Утром все пошло честь по чести, доложил о прибытии.

— А где деньги? — спросил директор госбанка.

Костя в окно показал:

— В телеге.

Мешки приняла, деньги сосчитали, на справке печать поставили.

— Теперь куда? — спросил директор госбанка.

— Домой, в отряд.

— Не проедешь...

И очутился Костя Фирсов в Ельце. В разведшколу взяли. Подучили — и в леса. Лесов на русской земле много.

И уже в тех лесах Костя сообразил: он ведь так и не видел денег, огромных денег, какие в телеге вез. Поглядеть-то было бы любопытно.

И приснился Косте Фирсову сон: золотая гора денег, и он на этой горе.

Золото снится к хорошему.

Живой вернулся с войны. Ни единая пуля не оцарапала, а ведь всю войну в разведке, в партизанской, в армейской.

На фронте всякий день памятный, но чтоб с возом денег две недели по лесам, по тылам, по передовым — такого счастливец среди всех миллионов солдат не найти. Судьба.

А справку с печатью до конца жизни хранил, у себя, в Людинове. Никому не понадобилась.

Гибель подрывника

На железных дорогах движение возросло. Немцы гнали эшелоны с вооружением, с горючим, с боеприпасами к Сталинграду.

Гитлер ожидал легкой победы на Волге. На этом направлении его разведка не обнаружила больших сил. И разведчики не обманулись. Однако Волгу заслоняли не только солдаты, но и светлый Дон — река, полюбившая казаков.

Гитлер снял с Кавказского направления 4-ю танковую армию и направил ее на помощь Паулюсу. Чтобы сузить удар на Сталинград, к Дону была брошена 8-я армия итальянцев под командованием генерал-полковника Гарибальди.

Война — зверь прожорливый, его надо кормить каждый день, и железные дороги в районах, где действовали партизаны Людинова, немцы превратили в крепости.

На уничтожение эшелонов врага отправилась группа разведчика Белова. С его отрядом пошел

Григорий Иванович Сазонкин. Немцы железную дорогу отгородили от леса минными полями.

Появились новые типы мин, новые схемы минирования местности. Главному подрывнику отряда было важно все это изучить самому.

Перед походом Сазонкин выполнил приказ штаба Западного фронта — взорвал Псурский мост в Людинове. Движение эшелонов здесь было особенно интенсивное.

Подступиться к мосту с берега не представлялось возможным. И Сазонкин соорудил в лесу плот с мачтой, с парусом. Плот загрузили взрывчаткой, пустили в хорошую ветреную погоду в плавание. Опора моста развалилась на куски, мост рухнул в реку. Еще одна победа Григория Ивановича.

Под Зикеевом минеры Белов и Копылов вышли к полотну железной дороги, а здесь — часовые, чехи. Замахали руками партизанам:

— Товарищи! Тут — не надо. Тут наш участок. Нас расстреляют. Идите за поворот. Там участок немецкий.

Когда по тебе не палят, а просят, да еще по-русски, да еще славяне!

Белов с Копыловым с чехами согласились. Перешли на новые места, осторожности ради засели в лесу. В разведку отправился Белов. Вернулся веселый!

— Чуть было не попался! Разглядываю окопы вдоль дороги — чего у них там? Гнезда вроде пулеметные, но никого нет. А за спиной: «Хальт!»¹⁹ Два немца. Один с автоматом.

— И ты теперь вот он, перед нами! — засмеялся Копылов, друг и напарник Белова. — Где же автомат немецкий?

— Переволновался. Забыл подобрать.

¹⁹ Halt! (нем.) — Стой!

— Садись, тушенки поешь.

— Да нет, ребята! Все правда. Они: «Хальт!», и я, как положено, руки — вверх. Думаю, подойдет один, обыщет. Так и вышло. Немец по карманам моим стучать, я его — за ворот. Поднял и на другого немца кинул. Сразу же навалился. Задушил, сначала своего, потом того, что под нами ворохтался. Короче говоря, не до тушенки. Пока никого там нет, надо мины ставить.

Подивились балагуру, пошли. Сазонкин, впрочем, поглядывал на Белова. Не великан, руки как руки. Очень даже небольшие. Григорий Иванович до войны бывал у него в гостях. Помнил, жена смеялась над своим трусоватым муженьком: поросенка им резал сосед, а Белов на печке уши зажимал. Петуху не мог голову отсечь.

— Идти по одному. За мной, нога в ногу! — по-командирски приказал Белов. — Всюду мины.

У просеки остановил группу. В группе их было шестеро.

— Просеку немцы прорубили, чтоб смотреть, кто из большого леса идет. Здесь — строго за мной, но бегом.

Перебежали. Снова лес, и вот оно, полотно железной дороги.

— Где твои немцы? — спросил Копылов.

— У ракитова куста. Я их оттащил и — дёру... Копылов! Мы с тобой — мины ставить, а остальные прикрывают.

Возле куста и впрямь лежали два солдата. Партизаны забрали автомат, парабеллум, документы. На Белова бы подивиться, а он уже на полотне. Копают под рельсами лунки. Копылов мины в лунки закладывает, гравием засыпает.

Мины поставили с двух сторон. Сазонкин отдал приказ:

— Отходить!

Приказ есть приказ. Белов встал во главе группы. Сказал главному подрывнику:

— Еще бы могли парочку поставить.

— Показалось, рельсы подрагивают. Я пойду последним, погляжу, как мины сработают.

Спешили перейти просеку. Белов и под ноги смотрел, и на партизан. Заметил краем глаза: Григорий Иванович нагнулся, что-то руками делает. Изучает немецкую систему? И тут, нарастая, полетел по лесу грохот и гул тяжелого эшелона. Белов успел войти в большой лес, за ним — Копылов, и все замерли, глядя, как могучий паровоз проходит над минами. И — ничего!

— Не сработало? — испугался Копылов. И тотчас — взрыв, клубы тьмы, клубы пара, летящая к небу земля. Паровоз повалился, вагоны полезли друг на друга... Пальнула винтовка. Дрыгнулась автоматная очередь.

— Все в лес! — скомандовал Белов, поворачиваясь лицом к просеке.

Еще взрыв!

Там, где стоял Григорий Иванович.

Белов, забыв про немцев, про взорванный эшелон, добежал до воронки:

— Тяжелая мина.

Собрали, что осталось от подрывника. Похоронили в лесу.

— А ведь он на мину наступил! — догадался Копылов. — И не окликнул!

— Григорий Иванович видел, как летели под откос вагоны эшелона. — Белов снял фуражку. — Легкая смерть. Сам успел за себя отомстить.

Тяжелая жизнь подполья

Сталинская машина власти — контроль над каждым человеком страны — добралась и до патриотов, пребывающих в оккупации.

Все семьдесят миллионов, живших на оставленной фашистам территории, отныне были людьми под знаком вопроса. Подлежали слежке, проверкам, негласно лишались нормального карьерного роста, только с благословения НКВД.

Подпольщики работали на победу. Все они люди, пропущенные сквозь сито госбезопасности, по сути своей — энкавэдэшники, но ведь — вольница. Жертвуют жизнями сами по себе, одной своей волей, своей совестью.

Такое для сталинского аппарата было недопустимо.

В августе 1942 года пришла очередь людиновским подпольщикам вставать на учет. Из отряда пришла инструкция об обязательной подписке.

Шумавцов первым сочинил строгую бумагу:

«Я, Шумавцов Алексей Семенович, 1925 года рождения. Беру на себя обязательство работать на пользу социалистической Родины путем собирания данных разведывательного характера, идущих на пользу Красной армии и красным партизанам. Если я нарушу свое обязательство или выдам тайну, то несу ответственность по законам советской власти как изменник Родины. 2/VIII-42 г. Орел». И подпись.

Третьего августа подписку сдала старшая из сестер Хотеевых.

«Я, Хотеева Антонина Дмитриевна, 1921 г. рождения, член ВЛКСМ с 1937 года, беру на себя обязательство снабжать отряд информационными данными разведывательного характера, способствующими скорейшему разгрому фашизма. Если я откажусь от взятого обязательства, то пусть меня покарает советский закон как изменника Родины.

Победа Хотеева А.».

Обязательство Апатьева, данное 4 августа, самое короткое:

«Я, Апатьев Анатолий Васильевич, 1924 года рождения, даю настоящую подписку в том, что я обязуюсь работать в пользу партизанского отряда, в пользу своего Отечества. Если я изменю этой подписке, то пусть меня постигнет суровая кара советских законов.

Руслан к сему Апатьев А.».

Подписку Шумавцов взял со всех членов своей организации.

Новый член группы, Прохор Соцкий, подписку дал с радостью. Он теперь боец за советскую Родину. Доверяют.

Вот только братьев Цурилиных Алеша не торопился брать в отряд.

Секретные органы отряда занимались бумажными делами, а в это время кипели бои по всему Брянскому лесу.

Под Сталинградом, со стороны советских войск, война тоже пошла отчаянная. Две танковые армии, их даже не успели сформировать, 1-ю и 4-ю, бросили в контрнаступление. 240 танков на громаду немецких войск. Впрочем, к Сталинграду рвались не только немцы. Восьмая итальянская армия взяла станицу Вешенскую. Третья румынская осадила город Серафимович. Уже везли на поездах на подмогу Паулюсу 4-ю румынскую армию; она вступит в дело в октябре, но вся тяжесть войны, вся ее мистика — на немцах.

Паулюс 26 июля прорвал оборону 62-й нашей армии и атаковал город Каменский. До Сталинграда совсем уже близко. Так ведь немцы и Москву видели в бинокли.

Только через полтора месяца, 13 сентября, 6-я армия Паулюса и 4-я танковая выйдут на окраины Сталинграда.

Нельзя было допустить перебоев в снабжении войск, и немцы разработали новую тактику борьбы с партизанами.

Брянские и Брынские леса теперь прочесывали власовцы, бои шли постоянно, партизан выматывали насмерть.

Среди лесного воинства было много раненых, были пропавшие без вести.

Четырнадцатилетний Володя Рыбкин принес Шумавцову приказ: провести разведку в Зикеевском лагере для военнопленных, задача — выяснить судьбу партизан, попавших в плен.

Собрались у Лясоцких. В просторном доме Хотеевых немцы устроили склад, и семье пришлось перейти во вторую половину дома, где жили Хрычковы.

— Тебе, Тоня, в Зикеево идти нельзя, — твердо сказал Шумавцов. — Могут найтись те, кто знал Анну Рерих.

— А я на что? — гордо поднялась Шура.

— И какая у тебя будет легенда? — спросила Мария Михайловна. — Зикеево — моя забота. Я пойду искать пропавшего мужа. Это естественно. Пропуск мне выправят хорошие люди.

Думала об отце Викторине, о его дочери, но зачем говорить лишнее, даже среди своих.

Через несколько дней немецкие часовые благодушно пропустили разведчицу в концлагерь.

Жестокая партизанская война научила фашистов уму-разуму. Милосердие проявляли. Женщины, нашедшие в таких лагерях своих мужей, сыновей, получали их в дар от немецкого командования. Ступайте домой с миром, будьте благодарны фюреру, живите, плодитесь: Германии нужны работающие руки.

Мужа Мария Михайловна найти среди пленных не могла. Лейтенант Саутин, командир партизанской роты, сражался теперь со власовцами. А вот партизан Мария Михайловна встретила в Зикеевском карьере.

Ее окликнул Николай Рыбкин, отец Володи Рыбкина. Передала ему еду. Спросила о Сергее Апокине, о его судьбе тревожились в отряде — коммунист. Апокин был жив, а вот молодой партизан Федя Сиваков — дал слабину. У Сивакова отец, мать, сестра — в отряде, а он, спасая себя от голода и неволи, согласился надеть форму полиция. В Людиново увезли.

Рыбкин познакомил Марию Михайловну с партизанами Иваном Бардиным, с Николаем Уткиным. Уткин был при советской власти милиционером, лагерное начальство назначило его командиром роты военнопленных.

Спросила Мария Михайловна об Алексее Белове, бывшем председателе Жиздринского райсовета. Это он помог партизанам из отряда «Митя» захватить в Жиздре полицейское управление. Уткин сам видел, как Белова застрелил конвоир. Белов был ранен, по дороге в лагерь обессилел, упал.

Уткин рассказал об Андрее Новикове из Людинова: приезжает, отбирает здоровых мужиков, вербует в полицию. В лагере особых строгостей нет, но кормят очень плохо, больных не лечат.

С Николаем Рыбкиным Мария Михайловна обговорила возможность побега.

Задание было выполнено. В отряде знали теперь, кто в плену, кто погиб, знали изменников.

Побег Рыбкина вскоре удался.

Митькино геройство

К Бенкендорфу из поселка «Красный воин» приехал староста Илья Антохин, по уличному прозвищу Шумов.

Пожаловался: одолели партизаны. Одни приходят подкормиться. Столуются и забирают продукты у Марфы Кретовой.

— Марфа мне родня. Я нарочно партизан приваживаю, чтобы вы их схватили сразу всех. — Тут староста Илья сделал глаза страшные, а лицо скорчил плаксивое. — Захаживают в село еще какие-то лесовики. Эти ловят по деревне женщин, тащат их в баньки, насилуют. Убили Веру Иванову с дочкой малолетней. Насильничали, дом ограбили.

Бенкендорф выслушивал старосту «Красного воина» в присутствии Митьки Иванова, распорядился:

— Господин Антохин! Вот тебе господин старший следователь, он поедет с тобой и расследует дело. — Митьку задержал, сказал ему, когда остались один на один: — Так называемых партизан в Людиново не тащи. Живыми не брать.

— Так их — группа, а мне ехать одному? — спросил Иванов.

— Они — банда, а ты воин. Возьми с собой опытного Цыганкова и пулемет.

Чтоб не подставлять старосту, Иванов и Цыганков приехали в «Красный воин» через три дня, в пятницу. Антохин говорил, что к нему партизаны приходят по пятницам.

В селе на улицах пусто.

— Где народ? — спросил Митька Антохина.

— На поле. Хлеб убирают. Техники никакой нет, серпами бабы жнут.

— Где нам расположиться?

— Чтоб не спугнуть, в чулане. В чулане у меня чисто. Табуретки берите.

Пулемет у Цыганкова, Митька — автомат на шею, пистолет в руке. Не успели к темноте привыкнуть, с улицы мальчишка прибежал, сын Антохина:

— Идут!

Митька — пистолет на боевой взвод. Затаились. А Митьку трясет.

— Не убивал? — спросил Цыганков.

— Я — охотник.

— Человек — не заяц. Хочешь, я?

Митька Цыганкова локтем оттеснил.

Дверь отворилась; по шагам, по голосам — двое. Прошли мимо чулана в дом. Было слышно, как Антохин здоровается с партизанами, за стол усаживается.

Митька вышел крадучись из чулана, отворил левой рукой дверь в избу. Партизаны из-за стола глаза на него подняли. Нажал курок раз, нажал два. Нажал три.

Цыганков тут как тут. Вот только пулемет забыл взять.

— Наповал! — Подошел к убитым, поглядел: — Этого ты два раза убил. Сначала в сердце, потом в голову.

Митька спрятал пистолет в карман.

— Их надо в телегу перенести. Они — наш отчет об ударной работе.

Втроем трупы на телегу укладывали, и тут в калитку вошел человек с винтовкой. Митька подскочил, сунул партизану пистолет в лицо, винтовку отнял.

Подошел Антохин:

— Это наш, деревенский. Королев фамилия. В партизаны его увели, согласия не спрашивая.

— Почти что силой! — закивал головою партизан поневоле.

Митька сказал старосте:

— Илья, мы с Валентином выехали из дома спозаранок. Жрать хочется.

— И выпить, — сказал Цыганков. Ткнул Королева в ребра кулачищем: — А с этим что? В телегу?

Королева затрясло не хуже Митьки.

— Пошли, мужик, выпьем! — Старший следователь взял партизана под руку, в дом завел.

Антохин выставил бутылку самогона, мальчишка его слазил в подпол, достал соленых огурцов.

— А где твоя жена? — спросил Митька старосту.

— Как где? Вся деревня, говорю, рожь убирает. Война войной, а зима — зимой.

— Чего у тебя в печи-то?

— Пшенная каша.

— Ставь.

Митька разлил самогон по стаканам. Поглядел на партизана, чокнулся с ним:

— Со здоровьицем!

Партизан хватил самогонки — все равно пропадать.

Поели каши. Митька с Цыганковым ели, партизан ел.

— Ты вот что! — сказал ему Митька. — Забирай винтовку и айда к своим. Приводи мужиков. Хватит им по лесам от баб своих, от детишек хорониться. Гарантию даю твердую: никого немцы не тронут. Работники у немцев — люди уважаемые.

Королев с винтовкой ушел в лес, Иванов с Цыганковым повезли убитых партизан в Людиново. Но вечером Митька прикатил в «Красный воин» на мотоцикле.

И сам от себя пришел в восторг: Королев привел-таки из леса двух семейных мужиков.

— Вы умные люди! — радовался Митька. — У партизан впереди жизнь заячья, гонять их будут по лесам, пока не околеют. Все и до единого.

Глава вместо примечания

Уже не под Сталинградом, в Сталинграде шла безумная битва двух народов, превративших своих солдат в жилы. Эти жилы звенели от напряжения, лопались.

14 сентября 1942 года немецкие части прорвались к Сталинградскому вокзалу. 62-я армия Чуйко-

ва была отрезана от 64-й — Шумилова. В этом весь гений немецкий — разрезать целое и разрезанное уничтожить. Сначала одну часть, потом — другую.

У славян вместо науки — терпение. Надо постоять — постоим.

16 сентября 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева отбила Мамаев курган.

К 27 сентября вокзал успел побывать у немцев и у русских тринадцать раз. Начались бои за поселки заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». С 4 сентября бои шли уже на заводских территориях.

Но ведь вот что непостижимо! Для немцев непостижимо.

Тракторный завод бомбили, расстреливали из орудий, а всего за одну неделю рабочие передали фронту 119 танков, 24 тягача, 55 дизельных моторов, вернули в строй 14 подбитых танков.

На завод «Баррикады» упало сто бомб. А завод работал. Его продукция — 76-миллиметровые длинноствольные орудия, гроза для немецких пушек, танков, солдат.

А кто за станками стоял? Мальчишки четырнадцати лет, девочки пятнадцати лет. Идти с завода некуда. Всюду война и смерть.

Ребят валили с ног сон и голод. Спали по очереди. Младшим давали поспать на часок больше.

Сделали ребята очередную пушку, проводили до ворот, и — обедать: затируху принесли, горячую воду с мукой.

Хлебают ребята, а сами слушают:

— Наша!

— Точно, наша!

— Хороший у пушки голос!

А у Даши, у старшей, ей шестнадцатый год, глаза блестят:

— Мальчишки! Я знаете что подумала? Мы ведь сделаем пушку ту, самую! Пушка шарахнет, и немцы побегут! Будет такая?

— Будет, — сказали мальчишки, дохлебивая затируху. — К станкам пора.

А на тракторном заводе в это самое время шел бой. Батарея лейтенанта Алексея Овечкина танкам проходу не давала. Танкам с крестами.

И — взрывы, взрывы...

Поглядел Ваня Федоров, сын полка, — все убиты. А из-за крестоносного танка — пехота. Немцы. Ваня одну за другой метнул семь гранат. Пехота откатилась, а на Ваню ринулся танк. Ваня взял тяжелую гранату, противотанковую, и тут его ранило сразу в обе руки.

Стыдно перед лейтенантом. Это ведь он его взял на свою батарею. Ваня ухватил гранату зубами, и — под танк.

Через полтора года немецкие мальчишки будут бить по нашим танкам из фауст-патронов, под гусеницами погибать, не сдавшись.

Трагический просчет

Удобные английские мины работали замечательно. Шумавцов поставил дело практично. Взрывались машины не каждый день и взрывались или по дороге к фронту, или добравшись до фронта. Мог снаряд попасть, могли партизаны рвануть.

И вдруг промашка случилась.

Мину Шумавцов сам поставил, дал час времени. Но то ли на фронте заминка произошла, то ли адрес перевозки меняли. Не ушли машины с территории завода. Взрыв, еще взрывы, машину загрузили снарядами.

Шумный день вышел на заводе. Но уже завтра весь транспорт, въезжающий на территорию завода, просматривали очень строго. И, загрузив, просматривали.

Легкая жизнь диверсантов закончилась.

Орел доложил партизанскому штабу: «Магнитные мины хороши и удобны. Свыше двух десятков автомашин, груженных боеприпасами, не вернулись из рейса. Одна взорвалась преждевременно на выезде из завода. Последовал приказ оккупантов без тщательного осмотра машины в завод не впускать на погрузку. Наша длительная охота за генеральской автомашиной не принесла результатов. Машину заминировать удалось. Но в ней поехал штабной офицер в сторону Букани. Обратная машина не вернулась. Теперь снова последовал приказ, запрещающий пешеходам ходить по правой стороне улицы III Интернационала, где расположен штаб немецкой дивизии».

Одно за другим уходили в штаб людиновских партизан донесения Орла. 17 сентября: «Бывшую школу ФЗУ фашисты превратили в авторемонтную мастерскую, в мастерской много машин, моторов и разных частей от машин. Большое количество машин стоит в сарае ВУП, а в здании ВУП лежат моторы». И нарисован подробный план ориентиров. Церковное кладбище. Корпус ФЗУ. И приписка: «лошади стоят». Обозначено место: «лежат моторы». Показан двор, сарай ВУП. Два кружочка, подписано: «Сено. 2 скирды». И общее заключение: «Прекрасный район для бомбежки».

Донесение 26 сентября: «За ул. Свердлова, в лесу, по обе стороны Агеевской дороги, 500 метров от улицы на протяжении 1 км стоит большое количество неприятельских машин. Приблизительно 100–120. Имеется также и 5–6 пушек среднего калибра, пулеметы и живая сила противника. Прекрасное место для бомбежки, товарищ командир! К сему: Орел».

В тот же день еще одно донесение: «На этом чертеже представлено расположение вражеских войск около Псурского моста по ж. д. Немцев здесь стоит

большое количество. Здесь есть солдаты, лошади, машины. Немцы делают землянки и роют окопы по Псурской канаве. Установлены зенитки и пулеметы. Имеется всего 9 кухонь. Точное количество вражеских войск, живой силы и техники противника не знаю».

Черточки на целый листок, но без подробностей. Лес. Поле. Река Псурь, мосты через Псурь. И заштрихованное пространство по одному из берегов: «немцы».

Подполье сражалось. Тайная полиция, демонстрируя перед своим начальством усердие, не умея напасть на след народных мстителей, принялась хватать женщин и детей — родственников партизан, советских офицеров. А значит, стукачей надо выявить и уничтожить.

Шумавцов поручил Прохору Соцкому добратся до бумаг его дяди Гришина, у которого тот жил на квартире: необходимо составить список предателей.

Горькое письмо Непобежденной

Облегчая участь своих солдат под Сталинградом — эшелоны-то летели под откосы! — немцы и власовцы осенью 1942 года предприняли еще один поход на Брянские и на Брынские леса.

Серьезным подразделениям врага можно было противостоять крупными отрядами. И 15 сентября 1942 года маршал Ворошилов, главнокомандующий партизанским движением, приказал создать в Орловской области три партизанские бригады. Теперь в районе Дятьковского и Жуковского районов действовали бригада майора Корбута, составленная из военных, бригада подполковника Орлова — войска НКВД и приданный партизанский отряд Дятькова, и Бытошская партизанская

бригада. В нее вошли Бытошский отряд, отряд Ивота и людиновцы. Командиром этой бригады был назначен Золотухин.

Бытошская бригада ушла от Людинова вглубь немецкого тыла на семьдесят километров. Связь с подпольщиками города стала редкой.

Был утрачен и сам смысл партизанского движения.

Большие соединения требуют большого количества военного снаряжения, боеприпасов, продовольствия. Крупную часть легче обнаружить и окружить.

Бытошская бригада очень скоро была вовлечена немцами в изнурительные ежедневные бои.

Вооружение у партизан — какое придется, запас боеприпасов — скудный, все надо нести на себе.

Началась «игра в прятки». Днем — бои, ночью — отход километров на десять — на двадцать. И это без нормальной горячей пищи. Костра ведь не запалишь: самолеты-разведчики укажут квадрат, куда перебрались партизаны.

С тяжелыми потерями вырвалось людиновское воинство из окружения. Множество раненых. Вши. Начались вспышки сыпного тифа. А врачей нет.

Горькое письмо пришлось отправить Непобежденной. Письмо писал сам Золотухин:

«В бою погиб командир партизанской роты лейтенант пограничной службы Владимир Саутин».

Мария Михайловна передала Володе Рыбкину ответ:

«Тяжела утрата любимого человека, отца и друга. Но это не только мое личное горе, а горе и моего народа, что каждый день теряет своих родных и близких. Все мои помыслы и стремления остаются с вами — народные мстители, с моей Родиной, с Коммунистической партией, которой честно служил мой муж — Владимир Саутин. И теперь

разрешите мне продолжать его идеи до конца моей жизни.

В городе идут аресты семей патриотов, не знаю, минует ли меня судьба. Враг знает про нас, и если что и случится, я буду бороться и там. Жаль, что так мало сделала здесь, но не все от меня зависело. За свое поколение я спокойна. Спасибо вам за моральную поддержку. 19. X. 42. Непобежденная».

Это письмо — прощальное. Жизнь кипит. Марии Михайловне всего двадцать три года. Она — истая жена пограничника. За идеи мужа собирается драться. Только слово — вещун, в словах — горькое сомнение: слишком мало успела сделать! И тут начинает говорить сердце матери. Материнство в Марии Михайловне — русское. Она не о дочери хлопочет, она печется о поколении своем. И — спокойна за свое поколение.

Почему не бежит, если чувствует опасность? Пограничница. Понимает — бежать не следует. Бежать — дать повод. Да от кого побежишь? От двухлетней дочери, от матери и отца, подставляя их под меч врага?

Может, у страха глаза велики, обойдется?

Но для Кати Гришочкиной не обошлось. Бурмистрову тоже взяли — у Бурмистровой сын в отряде. В августе Бурмистрова водила их троицу к партизанам. Мария брала с собой сестру Лиду. Как бы по грибы. С мужем хотела повидаться, а Саутин был далеко, чуть ли не в Ивоте.

Партизанам отнесли еду, занимались постирушкой, штопали дыры на одежде. Не велика вина.

Цена доверчивости

Вежливый баптист Федор Иванович Гришин, перетерпевший заключение в советской тюрьме, ужаснулся перспективе угодить в лапы полицая Стулова и тем более — в лапы гестапо.

Безмозглый племянник Прошка предложил дяде составить для Шумавцова список осведомителей, завербованных на заводе графом Бенкендорфом.

— Хорошо, — тихим, ровным голосом согласился дядя и взмок.

Промучавшись ночь, гробовщик Гришин утром закрылся в кабинете с бухгалтером завода Федором Алексеевичем Степичевым. Гришин знал: Федора Алексеевича приглашают на приватные доклады к самому Бенкендорфу. Шепот Гришина был страшен:

— Мой племянник — партизан! Я получил от него задание.

— Наконец-то! — Мудрый бухгалтер убрал волосы с висков за уши. — Наконец-то, дорогой ты мой тезка!

Что им делать, приятели решили в три минуты, но пришлось потомиться до часа дня. В час дня на завод, в свой кабинет, приехал граф Бенкендорф.

Гришин и Степичев стояли уже под его дверью.

— Превосходно, господа! — В голосе коменданта гремело ликование. — Наконец-то! Однако все это надо оформить документально.

Гришин и Степичев отправились в кабинет бухгалтера и составили донос. Принесли Бенкендорфу. Граф что-то зачеркнул, кое-что исправил:

— Теперь готово. Подпишите оба. А вы, господин начальник цеха, отнесите документ в полицию. Вручить заявление надобно старшему следователю Иванову. Обязательно Иванову! Все будущие поощрения должны получить люди, близкие мне, коменданту и управляющему заводом.

У баптиста, неведомо за что наказанного Сталиным, отросли крылышки, полетел за немецкой благодарностью. Но Митька Иванов был русский человек.

Прочитал бумагу, зыркнул на Гришина из-под бровей тяжелым, ненавидящим взглядом:

— Знаешь, сколько молодых ребят и девчат повесят из-за тебя?

— Это — партизаны! — прошептал, испугавшись Иванова, Гришин.

— И твоего идиота племянника повесят!

— Но я от... коменданта, от — Бенкендорфа.

— Ты это в НКВД будешь рассказывать... Ладно, ступай!

Баптиста по тарелке размазали, как мазюню. Выскочил из полиции, пряча лицо под полями шляпы.

Митька смотрел на дверь, за которой скрылся струсивший баптист, и улыбался.

— Всё, Шумавцов! Ты — проиграл. С нулем.

И тотчас понял: нуль полиции не выгоден. Какой тут нуль: листовки, мины, бомбы на склады, на машины, на орудия.

— Всё так. Но с того света не дано отыгаться. Никому.

Стулов смотрел на Митьку, говорящего вслух, с самим собой... Сегодня не пили, никого не били...

Митька достал из железного куба, заменявшего сейф, изумрудно-зеленую папку:

— Работа, Стулов, предстоит прелестная. — И снова взгляд зверя: — Но знаешь, Стулов, это — смертный приговор.

— Ну и ладно! — буркнул полицаи-слон. Он боялся Митьку.

— Нам с тобой приговор. Расстрельный.

Стулов опупел:

— Ты чего?

Митьку согнуло пополам от смеха. И — снова потишал.

— Василий, друг! Сходи к Ступину, пусть даст все, чего они накопили на пацанье. Героев не по

делу нам не надобно. Гехаймфельдполицай половину Людинова в партизаны записала.

Старший следователь долго просидел над составлением не ахти какого длинного списка. Кого-то вносил, кого-то вычеркивал.

— Чего ты так долго пыхтишь? — удивился Стулов.

— Так ведь кто вписан пером — считай, покойник! — Митька улыбнулся: — Я с этими ребятами в футбол играл. А кое с кем сидел за одной партой. — И быстро вычеркнул фамилию Николая Евтеева.

Принялся переписывать бумагу еще раз. Перо споткнулось на братьях Цурилиных. Какие они партизаны, уличная шпана... Мальчишки. Вымарал обоих в старом списке.

Служба в Колчине

Отец Викторин на присланной из Колчина лошади, впряженной в рессорную коляску, приехал в село крестить детей. Главный купол великолепного храма как срезало. Снаряд.

Детей крестили в школе. Школа деревянная, двухэтажная.

Для крещения женщины приготовили дубовую бочку. Ее поставили в первом классе. Класс украсили цветами: георгины, флоксы, хризантемы, даже гладиолусы.

Отец Викторин сначала крестил младенцев, потом — ребят постарше. Крестились несколько девушек, у которых при советской власти родители были на виду: дочери учителей, дочери колхозного начальства, начальства МТС.

Решил отслужить молебен в храме. Алтарь уцелел. Стены храма — непоколебимые.

Домовитые хозяйки, девушки в цвету, подросточки тонконогие, старушки неведомого возраста, ребятня — все стояли на битом кирпиче под зияющим куполом, затянутым синим пологом неба.

Алтарь — ниша.

От иконостаса уцелела левая диаконская дверь с архангелом. От Царских врат — одна створка.

Певчие, пережившие закрытие церкви, войну, бомбежку, пели, будто воскресли.

Где уж тут сдержать слезы, когда в груди — колодец с верхом! Но слезы, пролившиеся наконец, пение-стон соединялись с молчанием предков, и как только началась служба, так явился в храме столп света от полу и через кратер уничтоженного купола до Престола Божия.

Миропомазание стало очередью за спасением.

— Братья и сестры! — сказал отец Викторин. — Вспомните, сколько пришлось претерпеть! Кто больше прожил, тот и претерпел больше. Вот мама младенца Георгия, ныне крещенного. Младенцу семь дней от роду, но ведь он — посредине войны. Ему, семидневному, послано испытание, как и всем нам. Перетерпим — значит выдюжим, будем жить. Господь возрадуется нам и будет с нами, а мы с Господом!

К отцу Викторину подошло большое семейство:

— Батюшка! Похлопочи о людях Бытоши. Мы — беженцы. Прислали нам в начале лета начальника полиции, слона Стулова. Слоны — животные добрые, детей нячат, а Стулов, Васька проклятый, ребятишек на виселицы вздергивает. Нашел пионерский галстук у Зины Морозовой. Издевался над подросточком не хуже сатаны. Замучил насмерть.

— Напишите о зверствах Стулова господину коменданту Бенкендорфу, — посоветовал отец Викторин.

Народ обомлел. Батюшку как своего принимали, а он власть немцев признаёт.

— Вижу в ваших глазах осуждение. — Отец Викторин своих глаз не прятал. — Бенкендорф играет роль милосердного правителя. Стулова он уберет. Из тюрьмы отпустит людей. Нам жизни наши надо сберечь. Народ — это жизни.

Бумагу написали, под бумагой подписались.

Отец Викторин из Колчина приехал в комендатуру. Бенкендорф священника принял, прочитал прошение, написал на прошении свою резолюцию.

— Благодарю вас, отец Викторин. Ваша забота о пастве воистину пастырская. Господин Стулов уже сегодня будет освобожден от занимаемой должности.

В этот же день в Бытошь поехала инспекция. Стулова погнали из начальников, переместили в Людиново — пороть людей.

Узнавши о возвращении Стулова, батюшка сказал Полине Антоновне:

— В нашей полиции каждый задержанный подвергается избиению. Майор Бенкендорф возрождает времена своего предка, графа Александра Христофоровича. В те поры всю Россию выпороли по милости просвещенных государей — Александра Благословенного и Николая Павловича Палкина.

Новоселье

В квартире для больших начальников, где имели комнаты Олимпиада Александровна Зарецкая и Клавдия Антоновна Азарова, были еще две комнаты. Это жильё наконец-то обрело хозяев. Сюда поселили врачей: Соболева и Евтеенко.

За своего доктора, за Евтеенко, похлопотал перед Бенкендорфом старший следователь Иванов.

На новоселье пришли главный врач больницы Андреева, Дмитрий Иванович Иванов с Ниной Зарецкой, господин Федор Иванович Гришин, начальник столярного цеха на заводе. Гришин помог врачам обставить комнаты. Его мастера сделали две кровати, два стола и дюжину стульев.

Был спирт, для нежных дам — вино. Иванов, вернувшийся из командировки по деревням, одарил врачей салом и парой гусей.

Праздничный стол был вполне праздничным, имелся патефон, пластинки. Оказалось, Азарова и Гришин — замечательные танцоры. Порадовали всех фокстротом, станцевали чарльстон.

Митька пригласил Нину на вальс, потом на танго, прижимал к груди, ласково брал за талию. Ничего ведь не скажешь — герой. Освобождал леса от мин, инспектировал бытошскую полицию. Стулов за свою ретивость кровавую получил от немцев нагоняй.

В чем заключалась инспекция старшего следователя — неизвестно, только огромного Стулова трясло перед Митькой.

Фрау Андреева, глядя на танцы Клавдии Антоновны, на ее модное, безупречно сидящее платье, растрогалась. Шепнула товарищески:

— Вы же — аристократка! Боже мой! Зачем вам эти вонючие партизаны?

— Где партизаны?! — Глаза Азаровой стали огромными. — Он? (Взгляд на Гришина). Он? (На Митьку). Они? (На Соболева и Евтеенко).

— Ну, ладно! Ладно! — махнула рукой фрау. — Коммунисты такого чарльстона вовек не танцевали.

Всех удивил баптист Гришин. Сначала спел «Я встретил вас, и всё былое...», спел чистым голосом, с пронзительной тоской в глазах. Потом показывал смешные фокусы. Яйцо превратил в цветок,

цветок — в змею. Змею — в четыре стеклянных капсулки с розовым маслом. Подарил масло женщинам, приговаривая:

— Это змеиный яд, побывавший в руках доброго человека.

— Дмитрий Иванович! С партизанами, говорят, покончено? — спросила Андреева.

— Немцы своего добились. С русскими партизанами воюют теперь власовцы, русские люди.

— Тогда — за власовцев! — подняла рюмку Азарова. Глаза у нее светились.

Она пила за своих власовцев. Ей удалось переправить в отряд пятерых ребят из РОА, все — уроженцы Вятской области.

Нину провожал Митька, но с ними пошла решительная Олимпиада Александровна. Сказала Нине:

— Я давно не видела отца Викторина. У вас переночую.

Иванов кипел, но что поделаешь: тетка охраняет племянницу. А у тетки было срочное сообщение для отряда. Уже на другой день от Ясного ушло донесение:

«Стало известно, что готовится для засылки в партизанский отряд молодой полицейский по кличке Митя. Ниже среднего роста, лет 17–18. Глаза серые, одет по-граждански, с русской винтовкой, как перебежчик. Через 2–3 недели он должен вернуться обратно. Мотивы к этому: открывшаяся венерическая болезнь. В городе у него есть врач, у которого он лечится на дому».

Провал

Хочется верить: Митька, пустивший в сердце, в мозг, в кровь змею зла, подал знак и Шумавцову, и Марии Михайловне, и Тоне Хотеевой, однокласснице.

Подарил ночь на спасение.

Алеша на заводе в тот день не был, в Сукремли восстанавливал линию — бомба повалила два столба. С работы вернулся не поздно. Бабушка сидит у печи, раскачивается из стороны в сторону:

— Сашу Лясоцкого Горячкин в КПЗ забрал.

— Евдокия Андреевна, без паники! — сказал, как отрезал, но сердце в любовь окунулось. Подошел, погладил бабушку по щеке, слезы отер ладонью. — Пойду, приберусь.

Залез на чердак, долго шебуршил.

Бабушка успела на стол собрать.

— К отцу Викторину схожу. Пусть помолится.

— Нельзя! — вскинул быстрые глаза Алеша. — Нельзя нам ходить по людям... Некоторое время.

Перед сном спросил:

— Бабушка, а ты вправду веришь, что молитва спасет от гестапо?

От тоски грудь стала деревянная. Отряд ушел в Дятьково, с Марией Михайловной посоветоваться невозможно. Но Мария-то Михайловна не арестована!

— Бог бережет того, кто Ему верит, — сказала, зажигая свечу перед иконой, Евдокия Андреевна.

— У Бога, бабушка, Своя правда... У Бога все жизни в Книге судеб. Чему быть завтра, кем быть мне, тебе, Саше Лясоцкому... — Долго молчал. — О Саше надо молиться. Его теперь пытаются.

Прислушивался. Ждал грохота в дверь. Не пришли.

Утром проснулся — слава Богу! Всё как всегда. Взял когти, пошел на работу. В тот день они на улице Калинина меняли провода. В воздухе морозец, но солнце сияло новехонькое. Тепла нет, да в лучах блистание, будто солнце — не кипящий на весь свет вулкан, а бриллиант. И вдруг — лимонница. Тоже новехонькая.

— Голубушка, ты на весну явилась, а у нас осень! — крикнул Алеша бабочке.

Углядел на лужку бугорки: кроты деревеньку свою устроили. Было дело — спас однажды вот такие же поселения. Приехал к бабушке в Ольшаницу, а бабушка с соседкой норы заливают водой. Рассердился на бабок, не дал им губить кротов.

В сказках звери и птицы, даже муравьи, если им поможешь, добром человеку платят. Бывало ли такое в жизни?

Алеша стал припоминать доброе, сделанное для звериного царства. Хорош, конечно, добряк, если на глухарей ходил, уток стрелял... Вдруг на ум пришла встреча с Митькой и с Дорониным. У него единственный тетерев против тяжелой связки птиц у будущего полица.

Сердце екнуло! Вчера Соцкий прямо-таки мотнулся в сторону... Огороды пусты, но огородами по городу много не набегаешь. Опять же — на работе хватятся, доложат.

— Спокойно! — сказал себе Алеша.

Надо приступить к работе, потом пойти по линии к лесу. Улица Калинина — вот она. Скорее на столб, а потом линию пойти проверить.

Залез на столб. По улице, переваливаясь на ухабах, шла крытая машина. Остановилась у столба.

— Это за мной, — сказал Людинову Алеша.

Из кабины спрыгнул на землю Сергей Сахаров, сунул дуло автомата в небо:

— Слазь!

Алеша, вонзая когти «кошек» в столб, пошел вниз.

— Снимай!

Алеша отстегнул ремешки «кошек».

— В машину!

«Хорошо хоть свитерок сегодня надел», — подумал Алеша.

Железная дверь лязгнула замком. Лавка тоже железная. Сел.

— Ну что же, поборемся! — вслух сказал.

— Бороться он собрался! — захохотали в глубине кузова. — С кем?

— Со своим страхом, — ответил Алеша и укорил себя: «Привык на столбах вслух разговаривать... А тут такой мир, что, пожалуй, даже мысли могут читать. Тут и мыслить надо, сбивая врага с толку».

Машина дернулась, стала... Пошла какая-то возня. Дверь распахнулась. В зев «воронка» прямо-таки закинули парня...

«Толик Апатьев. наших хватают. нас предали».

Кнуты и пряники

По Людинову долго не наездишь. Пока приходили в себя, мотор умолк, лязгнула железная дверь.

На солнечном свету стоял Иванов:

— Здравствуй, футболист! Пожалуйте на землю.

Алеша нашел ногой скобу, оперся, прыгнул.

— Я тебя давно жду. — Лицо серьезное, в голосе — товарищество: — Ты ведь не бывал у нас?

Алеша обернулся, но Апатьева, должно быть, придержали.

Коридор казенный, хлоркой пахнет, как в больнице.

— Вот сюда! — Иванов отворил дверь своего кабинета, зашел сам, подождал гостя. — Светло, тепло. За ширмой — кровать. От девок, от баб отбоя нет. Садись к столу.

Алеша сел на табурет, Иванов открыл форточку:

— Решетка! Мы здесь все — сидим. Птичкой бы родиться, пырх — и свобода.

Занял свое место.

— В кошки-мышки играть — не по-нашему. Мы с тобой — русские люди, мы с тобой из Людинова, да еще футболисты...

Митька взял тонкую папку, открыл... В папке — чистый листок бумаги.

— В твоём деле пока что ни строки. Ты — партизан, я — старший следователь. Шумавцов! Мы же умные ребята. Предлагаю надурить не кого-нибудь, а войну. Война все равно заберет, что ей причитается. Заберет и сгинет. От героев останутся косточки, а земля будет принадлежать тем, которые всего боятся, всё терпят... Я не скажу, что это мразь человеческая. Это просто люди, которые хотят жить. Они — наш завтрашний день. Они будут славить героя Шумавцова, если верх возьмет Сталин, или будут лизать мои сапоги, если Россию придушит фюрер. Кстати, под Сталинградом — вам хана. Генералу Паулюсу до Волги осталось пройти где полкилометра, а где и меньше ста шагов.

Подвинул чистый лист к Шумавцову:

— Я, такой-то, прошу зачислить в полицию... Паренек ты мой! Родина тебе не поможет, Золотухин сам по лесам прячется... — Митька вдруг головой мотнул, засмеялся: — Ты только подумай, я на немцев пашу с сорок первого года, а они меня — в лес, мины выковыривать. Тебя, который насылал на Людиново самолеты, взрывал минами машины, гадил как мог, тебя Айзенгут готов отправить в Германию. Ты ведь — самодеятельность, но из тебя сделают профессионала мирового масштаба. Белый свет поглядишь. Я тебе завидую.

— Не завидуй. В Германию отправят тебя.

Митька смотрел на Шумавцова и словно бы глаз не мог отвести.

— Голосу твоему обрадовался! — И совершенно по-приятельски взял Алешу за плечо. — Ладно! Ты теперь ступай к себе. Пообвыкни. Потом поговорим.

В кабинет вошел Стулов.

— Василий! Отведи нашего Алексея в третью...
Мне давай Лясоцкого.

— Лясоцкую тоже привезли, — сказал Стулов.
Иванов засмеялся:

— Сначала Сашку, потом Машку! Дел у нас теперь... невпроворот.

Камера — пустая просторная комната. У глухой стены что-то вроде низкого помоста. Окно высоко.

Алеша стоял, не понимая, куда себя определить. Сел на помост. Не жарко. И вдруг булькающий пронзительный крик. Не успев затихнуть, крик взлетел еще выше. Оборвался. И тотчас — снова.

Бьют. Сашу Лясоцкого? Толю Апатьева?

Крик перешел в вой и сник.

В коридоре загрохали сапоги, тащили что-то тяжелое. Дверь отворилась. Двое полицаев волокли за ноги... Сашу. Бросили, ушли.

Алеша прижался спиной к стене. В следующую минуту он уже был с товарищем. Перевернул. Спина — кровавое месиво.

— Цепочками немецкими бьют! — прошептал Лясоцкий.

Алеша дул на кровавые полосы.

И снова крик. Били женщину. Потом били другую женщину — по-другому кричала.

— Ты Соцкого давно видел? — спросил Алеша.

— Думаешь, он?

— Он.

Тоненько ныл... мужик. Дверь камеры отворилась. Втолкнули Апатьева, за ним... Соцкого! И тотчас явился Стулов:

— Шумавцов!

— Алешка! Ничего. Перетерпишь! — крикнул Апатьев.

В кабинете Иванова на столе вместо бумаг — сало и бутылка самогонки.

— Садись, перекуси, — сказал Митька.

Алеша сел. Митька налил стакан до краев.

— Я с тобой, как видишь, по-человечески. Ешь! Я, конечно, плохой, но сало-то русское.

Алеша опрокинул стакан, взял хлеба и сала.

— Так что на меня обиды не держи. Умные люди умеют договориться. Но ты хочешь быть, как все... — Митька рассматривал свои руки. — Руки палача, Шумавцов. Ты подумал о моем предложении?

— Я — комсомолец, господин Иванов.

Митька улыбнулся:

— Молодец! Меня норовят в товарищи записать, я тут же — по морде. Комсомолец, говоришь? Выпили мы с тобой по-людски, хлеб преломили... Даю тебе сроку до утра. И уж тогда не гневайся... Ступай!

Алеша встал с табуретки, пошел к двери.

— Стой! Куда без провожатого? — Подошел, постоял плечом к плечу. — Жалко! Я думал, ты человек высокого полета. А ты — пионерия! — Посмотрел в глаза: — Речь идет знаешь о чем? Вот в эту минуту? О вечной славе и такой же бессмертной подлости. Не знаю, как насчет рая, а героем я тебя сделаю. Но это очень больно.

Пришли Сухоруков, Сахаров. Шумавцова повели в камеру все трое и забыли в дверях, кинулись к лежащим на полу Лясоцкому и Апатьеву, били ногами, топтали! Через минуту с пьяным хохотом ушли.

Иванов, однако, вернулся, въехал кулаком в лицо Прохору Соцкому.

— Без обиды — всем!

Шумавцова не тронул.

Допросы

Должно быть, рабочий день закончился даже у полицаев.

Шумавцов слышал: Апатьев и Лясоцкий спят.

— Прохор! Ты своему дяде о нас говорил?

Соцкий не ответил. То ли спал, то ли притворялся спящим.

За стеной стонали, плакали. Алеша нашел место, где звуки были явственней. Ударил ногой по стене у пола. Доска рассыпалась.

— Ребята, кто у вас? — спросили из соседней камеры. Голос девичий.

— Я — Шумавцов, — сказал Алеша.

— А я — Катя Гришокина... Нас в камере много: Маша Моисеева, Маша Лясоцкая, Акулина Бурмистрова, Мария Кузьминична Вострухина, Капа Астахова. У нее брат — партизан.

— А за что взяли тебя и Бурмистрову? — спросил Алеша.

— У Акулины сын в отряде. Мы ходили с ней в лес, еду носили, стирали партизанам белье. А Николая, сына Акулины, немцы поймали, раненого, когда линию фронта переходил. Николай ночевал у Рыбкиных. Отец у Володьки тоже партизан. Меня Иванов в своем кабинете догола раздевал, насиловал. А потом меня бил Стулов. Иванов приказал ему дать мне пятнадцать плеток. Акулине дали двадцать пять. Она без памяти лежит. Машу Лясоцкую тоже насиловали. Сначала Иванов, потом Стулов. Ее очень сильно избили. Стоять не может.

«Хотеевых нет!» — поразился Алеша.

Он лежал у щели и мог, наверное, даже потрогать руку Кати Гришокиной. Катя и Бурмистрова в их группе не состояли. Может, хватают всех подряд, кто так или иначе связан с партизанами...

Ничего толком не знают!

И спохватился: Бурмистров ночевал у Рыбких. Володя — совсем мальчишка. Если его возьмут, выдержит ли пытки? Бьют зверски... Почему-то увидал печку. Как же бабушка-то? Свечу перед иконой жжет? Молится?

Проснулся от пинка в бок. Сергей Сахаров зубы скалил:

— На допрос, Шумавцов! Вместо зарядки. Приготовиться Апатьеву!

Все тот же кабинет старшего следователя.

Сахаров подвел Алешу к столу Иванова. Митька развернул круглый колпак лампы: свет ослепил, и в то же мгновение — удар в зубы.

«У Митьки свинчатка в руке!»

Во рту — кровавая каша. Кровь стекает с губ на рубашку.

— Сколько в твоей группе народу? Поименно, быстро!

Алеша стоял перед Митькой, слышал вопрос, но до Митьки — дела нет, уже ни до чего дела нет. Остается дожить дни, часы, потом ничего уже не будет.

— Имена! — заорал Митька. Алеша показал рукой на свои зубы. — Говорить не можешь? Садись, пиши.

Иванов положил лист бумаги, пригнул колпак лампы к столу. Сам обмакнул перо в чернила, подал ручку.

Алеша ручку взял, сел, нарисовал на белом, на сияющем под сильной лампой листке ромашку.

— Сам напросился! — наотмашь, по тому же месту, как молотком. Свинчатка у гада.

Тотчас поволокли, взгромоздили на лавку. Стулов ударил по спине шомполом, раз, другой, третий.

— Тащите его в камеру! — разрешил Иванов. — Соцкого ко мне!

— Но ты Апатьева велел! — напомнил Сахаров.

— Апатьев подождет.

Соцкому отсчитали десять ударов резиновым шлангом по ягодицам.

Они лежали рядом, Шумавцов и Соцкий. Алеша вспомнил. Ведь это Прохор нарисовал карту деревни Шупиловки. Отец у него лесник. Отец провёл сына по лесу, расположение объектов немецкой обороны были указаны точнее.

Соцкий лежал с закрытыми глазами. Не стонал, дышал толчками. Алеше стало совестно: усомнился в товарище.

Через час пришли за обоими. Соцкого — на выход, домой. Шумавцова отвели к врачу. Зубы выбиты, десны кровоточат. Врач, немец, два часа обрабатывал раны. И выписал бюллетень!

— Куда мне с ним? — стараясь не двигать губами, спросил Алеша.

— Домой! — пожал плечами Иванов.

И Шумавцова повезли домой. Правда, руки завели за спину, скрутили проволокой.

— Алеша! — Увидел: у бабушки губы дрожат.

— Показывай свои тайники! — заорал Иванов.

— А что вы ищете?

— Документы, шифры, оружие.

— Документы мои у вас.

— Мне нужны донесения. Комсомольский билет.

— Не имею.

— У тебя нет комсомольского билета? — изумился Митька. — У Хотеевых нашлись. И у тебя найдем. Или ты, испугавшись немцев, сжег свою святыню?

Приставили лестницу в сенях к чердаку. Руки не освободили. Пришлось Алеше лезть, полагаясь на ловкость.

Евдокия Андреевна — глаза на иконы, молилась без молитвы. Алеша-то ведь лазил на чердак, что-то прятал.

Тайник искали усердно. Начальник полиции Семен Исправников, полицаи Сергей Сахаров, Александр Сафонов.

Кроме паутины, ничего не нашли.

...Через десять лет, в 1952 году, Шумавцовы крышу меняли. Своим открылся тайник Алеши. Да еще какой тайник! Немецкая винтовка, парабеллум, солдатская шапка, пачка листовок и — комсомольский билет.

А вот пленница подвела подпольщика Шумавцова. Под дровами полицаи нашли схрон. В схроне — бикфордов шнур, взрывчатка, мины.

— Теперь ты пропал! — сказал Митька. — Окончательно. И все-таки предлагаю тебе, Алешка, в последний раз... Если берешь нашу сторону, мы — уезжаем, ты остаешься. Погляди на бабушку! На ней лица нет. Выбирай: остаешься с Евдокией Андреевной или поедешь с нами? Если с нами, жить тебе — дня три, может, четыре.

— Я остаюсь с Родиной.

— Ну, давай! Милуйся с твоей Родиной! — Митьке было жалко дурака.

Вернулись в полицию. Шумавцова выпороли резиновым шлангом. В коридоре у него подогнулись ноги, Сахаров тотчас ткнул парня под колено. Шумавцов упал. Били ногами.

В камеру пришел Иванов, наклонился над Алешей:

— Сладко тебе с Родиной обниматься?

— Сладко!

Иванов размахнулся ударить лежачего сапогом и не ударил. Ткнул, уходя, Апатьева.

— Какой нынче день? — спросил Лясоцкий.

Ребята не знали.

Постучали из соседней камеры:

— У нас Шура и Тоня Хотеевы. Тоню изнасиловал и ужасно избил Иванов. У Хотеевых нашли магнитную мину.

Поздно вечером в камеру приволокли Георгия Хрычкова, на своих ногах пришел... Володя Рыбкин.

У Хрычкова Шумавцов брал подписку о неразглашении тайны.

— Что тебе, Жора, клеят? — спросил Апатьев.

— С работы пришел, умываюсь, а тут — Сахаров: «Собирайся!» Привели в штаб полиции, а там — и женщины, и дети. Много народа загребли. Потом сюда повели, к вам. Иванов мне говорит: «Ну что, попался твой друг?» Я в ответ: «Ничего не знаю». — «Как не знаешь, вместе покушались на силу немецкой армии». Я свое: «Упаси Боже! Хоть голову руби — ничего не знаю». Митька и говорит: «Ах так! Клади голову на стол». Я положил. А у него на стене сабля висит. Он саблей замахнулся, но ударил резиновым шлангом. Потом кулаком в челюсть. Приписал мне двадцать пять розог. Бил Сухоруков, только не розгами, а шомполом. Я даже отключился. А там сидел, ждал своей очереди смельчак Рыбкин. Рыбкин говорил мне: «Ничего, пройдет».

— Конечно, пройдет! — сказал Володька.

— А тебя-то как взяли? — спросил мальчишку Апатьев.

— Иванов к нам домой пришел, спрашивал меня и маму о партизанах. Мы говорим: «Ничего не знаем». Он нас в тюрьму привел. Меня допрашивал вместе со Стуловым. У них одно на уме: кого я знаю из партизан, где у партизан стоянки... Говорю: «Откуда мне знать?» Меня не трогали. Посадили в большую камеру. Потом опять позвали. Иванов приехал в черном пальто, пьяный. Снял саблю со стены, лупил меня плашмя. Сюда теперь затолкали.

— Плохо дело, — решил Апатьев. — Они нас всех в ноябрьскую кончат. С праздником поздравят.

— Значит, еще поживем, — сказал Шумавцов.

— Какой нынче день? — снова спросил Лясоцкий.

— Завтра четвертое, ноябрьская через три дня, — вздохнул Хрычиков. — Ребята! А кое-кому из наших удалось уйти. К Римме...

— Молчи! — крикнул Шумавцов. — Никаких имен! У нас одно оружие осталось — молчание.

— Я немцев ни капельки не боюсь! — сказал Рыбкин. — Полицаи, сволочи, бьют, стреляют! Немцы — другое дело — детям шоколадки дают.

— Рыбкин, спать! Все устали. Всем нужны силы.

«Я все еще командую!» — Алеше было неприятно: осадил мальчишку. Суета сует. Чувствовал — что-то меняется внутри, прорастает иной человек. Этот человек знает: им всем отпущено жизни до праздника. Три дня. Может, с половиной. Но все, что любил прежний Шумавцов, во что прежний Шумавцов верил, к чему стремился — новому человеку было дорого. Дорого — не то слово! Цена каждому прожитому дню, часу, цена слову, поступку, любви, накопившейся в сердце за шестнадцать лет, — возростала до невыносимой необъятности. Прямо-таки — Галактика!

Иной человек, заменявший собой Алешу Шумавцова, был Правдой. Правдой Родины, правдой русского народа. Но эти две правды, такие великие, уступали собственной правде, его, Алешиной... Правде души? Бабушку бы спросить...

Перебирать жизнь, выискивая лучшее, что в ней было, — Алеша это понимал — не нужно. Все, что было, — запечатлено и останется с ним. Это ведь и есть единственное богатство человека, которое он возьмет с собой... Крота не позволил убить — счастье. Выругался, потому что все мальчишки матерились, — несчастье. Не постоял за правду своей души.

Вызвал в себе Шуру Хотееву.

Митька и Стулов насильовали Тоню, насильовали Машу, Лясоцкую, всех красивых... Выходит, Шуру не тронули. К Шуре у него была ласковая, потаенная тяга.

Счастье...

Остановил себя. Потом... И плечами пожал: «потом» не будет. Будет что-то очень большое, если не сломают. А что они могут... в нем сломать? Какой силой? Будут бить, резать, пронзать, жечь?

— Не получится у тебя ничего, предатель Митька! — вслух сказал и увидел: — Вот же оно!

Увидел себя посредине солнца.

Все ребята здесь. Это был сон. Это было открытие. «Мы — непобежденные! Мы — непобежденные, как Мария Михайловна. У нас у всех одно имя — Непобежденные!»

Алеша совершенно легко, без боли, без крови раздвинул грудь. И его сокровенное слилось с Истиной. Он летел и был Истиной, но не сам по себе и не ради себя, а ради Летящего через Вселенную Света, Чуда. Летящего, да ведь Неулетающего.

— Шумавцов! Лясоцкий!

Подняли пинками. Повели на улицу. Расстреливать? Но ведь утро! Расстреливают по ночам.

Две пары лошадей, две телеги. На каждой по пулемету. Полицаев десятеро. На крыльце появились следователи: Хабров и старший Иванов.

Полицаи связали руки подпольщикам. Лясоцкого — в телегу к Хаброву, Шумавцова — к Иванову. Поехали. Иванов сказал Алеше:

— Я тебя не спрашиваю, где у вас встречи со связниками. Я это знаю. — Алеша молчал. — Чего в рот воды набрал? На том свете поговорить будет не с кем. С Богом лясы не точат, Богу молятся. А попадешь в смолу — там орут похлеще, чем в нашем заведении.

Ехали в сторону Войлова, лесом. Полицаи нервничали, оружие держали в руках. Среди них тоже разговоров не было.

— Красивые денечки даны вам на прощание! — сказал Иванов.

Небо было синим, воздух еще мягкий. Березы не все свое золото уронили на землю.

— Шумавцов! Ты у нас все еще хорохоришься! — Тишина злила Митьку. — Мы тебя убьем, и ты — герой. Так, что ли?

— Люди для жизни живут, — сказал Алеша.

— Тебе до людей теперь дела нет! — Митька выругался длинно, безобразно. — Шумавцов! Ты должен быть со мной очень даже вежливым. Тебе сердить меня совершенно не выгодно... Ну, герой ты и герой! Если хлопнут тебя спроста. А ведь и здесь можно каверзу затеять... Напишу я, твой следователь, в твоих показаниях, что это ты выдал комсомолят. Напишу, что твое раскаяние высоко оценило гестапо, что тебя направили в Германию... И тебя, дружище, с г... смешают красные товарищи. А ты будешь гнить, праведник советский, под белой березою.

Полицейские посмеивались.

— Я с того света за тобой приду! — сказал вдруг Шумавцов.

Полицаи примолкли.

— Не то место, чтоб поучить тебя уму-разуму! — буркнул Митька и приказал: — Приготовиться! Остановливаемся на просеке.

Сам поглядывал на Шумавцова. Крепкий парень! Ни страха, ни волнения. Лицо равнодушное. На березки смотрит. Радуетя огромным соснам.

Остановились, приготовили оружие. Пошли цепью.

Попалось небольшое кострище. Такой костерок могли, скорее всего, пастушкí разложить.

Иванов упрямо гонял полицаев и Шумавцова с Лясоцким по лесу. По болоту чавкали.

Небесная синева исчезла. Небо затянуло серым, пошел мелкий дождь.

В Людиново вернулись ночью.

В камере Шумавцов сказал Саше:

— Ты заметил? Полицаи тюрьме обрадовались.

— Так ведь теплее и не капает.

— И капало, и чавкало, но целый день без мордобоя, без пинков.

— Не заболеть бы! — волновался Саша.

— Бюллетень дадут! Мне, когда зубы вышибли, бюллетень выдали.

Из соседней камеры сообщили:

— У нас нынче отпустили Марию Кузьминичну Вострухину.

— А у нас — Хрычикова! — сказал Володя Рыбкин. — У него был обыск дома. Ничего не нашли. Может, и нас отпустят?

Знак вопроса ударился о потолок, о стены и разбился о решетку на окне.

Лясоцкие и Рыбкины

5 ноября Иванова вызвал комендант Бенкендорф.

— Вчера, — доложил старший следователь, — обнаружить связников не удалось. Сегодня постараюсь выяснить день или дни, когда партизаны выходят на связь с подпольщиками.

— Командование поставило перед вами, Иванов, следующую задачу: арестуйте семьи Лясоцких и Рыбкиных.

— Для высылки в Германию?

— Нет. Оба семейства подлежат расстрелу.

— Господин комендант! У Лясоцких и Рыбкиных совсем маленькие дети. Почти младенцы.

— Расстрелять всех! Это приказ генерала.

Приказ снимает вину...

Екатерина Николаевна Рыбкина, жена партизана, уже в тюрьме. Володке, ее сыну, тринадцать лет. Этого можно прогнуть — не дитё. А вот дочери — два года с половиной. И придется искать малышку.

Верочку Иванов отобрал у бабушки. Екатерина Николаевна беду чувствовала материнским сердцем, а спрятать дочь не сумела. Рыбкины собраны.

У Лясоцких в тюрьме старшая из дочерей, замужняя, и старший из сыновей, но семейство и не подумало разбежаться.

В полицию привезли старых и малых. Главу семьи, лесника Михаила Дмитриевича. Ему было пятьдесят пять лет, его жену, мать шестерых детей, Матрену Никитичну. Ей в 1942 году исполнилось сорок семь лет. Нине — пятнадцать, Лиде — тринадцать, Зое — пять, Коле — десять. Подпольщикам Марии Михайловне — двадцать три, Саше — восемнадцать. Тамару Владимировну — дочку погибшего партизана Саутина и Марии Михайловны — тоже доставили в полицию. Тамара родилась в 1940 году...

Подняли Лясоцких и Рыбкиных в пять утра. Ноябрь. Темно.

Женщинам сказали: «Вас всех отправят в Германию».

Володю провели мимо кабинета старшего следователя. Дверь открыта. Полицай со стаканами, Иванов самогонку из бутылки разливает.

Заправляются.

Володя, выходя на холод, увидел эсэсовца возле легковой машины. Лясоцких и маму с Верой охраняли Доронин и Сухоруков... Появился Иванов с полицаями. Махнул рукой:

— Шагом марш!

Шли по Гуцинской улице.

Екатерина Николаевна Веру несла на руках. Сказала Володе:

— Меня вчера спрашивали о Ящерицыне.

— Откуда тебе знать, где Ящерицын?

— Я тоже так сказала. Возьми у меня Верочку. Тяжело на сердце.

Володя взял сестренку. Она положила головку ему на плечо. Задремала.

Около бойни всем пришлось подлезть под проволоку ограждения. Провели мимо железнодорожного моста.

— Какая же тут Германия? — Володя остановился, оглядывался. Увидел Иванова. Тот смотрел на колонну с моста.

Прошли без дороги метров сто. Тьма не убывает. Нести Верочку стало тяжело. Володя искал глазами маму. Предупредил:

— Осторожно! Тут — яма. Вернее, погреб разбитый!

Все подходили к погребу, чтобы обойти. Вдруг Доронин взмахнул рукой. Грохнуло. Из головы Веры ударил фонтан крови...

Володя рухнул в яму. Винтовки ахали вразнобой, но в погреб падали, падали, а Володя все держал, не отпуская, сестренку. В голове заклинило:

«Они стреляют разрывными! Они стреляют разрывными!»

Но грохот смолк. Все смолкло. К яме подошли полицаи. Сухоруков спросил:

— Зарывать будем?

Ему ответили:

— Земля мерзлая. Не получится.

— Может, гранату кинуть? Вроде стонут. Парочку гранат.

— Зачем? Вон, доски от ворот, столбушок. Кидайте, и пошли отсюда.

В яму полетели деревяшки.

Полицаи ушли.

— Верочка, я — живой! — сказал Володя сестричке. — Я тебя оставляю.

Раздвигая убитых, стал выбираться.

А кто-то стонал. Вылез — стонет. Стонет!

Кинулся прочь. Бежал не останавливаясь до самого дома. Возле дома опомнился: нельзя! Побежал к бабушке, к Анне Павловне. У нее фамилия не Рыбкина. Она — Потапова. К ней не придут.

Казнь

Мы храним в памяти героев.

Но убийц, стреляющих по детям, нельзя не помнить. Расстрелом командовал Михаил Доронин. Стреляли: Павел Птахин, Николай Растегин, Носов. Пятого не установили. Утром Иванов послал следователя Хаброва на место казни посчитать трупы и составить протокол.

Посчитали — десятеро, а на расстрел отвели одиннадцать человек. Снова посчитали — десятеро.

— Мальчишки нет! Рыбкина! — взвыл Доронин.

Митька, узнавши новость, выругался, сунул кулак под нос лучшему другу. А потом по плечу хлопнул.

— Объявлю награду за поимку мальчишки. Кто приведет, получит пять тысяч марок и корову. — Глянул на часы. — Через десять минут выводи Шумавцова и Лясоцкого. Лясоцкий еще не знает: все его родственники райские яблочки теперь кушают.

— Не надо смеяться! — у Доронина под глазами черные разводы.

— Я не смеюсь, — сказал Митька. — Какой тут смех! Ты стрелял — тебе в смоле кипеть.

— Не стрелял! Я не стрелял.

— Приказал стрелять.

— Приказал ты.

— А мне Бенкендорф, а Бенкендорфу — генерал, генералу — Гитлер, Гитлеру — сатана. Не горюй, Миша! Мы с тобой выкрутимся.

Опять было две телеги, те же полицаи, те же следователи, Митька Иванов да Иван Хабров, но из Гехаймфельдполицай прислали унтер-офицера и трех солдат, немцев.

Ехали той же дорогой, на Войлово. Остановились возле просеки. Прошли цепью, но кучно, единой группой. Миновали знакомый костерок.

— Показывай тайник! — Митька сунул дуло пистолета в ухо Саше Лясоцкому.

— В пяти шагах от пня.

— Показывай!

Саша подошел к потаенному месту, поднял моховую кочку. В земле — чугунок.

— Ваш почтовый ящик? — Митька достал блокнот из полевой сумки. — Пиши письмо.

— О том, что я арестован?

— Не умничай! Чего угодно можешь писать. «Братцы! Приходил к вам, вас не было».

Саша взял блокнот, карандаш.

— Так и писать? — Показал блокнот Митьке.

Тот выдрал листок.

— В чугунок кладете?

— Под чугунок.

— Положи сам.

Саша положил письмо в тайник. Чугунок закрыл мхом.

Отошли за деревья. Затаились.

— Они нас небось видели, — сказал Доронин.

— Не каркай! — заорал Митька и палец к губам: — Тихо!

Слушали. Не дышали.

Немцы подняли автоматы.

Шумавцов рванулся из леса, закричал:

— С нами немцы! Уходите!

К Шумавцову кинулся Сафронов. Разбивая в осколки тишину, ударили выстрелы. Сафронов вскинул руки, повалился.

Селифонтов от живота полоснул по лесу из пулемета. Упал за пенек, срезал очередями березки.

Немцы и полицаи залегли.

Партизаны отвечали очередями из автоматов.

Саша Лясоцкий тоже крикнул:

— Если вас много — помогите! Если мало — бегите!

И все закончилось. Немцы и полицаи поднимались с земли. Страхивали прилипшие к шинелям листья.

Хабров потрогал Сафронова за шею:

— Убит.

— Принесу топор, — сказал Иванов и пошел к телеге.

Немцы стояли чуть в стороне. Полицаи — гурьбой. Шумавцов сказал Лясоцкому одними губами:

— Их было двое.

— Не разговаривать! — закричал Хабров.

— Они же в камере вместе сидят! — усмехнулся Доронин.

Иванов принес топор, срубил две березки.

— Кладите Сафронова на куртку — вот вам и носилки.

— За тем и приезжали? — зло сказал Доронин.

— Они нас видели, а мы могли отвечать только на их выстрелы! — утихомирил друга Иванов.

— Это он партизан предупредил! — Сахаров уперся глазищами в Шумавцова.

— Лясоцкий тоже кричал, — сказал Доронин.

— Они свою участь сами решили! — Иванов подошел к унтер-офицеру.

Полицаи несли Сафронова, немцы шли, поотстав, за немцами — Шумавцов и Лясоцкий. Позади — Селифонтов с пулеметом на плече и Митька.

Унтер-офицер приказал солдатам продолжать движение, а сам поравнялся с Митькой. Спросил глазами: где мой? Митька кивнул в сторону Лясоцкого.

Достали парабеллумы. Каждый выстрелил по два раза.

Селифонтов на выстрелы не оглянулся.

Унтер-офицер посмотрел на «своего» партизана, потом на Митькиного:

— Мальчики.

И вдруг взял Иванова за руку. Показал его рукою на свои ноги, на левую свою руку:

— Выстрели! За кровь в бою с партизанами полагается отпуск домой. Домой хочу. Я очень хочу домой.

— В следующий раз! — согласился всерьез Митька. — Здесь народу много.

Унтер-офицер даже не улыбнулся. Ему очень хотелось быть от партизан, быть от русских, быть от своих гениев войны — как можно дальше.

Полицаи почти дошли до лошадей, до телег. Митька вдруг спохватился, побежал обратно.

Вернулся, в ноги глядел, будто искал чего-то. Ехали в Людиново — от земли так и не поднял глаза, будто ему запретили смотреть на небо.

Когда Людиново освободили, нашли тела Лясоцкого и Шумавцова. Тело Алеши было обезглавлено.

Верить своим

Нина Зарецкая вошла в дом, сняла пальто, шляпу, сняла боты. И — зарыдала.

Потянулась руками к отцу, поцеловала крест на его груди. Опустилась на колени.

— Папа!

Матушка принесла воды, валерьяны.

Глядя на отца снизу вверх, Нина открыла то, что принесла в себе:

— Они — убийцы! Бенкендорф — первый.

Ее подняли с полу, усадили на диван, воду она отстранила.

— Лясоцких расстреляли. И дочку старшей их дочери, двух лет. И семью Рыбкиных — тоже. Рыбкиных трое. И тоже девочка, двухлетняя. А мальчик, Володя, который связной у партизан, из могилы убежал. У Лясоцких в семье девять человек. В живых остался один Саша, потому что он в тюрьме. Сегодня Сашу и Шумавцова повезли в лес ловить партизан. Партизаны убили полицая Сафронова, но Иванов вернулся без Саши Лясоцкого и без Алеши Шумавцова. Это все, что я знаю.

Отец Викторин быстро оделся.

— Батюшка, не к графу ли ты собрался?! — перепугалась Полина Антоновна.

— К немцу, матушка! К немцу! Я — пастырь. Волки пожирают мое стадо.

— Ты Магде ударь челом! Больше будет проку! — уже на крыльце посоветовала матушка.

Графиня Магда приняла отца Викторина сочувственно.

— Военные власти запугивают население. Верный признак неудач на фронтах. Под Сталинградом наши войска потеряли очень много людей, но Красная армия все еще удерживает узкую полосу вдоль Волги. Отец Викторин, вы должны быть опорой графу Александру Александровичу. Он желает добра гражданам Людинова.

Бенкендорф отцу Викторину обрадовался, говорить только не дал.

— Понимаю ваше горе. Это и мое горе. Однако разве не чудовищно: среди террористов — женщины!

Девочек одурачили, они еще безрассудны. Но мать, имеющая младенца, берет в руки мину, ставит мину на человека! Стало быть, и на собственное дитя! — Коменданту нужно было вдохнуть воздуха, и отец Викторин успел вставить слово.

— Граф! Я взываю к вашему милосердию. Остановите убийство юношей и девушек!

— А я взываю к вашему благоразумию! — закричал Бенкендорф. — Извольте, пастырь, убедить молодых людей беречь себя от смертоносных затей. Мальчик должен быть мальчиком, а девочка — девочкой. Только и всего! — Нашел среди бумаг документ. — Вот уровень моего доверия. К вам, отец Викторин! С июля по ноябрь под Сталинградом наши войска потеряли более полумиллиона солдат, самолетов — более тысячи, почти тысячу танков. Мы в Людинове — тыл. В тылу потери недопустимы. Не-до-пу-сти-мы! А у ваших юношей и даже у девушек — найдены мины!

Граф проводил пастыря до дверей своего комендантского кабинета:

— Я надеюсь не меньше вашего: казни прекратятся. Буду говорить с генералом.

Был ли храбр Бенкендорф ходатайствовать за подпольщиков перед Ренике?

Тайная полиция 7 ноября расстрелами отметила Марию Ярлыкову арестовали за связь с партизанами. Ее зять, Александр Королев, был в отряде. Женщину держали в камере четверо суток. Допросы вел Иванов. На одном из них она встретилась с Толей Апатьевым.

— Мне Митька велел дать двадцать девять розог, — сказал Марии Толя.

Ярлыкова посчитала: вместе с ней в тюрьме сидели двадцать семь человек. Отпустили только шестерых.

7 ноября у Сукремльского водохранилища расстреляли Тоню и Шуру Хотеевых, Толю Апатье-

ва и военнопленного, который предпочел умереть безымянным.

Но то ли это была хитрость Бенкендорфа и Айзенгута, то ли план Иванова — опорочить память мучеников — был запущен в действие, по Людинову поползли слухи: сестер Хотеевых и Апатьева немцы перевели в Жиздру. Потом стали говорить — увезли в Германию.

С героями войну враг ведет вечную. Герой — оружие народа. Не устаревающее, действенное.

Было время, когда опорочили имя Олега Кошевого, вожака «Молодой гвардии» из Краснодона.

Во время разрушения СССР новые идеологи — оскотители русского народа — подвергли насмешкам подвиг Александра Матросова, закрывшего телом вражескую амбразуру. Измывались над Зоей Космодемьянской. Велик ли подвиг — сарай не сумела поджечь! Верно! Зоя не убила немца, сарай не подожгла. Но в свои семнадцать лет — она вышла к виселице, как дочь России. Как сама Россия — не покорившаяся. Юношеским, оголенным, обмороженным телом заслонила страну, всех нас — будущее своего народа.

Людиновцы: Антонина Хотеева, Александра Хотеева, Анатолий Апатьев — поныне без вести пропавшие.

Остались живы? Это было бы добрым чудом. Одно неоспоримо: все трое в самые страшные годы — в 41-м, в 42-м — сражались за победу над Гитлером, за нашу с вами жизнь.

Спецслужбы — дьяволиада. Мы, веруя в чистоту наших героев, не предадим ребят. Какую бы жизнь им ни уготовили, они прожили ее русским сердцем.

С нас ведь тоже спросится, если мы не сможем распознать масок зла, если мы не отстоим нашей любовью наших героев от подлости, от посягательств на нашу с вами совесть.

Мы живем в такое время, когда посеянное в нас сомнение в великом прошлом страны — есть предательство. Родины, народа, имени русского.

Расстрелянный Рыбкин

Убитая разрывной пулей двухлетняя Вера спасла своего дядю от смерти. Бабушка отмыла внука от крови его спасительницы и ночью отвела к дальним родственникам. А родственникам стало страшно: мальчишку, чудесно спасшегося от расстрела, искали. Бабушка забрала внука обратно к себе.

В тот же день и нагрянул в их дом Митька Иванов. С ним был немец.

— Рад за тебя! — весело сказал Митька. Немец тоже удивлялся, головой качал:

— Счастливый человек!

Иванов достал из офицерской сумки карту, разложил на столе:

— Покажи нам, Володька, где находится партизанский отряд.

Рыбкин к столу подошел, коли зовут, но на карту смотрел с испугом:

— Я на карте ничего не знаю.

— Ты в школе учился?

— Учился.

— Карту на географии учительница приносила?

— Приносила. Я Каспийское море могу показать.

Митька улыбнулся:

— Выходит, ученик ты был хреновый?

— Хреновый, — серьезно согласился Рыбкин.

Митька даже обнял паренька:

— Учителя у тебя были хреновые! Я же вижу — ты умный. Вот смотри: серые квадратики — наш город.

— Это я понимаю. Тут написано: «Людиново».

— Синее пятно — озеро. Черная полоса — железная дорога. Видишь, Вербежичи... Куда от Вербежичей двигаться, чтоб попасть к партизанам?

— Не знаю! — пуще перепугался Рыбкин.

Митька в кулак крикнул.

— Бабушка! Вы не волнуйтесь, но мы возьмем Володьку с собой.

— В тюрьму?!

— В немецкую жандармерию. Покажет нам, где партизаны, — тотчас отпустим.

Люди, увидев, как ведут Володьку Рыбкина, замирали. Богородица от смерти отрока спасла, и вот снова гонят. Неужто расстреливать? Какой это партизан! Пацаненок!

Офицеры немецкой Тайной полиции приходили посмотреть на удивительного русского мальчика. Угощали.

Допрашивали Рыбкина унтер-офицер Крейцер и Митька Иванов. Приходил, сидел на допросе Айзенгут.

Володька попытался разобраться в карте, но страх мозги застил.

— Хорошо! — сдался Иванов. — Отвести ты нас можешь в отряд?

— Могу! — обрадовался Володька. — Только я в лес не ходил. Я могу тайник показать. Я Шумавцову носил приказы, а его донесения в тайник прятал.

— А кто приказы носил? Кто забирал донесения?

— Посылкин.

Крейцер предложил Иванову отправить мальчишку в камеру.

— Нет! — сказал Митька. — Во-первых, два раза не расстреливают. Беду наживешь. А во-вторых, нам полезнее отпустить этого субчика. Голову на

отсечение — он выведет нас на Посылкина, Посылкин — на отряд.

Немец поморщился, но согласие дал. Володька прибежал к бабушке. Анна Павловна повела внука в церковь.

— Отец Викторин! Внучок-то мой из могилы живым вышел. Окрести ты его на новую жизнь!

— Как тебя зовут? — спросил батюшка партизана-отрока, пережившего допросы, расстрел и отпущенного немцами, скорее всего, как приманку.

— Володя! — сказал Рыбкин.

— Ты некрещеный?

— Крещеный.

Отец Викторин с удивлением посмотрел на бабушку.

— Прости старую дуру, батюшка! — заплакала Анна Павловна. — С ума схожу! Дочь расстреляли, Верочку, внучку мою, — расстреляли. А Володьку Богородица вернула. Вот я подумала: у парнишки — вторая жизнь.

Отец Викторин причастил и бабушку, и внука. Посоветовал:

— Спрячь, Анна Павловна, мальчика. За ним могут прийти.

— Я его — в бункер! — осенило бабушку.

Бункер остался от Красной армии. Командирский пункт, что ли, строили?

Дала бабушка Володьке старую шубу, картошек напекла. Три дня сидел парень в бункере. Наконец бабушка прибежала, а сказать ничего не может: язык у нее отнялся.

Пошли домой. Написала бабушка карандашом на листочке: «Два раза приходили немцы. Потом пришли партизаны за тобой».

Володька обрадовался, дождался ночи, пошел партизан искать.

Два дня бродил по лесу: никого! Вернулся.

Жил у родственников. Надоело в погребѣ сидеть. Убежал в лес, своих искать. Нашел. А в отрядѣ страшно: многие сыпным тифом болеют.

Но вот что преудивительно!

Ни единый человек не обеспокоился, чего ради мальчик в лес прибежал. Ни Золотухину, ни в штабе не было известно: семья Лясоцких и семья Рыбкиных — расстреляны.

Володька — чудом спасшийся счастливец.

Непутевый провал

19 ноября две советские армии — 5-я танковая и 21-я общевойсковая — прорвали оборону 3-й румынской армии. Немцы, стоявшие за спинами румын, предприняли контрудар. Но в сражение были брошены два танковых корпуса резерва Красной армии: 1-й и 26-й. Немцы были разгромлены. 23 ноября части 26-го корпуса овладели городом Калач.

20 ноября в наступление пошли 51-я, 57-я и 64-я армии Сталинградского фронта. На четвертый день натиска 22 дивизии и 160 отдельных частей 6-й армии Паулюса и 4-й танковой армии были окружены. Кольцо с каждым днем сжималось.

Военные действия обострились и в районе Жиздры.

Нагрянула немецкая часть в Черный Поток. Жителям было приказано покинуть дома и переселиться в соседние деревни.

Лиза Зайцева с семьей учителей, уложив вещи, картошку, зарезанного поросенка, зарезанную козу, кур в сани, переехали в Заболотье.

Хозяева, где нашли приют, были рады таким постояльцам: у них мясо, у них своя картошка.

На другой день Лиза отправилась с хозяином дома в Черный Поток. Нагрузили сани картошкой, капустой, свеклой. Вернулись радостные.

На другой день снова собрались за богатствами, уже въехали на гору, возле Заболотья посмотрели в сторону Черного Потока. А вместо деревни — остовы сгоревших домов.

Мужчины сообразили:

— «Катюши» поработали.

Вернулись ни с чем. Много позже учителя, у которых жила Лиза, найдут свой дом невредимым. Дом стоял под огромными ракетами. Кроны деревьев укрыли человечье гнездо от огня.

А в отряде Золотухина больных становилось угрожающе много. Володе Рыбкину в лесу пришлось пожить всего три дня.

Золотухин и штаб отправили в Людиново Афанасия Посылкина и двух подростков: Семена Щербакова и Володю Рыбкина.

Отправляя разведчиков за докторами, ни единый особист штаба так и не спросил Рыбкина, почему он убежал из дома. А в Людинове на утренних поверках старший следователь Иванов напомнил полицаям, идущим занимать посты на дорогах, приметы спасшегося от расстрела подростка.

Посылкин и ребята без приключений дошли до Людинова. Афанасий Ильич остался в лесу ждать докторов Соболева и Евтеенко. За докторами отправились Семен и Володька.

К Людинову шли по дороге со стороны Березовки.

— Эй, ребята! Хендэ хох!²⁰ — окликнул их полицай Фирсов и, глядя на Рыбкина, обрадовался: — А по тебе, парень, очень даже скучает мое начальство!

Когда шли через площадь, с Фирсовым поздоровался молоденький полицай:

— Привет, Петя! Где рыбку поймал?

²⁰ Hände hoch! (нем.) — Руки вверх!

— Места надо знать! — отшутился Фирсов.

Щербаков — голову к груди, плечом загородился. Шепнул Володьке:

— Зараза! Это Сиваков! Я с ним в разведку ходил.

У Сивакова отец, мать, сестра — в отряде, но сам он попал в плен и, спасая шкуру, пошел в полицаи.

Сиваков узнал Семена. Ничего не сказал.

— Может, пронесет? — обнадежился Рыбкин.

Ребят доставили в кабинет старшего следователя.

— Вова! Друг мой! — расцвел Митька. — Где ты пропадал? У партизан, что ли?

— У партизан, — признался Рыбкин.

— Так это то, что надо! — Тотчас расстелил карту на столе: — Ну, показывай.

— Я тебе говорил — не понимаю в картах! — насупился Рыбкин.

— Но провести теперь можешь?

— Идти уж очень далеко!

— Ну ладно! Далеко так далеко! Поглядим, что у твоего товарища припрятано.

Обыскал Щербакова.

— Смотри, какие хитрецы! — веселился Митька. — Потайной карман под коленкой.

В кармашке были спрятаны две записки. Иванов одну развернул.

Адресована Евгению Романовичу! Партизаны звали Евтеенко, врача больницы, друга Иванова, и другого врача, Льва Михайловича Соболева, — в отряд.

— Это чепуха! — весело сказал Иванов, порвал записку, клочки бросил в раковину и открыл воду.

Дверь кабинета отворилась.

Вошли начальник полиции Исправников и с ним Сиваков.

— Этот! — показал Сиваков на Семена.

Исправников обрадовался:

— Дмитрий Иванович! Придется все дела отложить. Задержанный Щербаков — партизанский разведчик и связник. Если он в городе, значит, за городом его ожидает Афанасий Посылкин.

— Командуй общую тревогу! — сказал Иванов начальнику и повернулся к Семену и к Володьке: — Вот что, ребята! Сейчас у нас очень все серьезно и очень быстро. Если хотите жить, ведите нас туда, где оставили Афанасия Ильича. Я ему тоже предложу жизнь. Сивакова видели? Жив-здоров. А мы знаем, что все его родные — в отряде.

Ребята молчали.

Иванов развернул вторую записку.

— У вас одна минута. Решайте сами — жизнь или смерть.

Записка была адресована медсестре городской больницы Марии Ильиничне Беловой. Писала партизанская медсестра Капа Калинина. Спрашивала о сыне. Семилетний Миша жил у Марии Ильиничны.

И две строки приписки:

«К. А.! Немедленно уходите в отряд. Золотухин». Белова не знала, что ее близкая знакомая Клавдия Антоновна Азарова — Щука.

— К. А.! — хмыкнул Митька. — Сколько веревочке ни виться...

Надел пальто, взял автомат, положил в кобуру парабеллум:

— Пойдемте, ребята!

Ребята пошли. Сидели в машине рядом с Сиваковым.

Приехали к месту, где их поймал Фирсов.

— Показывайте! — распорядился Иванов.

— Там! — Рыбкин показал влево, Щербаков — вправо.

— Точнее!

— Мы здесь из леса вышли! — сказал Щербаков. — А ждать Посылкин нас будет где-то тут. Сказал: сам увидит нас.

Полицаев было двадцать человек. Рассыпались цепью. Пошли. Одной группой командовал Иванов, другой — Доронин.

Полицай Никифор Селифонтов шел с пулеметом. Сороку летящую углядел, тотчас дал длинную очередь. И в ответ — очередь. Но так... Автомат трыкнул и заглох.

Полицаи кинулись вперед. Посылкина прошило несколько пуль.

— Доронин! — приказал Иванов. — Сооруди носилки.

Носилки соорудили. Подняли партизана. Понесли.

— Бегом! — скомандовал Иванов. — Он живым нужен. В госпиталь! К немцам!

Арест К. А.

Посылкина оперировали, но сознание не возвращалось.

— Как только очнется, сообщите! — договорился Иванов с человеком, отвечающим за безопасность, и предупредил: — Русских врачей к партизану не допускайте.

В полиции старшего следователя ожидал Петр Фирсов.

— Ты меня вызывал? — спросил полицай.

— Вызывал. Пошли к Исправникову.

Исправников вручил Фирсову премию за поимку партизана Рыбкина: пять тысяч марок. Вот только обещанной коровы не было. Вместо коровы предложили козу.

Фирсов даже обрадовался:

— Не надо сена искать!

И наконец Иванов остался один. Закрыв на ключ кабинет, достал из тайника бутылку самогонки. Поглядел на свет:

— Как слеза.

Хотелось отгородиться от пережитого за день, но самогонку спрятал. Впереди — вечер. И какой вечер! Целый год к нему шел.

Сорвал листок с численника. 9 декабря. Долгота дня — 7 часов 11 минут. Заход в 15.57.

За окном удивительный свет. Любимое волнующее время. Молодая зима. Скрипы снега под ногою. Грудь распирала сумасшедшая радость.

Год тому назад он был — никто. Для Людинова, для великого Советского Союза и для великой Германии тоже. Да ведь и для Бога! Митька был пригоден разве что рыть окопы. Человеческая пыль.

— А теперь ты у нас — вершитель судеб! — сказал себе Митька, без радости, без издевки.

Покончено с комсомольским подпольем. Шумавцов, Лясоцкий, сестры Хотеевы, Апатьев Анатолий. Пока что здравствует Апатьев Виктор. Вовремя слинял — но ведь и никому не нужен. Очкарик Евтеев... Доносы имеются, но обыск ничего не дал. Кто-то скажет: Евтеев — одноклассник Иванова. Так оно и есть. Иванов своих — вы правы, господа! — выгораживает. А братья Цурилины? Соседи Шумавцова. Наверняка он их завербовал. Но Цурилины — пацаны. Такие же, как Рыбкин, как Щербаков. Есть за что обоих поставить к стенке. А можно и спасти. Служили партизанам? Велика важность! Теперь послужат немцам. Русскому человеку нужно набираться жизненного опыта... Когда-нибудь Бог смилостивится, позволит русским быть хозяевами на своей земле... Впрочем, сие несбыточно.

Отворил кабинет. Проверил парабеллум. Впереди — увлекательное дело: арест Азаровой — К. А.! Белову И. И. можно будет взять завтра.

Заглянул Стулов.

— Василий! Зайди к Исправникову. Я думаю, он тоже будет с нами. Интересно, напустит ли в штаны величавая дама, когда увидит нас?

Хихикнулось. И стало мерзко.

Через час они были в квартире, где Иванов любил справлять праздники. И — маленькая, но удача. К Азаровой после работы зашла Мария Белова. Взяли обеих.

Шел обыск, когда вернулась с работы Олимпиада Зарецкая.

— Пока что не за вами! — сказал ей Иванов. — Дайте только срок!

— Олимпиада! Вот ключи, на столе. Миша в доме один. Отведи его к моей маме! — попросила Белова.

Исправников не возражал.

Азарову и Белову полицейская свора увела: такая вот добыча — одного дня!

Многая лета!

— Папа! — В глазах грусть, но Нина не плакала. — Он в коридоре шепнул мне, что идет арестовывать К. А., и был такой счастливый, будто его ждала любимая. Папа, он знал, что делает мне больно. Он — сатана?

— Несчастный человек! — сказал отец Викторин.

— Несчастный! — вскрикнула Нина. — Это он-то несчастный?

— В детстве его, его маму, братьев и сестер выгнали из своего дома. Отца посадили в тюрьму. Потом, когда семья оправилась от страшного, отца расстреляли... А тут — война. Партизаны пришли, ограбили дом, увели кормилицу семьи — корову. Убили брата. Немцы убили дядю.

— У двух третей России — та же судьба! — Полина Антоновна обняла дочь. — Не надо о нем говорить. Вы о Клавдии подумайте. Он все жилочки из нее повытянет.

— Молитесь! Молитесь!

— Мамочка! Мамочка! — вскрикнула Нина.

— Клавдия никогда не была большевичкой, но она — русский человек! — Полина Антонова глянула на дочь сурово, но приласкала с нежностью. — Клавдия не предаст. Отец! Есть ли хоть какая возможность спасти ее? Что ей могут поставить в вину? Она никого не убивала, она избавляла людей от гибели, от рабства.

— Абсолютное большинство спасенных никогда не узнают имени ее, — сказал батюшка. — Для христианина это хорошо.

— Это несправедливо! — Нина расплакалась.

— Был бы у меня полк, я бы вас утешил. — В горе отец Викторин спину держал негибимо прямо. — Пойду готовить проповедь о посте.

— Как ты можешь думать о чем-либо? — Тут и матушка заплакала.

— Меньше времени о себе задумываться. Тем более — страшиться.

Ушел в свою комнату, принялся подбирать тексты Евангелия, где сказано о посте.

Речения переписывал в тетрадь. «Послание к Римлянам, 14, 21–23. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех». «Второе послание к Коринфянам, 11, 26–27. Много раз в... труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе».

Не пометив источника, сделал еще выписки: «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность».

Отец Викторин застонал, уронил перо. Посты не уберегли Россию ни от революции, ни от Гитлера...

От Наполеона не уберегли, от Батыя не уберегли.

Зажег свечу, смотрел на пламя.

Язычок огня светлел; свет был теплый, не слепил, успокаивал.

Судьба России — у Бога.

Из рабства Золотой Орды родилось государство, объяввшее Север и Восток до океанов. Лишившись в смуту царя, самостоятельности, пройдя искушение всяческими падениями, оно обрело не только прежние границы, но было вознаграждено воссоединением Малой России, Белой России... А теперь — война, миром невиданная. Москвы враг не получил, на Волге бит жесточайше... Но в Людинове-то совершилось чудовищное: погибли юноши и девушки. Убиты справедливые, чистые сердцем.

В храме в тот день службы не было. Отец Викторин служил дома.

Уже перед сном матушка спросила:

— Батюшка! За уставными многолетиями ты пел нынче: «Богохранимой стране Российской, властем и воинству ея... и первоверховному Вождю!» Это ведь Сталину — многая лета?!

— Сталину, — сказал батюшка. — Когда Людиново вернулось на неделю в лоно Советского Союза, приходил в наш храм один офицер. Он мне доверился: в Елоховском соборе в сорок первом году, на Казанскую, служил владыка Николай Ярушевич. Владыка на том праздничном богослужении говорил проповедь. И было сказано: «Мы победим врага под знаменем Богородицы. С нами Бог! С нами Богородица! Мы верим — победа придет!» И протодиакон — родной брат начальника СМЕРШа Абакумова — провозгласил: «Богохранимой стране, властем и воинству и первоверховному Вождю», а хор и молящиеся утвердили: «Многая лета!» Я, матушка, убежден: то, что поют в церквах

России, и мне петь не грешно... По крайней мере — дома.

— Батюшка! А может Сталин вернуть России патриарха?

Отец Викторин удивился:

— Экие у тебя вопросы! Впрочем, наши хотения Бог слышит. Для возрождения Церкви — патриарх необходим. Для победы — Церковь Сталину нужна. Так что, матушка, будет по-твоему.

— А ты у меня — смелый пастырь! — сказала Полина Антоновна.

— Вот когда «Многая лета» спою в храме, тогда буду смелый. Нынче смелость наша должна быть умной. Живем и молимся, окруженные со всех сторон врагами.

Ложь и правда

Десять дней Митька Иванов со сворой полицейев пытал Клавдию Антоновну Азарову и Марию Ильиничну Белову. У Беловой в доме все десять дней ждала партизан засада.

19 декабря начальник Тайной полиции Антонио Айзенгут сам допросил Олимпиаду Зарецкую.

— Я работала бок о бок с Клавдией Антоновной. — В глазах Зарецкой сверкали слезы. — Я жила с ней через стенку. Мы вместе завтракали, мы вместе работали, принимали гостей! Господин офицер! Нашими гостями были Иванов, Андреева, врачи, которым недавно дали комнаты в нашей квартире. Но — партизаны?! Партизаны ставят мины в городе! Партизаны вызывают самолеты, и на наши головы падают бомбы!

Олимпиада Зарецкая защищала подругу с отчаянием: очаровательная Клавдия Антоновна ненавидит зло, а партизаны — зло.

— Здесь что-то не так! — говорила Зарецкая Айзенгуту. — Вы сами всё проверьте. Пожалуйста! Вы опытный офицер, вы не допустите ошибки!

Айзенгут Олимпиаду Зарецкую отпустил, а Митька Иванов — тоже ведь удивительная новость! — избавил от наказания Рыбкина и Щербакова. Семёна отправили в Бытошь, на работы в немецкой части.

Володьку — в Курганье, в немецкий батальон — ездовым и конюхом.

Врачей Соболева и Евтеенко не тронули. С Евтеенко Иванов даже крепко гульнул. Мало того! Бывшего советского офицера Бойкова, у которого в сапоге нашли партбилет, Митька устроил на завод — инженером! Отпустил арестованного Астахова, отпустил Николая Евтеева, одноклассника. Сказал ему прямо:

— Я знаю, ты входил в группу Шумавцова. Но дело это законченное. Группы не существует. Живи, но помалкивай.

А тут еще по Людинову прошел слух: Иванов заступает за арестованных. В КПЗ сидел партизан Коликов, а рядом с КПЗ помещалась колбасная. Колбасники, немцы, устроили для себя развлечение. Вваливались в камеры и всласть лупили сидельцев. Митька пошел к самому генералу, и генерал вход колбасникам в КПЗ запретил. И в тот же день Митька пострадавшего от побоев Коликова отпустил на все четыре стороны.

20 декабря полицаи отвезли Марию Ильиничну Белову на станцию Вербицкую, расстреляли на обочине шоссе. И оставили. Так лежат на дорогах трупы собак, кошек. Но герои сраму не имеют. Позор казни — дно пропасти, о которое расшибается зло.

Клавдию Антоновну видели, когда ее вели по коридору из Митькиного кабинета. Вместо глаза —

кровавое месиво. Каких признаний добивались? На отца Викторина? На Олимпиаду?

Митька явился к Олимпиаде Александровне домой и прошел на кухню:

— Где у вас спички?

Олимпиада Александровна подала коробок. Митька сам взял сковороду, положил на нее два листика бумаги и зажег.

Подождал, когда сгорят.

— Вот и всё. Сгорела смерть вашего брата. Признáюсь вам, я очень не люблю попов. Ваша смерть тоже в этом пепле.

Олимпиада грозно сдвинула брови:

— Это что значит, господин Иванов?

— Это значит, что я добыл-таки признания от Азаровой. Эти признания — вот они. Их уже не существует, и самой Азаровой тоже не существует. С нынешнего дня. То, что вы партизанка, Олимпиада Александровна, мы с вами знаем. То, что ваш брат помогает партизанам, я знал с самого начала оккупации. Это, — показал на сгоревшие листки, — ради Нины. Вы с нее пылинки сдувайте. А вас я — ненавижу.

И ушел.

Олимпиада оделась, побежала к отцу Викторину. У нее был пропуск — операционную сестру могли вызвать в больницу в любое время.

— Он лжет, — сказал отец Викторин о Митьке. — Если бы Клавдия Антоновна назвала мое имя или твое, Олимпиада, нас, во избежание народного недовольства, утопили бы в проруби. Клавдия Антоновна спасла нас. Претерпела мучения, но не позволила сломать себя. Помолимся!

Стал на колени перед иконами.

И заплакал:

— Господи! За мою жизнь, за жизнь матушки и сестры светлый человек заплатил своей жизнью. Господи! Господи!

Новая молитва

30 января 1943 года фашисты праздновали десятую годовщину прихода к власти.

В Людинове даже приема у коменданта не было. Праздник обернулся трауром по 6-й армии генерал-фельдмаршала Паулюса.

Именно 30 января в Сталинграде сложили оружие многие тысячи немцев, и в их числе 206 офицеров.

31 января сдался Паулюс. Убитыми и пленными Германия потеряла в Сталинградской битве четверть войск, выставленных Гитлером против Советской России.

Нина Зарецкая принесла отцу листовку. В ней было перепечатано сообщение Совинформбюро: «25 января 1943 года войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели Воронежем. Общее количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 000 солдат и офицеров».

Между Воронежем и Людиновом — Курск, Орел, Брянск. Битье немцев идет на великих пространствах. Но в Людинове все эти победы — эмоция. Сердце отца Викторина сжимала тоска. Сколько еще погибнет молодых ребят, детей и женщин здесь, в их городке, покуда придут наши...

Группа Шумавцова — растерзана.

Умер Афанасий Ильич Посылкин. А борьба вроде бы продолжается. Петр Суровцев принес батюшке из отряда текст молитвы. Эту молитву читают в храмах по всей России.

Принародно отец Викторин огласил молитву о спасении страны и народа на Сретение.

Внимало Людиново гласу своего пастыря:

— «Господи Боже Сил, Боже спасения нашего, Боже, творяй чудеса един. Призри в милости

и щедротах на смиренные рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се бо врази наши собрашася на ны, во еже погубити нас и разорити святыни наша. Помози нам, Боже Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченная Моисеем к людем Израильским: дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас. Ей, Господи Боже Спасителю наш, крепосте и упование, и заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом Своим, но в милости и щедротах Твоих посети смиренные рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: востани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а имже судил еси положити на брани души своя, тем прости прегрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления. Ты бо еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Если в первый раз отец Викторин читал молитву, совершая геройство, то уже на следующей службе моление было прощением и надеждой: да услышит Господь!

В последнюю неделю февраля инспектор Столпин привел в храм вновь набранную группу полицейских. Снова звучала клятва, в том числе царевичу Алексею, снова певчие пели: «Боже, Царя храни!»

А 28 февраля Казанский собор запылал.

Разнеслась весть: собор сжег начальник комсомола партизан Ящерицын.

И другое говорили: немцы сожгли. Батюшка Викторин для народа — опора. Молитву о спасении России в его храме поют. «Многая лета» поют — первоверховному вождю. Вождь — это тебе не фюрер.

Бенкендорф, однако, распорядился, и батюшка Викторин Зарецкий стал служить в очередь с отцом Николаем Кольцовым в Свято-Лазаревском кладбищенском храме. Народ к батюшке по-прежнему притекал.

Весна началась еще одним горестным событием.

Немцы повесили Семена Щербакова. Недолго им служил отчаянный партизан.

Случился бой. Семену велели залезть на дерево и вести наблюдение за передвижением красноармейцев. Семен приказание исполнил, но заметил, что под деревом, на котором он сидел, всего один немец с винтовкой. С дерева спрыгнул, винтовку у солдата выхватил, солдата заколол штыком. А сбежать не удалось. Винтовка — не автомат. Два раза выстрелил — и магазин пустой.

Шестнадцать лет прожил на белом свете Семен Щербаков, из шестнадцати — почти два года воевал. За Родину.

Курская дуга

Разгром людиновских подпольщиков немецкие власти оценили. Было пожаловано тридцать медалей для отличившихся полицейских.

Митька Иванов удостоился двух медалей — бронзовой и серебряной. Медаль называлась «За заслуги для восточных народов». Но Митьку, владеющего немецким языком, сверх того наградили поездкой в Германию.

В начале марта он отбыл, а в конце марта вернулся. Послушать Митьку публику собирали в заводском клубе. Митька говорил о поездке в Берлин с восторгом, будто посмотрел заграничное кино. Бенкендорф предложил написать книгу. И Митька за две недели написал. Ходил теперь в писателях.

Только праздники долгими не бывают.

В Гитлера временами всеялся Наполеон. Наполеон, напавший на Россию, мечтал о генеральном сражении, но Барклай де Толли, сохраняя армию, предпочел отступление.

С отступления начал и Кутузов.

После отъезда в армию одна дама спросила Михаила Илларионовича: как скоро он побьет Бонапарта? «Побить? Наполеона! — воскликнул генерал. — Это невозможно!» И тотчас успокоил даму: «Я его обману».

Наполеон Бородино получил. Битву он причислил к своим победам. Но поле боя осталось за Кутузовым. Русские солдаты попятились, но выстояли. Двенадцать тысяч телег увезли раненых с Бородинского поля в Москву.

Гитлер, пытавшийся, как Наполеон, покончить с Россией в одной битве, получил уже три битвы. Под Москвой потерял полмиллиона солдат. Под Сталинградом только в плен сдалось 330 тысяч, общие потери составили 1,5 миллиона человек.

Третьей битве, под окруженным немцами Ленинградом, конца не предвиделось.

И вот теперь, весной 43-го года, Гитлер уповал на «Цитадель». Один чудовищной силы удар — и Россия будет повержена.

После Сталинградской битвы под Курском образовался выступ, клин. Это было похоже на любимую немецкими полководцами «свинью», которая таранит мордой силы противника, разрывая надвое.

Гитлер и его фельдмаршалы решили отыгаться за котел под Сталинградом.

Окружить и уничтожить армии русских, победившие на Волге.

Уже в марте к выступу под Курском подтягивались тайно войска фельдмаршала Клюге, командующего группой армий «Центр», фельдмаршала

Манштейна, командующего группой армий «Юг». Всего было стянуто 50 дивизий, и 20 дивизий обеспечивали фланги. Для решающей, столь желанной битвы Гитлер собрал на Курской дуге 900 тысяч солдат. Миллиона, как под Москвой, под Сталинградом, не было. Но было 2700 танков, среди них — сверхсекретные «тигры» с непробиваемой лобовой броней, «пантеры», «фердинанды», новейшие истребители «Фокке-Вульф-190А», штурмовики «Хеншель-129». Всего — более двух тысяч самолетов, 10 тысяч орудий.

Гитлер не торопился начинать сражение. Он его лелеял.

В ответ уже 12 апреля Ставка Сталина приняла решение о переходе на Курском направлении к преднамеренной обороне. А ведь Центральный и Воронежский фронты насчитывали 1 300 000 солдат и офицеров, танков и самоходных орудий у нас было 3600. У немцев — почти на тысячу меньше. Самолетов — 2800. Больше, чем у немцев, на восемь сотен. Орудий и минометов — 20 тысяч.

Глубоко эшелонированная оборона — восемь рубежей — имела целью обескровить живую силу врага, уничтожить его самолеты, танки, орудия.

Перед партизанами была поставлена боевая задача: создать диверсионные группы и направить их на уничтожение немецких эшелонов. Людиновцы принялись за дело.

Группа подрывников Георгия Старикова взорвала Красный мост, взорвала эшелоны в районе станции Судимир.

Группа Стефашина, опять же под Судимиром, обнаружив ржавчину на рельсах — значит, движение было прекращено на какое-то время, — уничтожила 200 метров железнодорожного полотна.

Группа Ивана Копылова пустила под откос эшелон в районе Зикеева.

Группа Ивана Белова уничтожила состав с боеприпасами на железной дороге Брянск — Рославль.

Командир диверсионной группы Королев, посланный на дорогу Людиново — Киров, установил: военные грузы немцы везут в Манино по шоссе. Дорогу заминировали во многих местах. Армейские грузы полетели в небо.

Дороги, особенно железные, были жизненно важны для успеха «Цитадели».

На людиновских партизан немецкое командование бросило две дивизии. В трех партизанских бригадах весной 43-го года были две тысячи бойцов, но вокруг баз возникали селения из землянок и шалашей. Немецкие карательные батальоны, батальоны власовцев и полицаев, лишая партизан продовольствия, жгли деревни. Люди уходили под защиту своих.

Стало известно: операцию по уничтожению лесного воинства немецкое командование назначило на 20 мая.

Вот уже третий день кружит «рама» — самолет-разведчик. Летает не где попадая, а как раз над партизанскими базами.

По возможности скрытно жители деревень, помогая партизанам, роют окопы, ведут траншеи в чащобу, чтоб можно было уйти из-под огня незамеченными.

Начальник штаба Людиновского отряда лейтенант Владимир Зибров минировал подступы к землянкам.

Герасим Семенович Зайцев спросил Зиброва:

— Где Золотухин? Я из разведки возвращаюсь.

Золотухин был у себя. Паковал какие-то бумаги.

— Хочу закопать документы. Груз тяжелый. Лучше взять хлеба да гранат, да лишний рожок для автомата.

— Разумно, — согласился разведчик.

— Что, Герасим Семенович, приготовили немцы на наши головы?

— Насчитал десять танков. Самоходок не меньше двадцати. Несколько бронемашин. Всерьез за нас берутся. Главная беда — лес окольцован. Кольцо пока что просторное, но сил у них много, будут теснить, сгонять в одно место.

— Слабые звенья в цепи не углядел?

— Дивизии сняты с фронта. Нежданном ударом фронтовиков мы не напугаем.

— А власовцы?

— Думаю, тоже не дрогнут. Взяли одного «языка», молодой парень, русский. Ни единого слова не добились.

— Ну, хорошо. А полицаи?

Герасим Семенович невесело усмехнулся:

— Полицейских батальонов — то ли два, то ли три.

Золотухин поглядел на Зайцева не по-командирски:

— Думаешь, всем нам — хана?! Десять дней бы выдюжить. 30 мая обе дивизии уйдут — на отдых.

— С нами лес и Бог. А у меня, Василий Иванович, дочка по чужим людям скитается. Надо выживать.

— Надо, Герасим Семенович! — согласился Золотухин, веселея. — Ты пойдешь хорошенько. Пока не началось.

— Немцы — люди точные. У них по плану начало — завтра.

И вдруг земля вздрогнула. Поднялась, опала.

— Зибров! — в один голос сказали Василий Иванович и Герасим Семенович.

Выбежали: точно, Зибров. На своей же ловушке поймался.

В окружении

Проснулся Герасим Семенович от тяжелых взрывов. Понятное дело, 20-е число. Артобстрел.

Партизаны обувались, одевались, оружие проверяли.

Герасим Семенович сидел на своих нарах, свесив ноги, и улыбался.

— Мужики! Сон приснился хороший!

— Ты слышишь, что делается?! — рассердился Алешка Степичев, набивая пулеметную коробку патронами.

— Алеша! Мне не что-нибудь — золото приснилось. Будто я кашеварю. Все вы сидите, ждете. А я для аромату в кашу-то смородинного листа положил. Гляжу, вся каша в чугушке — золотая. И в руке у меня не смородинный лист, а березовый, золотой.

— Золото снится к деньгам, — сказал Иван Копылов. — Но в нашем случае... Должно быть, звезду Героя отхватишь.

— Как бы нам всем героями не стать... — почесал затылок Герасим Семенович. — Золотую кашу я для всех сварил.

И — уже готов, при оружии и кружку чая допивает.

Война у немцев сразу пошла подлая. Захватили партизанские землянки, а в землянках — дети, женщины, старушки. Оружия нет.

Всю эту ораву деревенских погорельцев немцы погнали в лес на партизанские окопы и засады.

— Ребята, видите? — крикнул Герасим Семенович пулеметчикам, Копылову и Степичеву.

— Не слепые. Что делать?

— Охотнички! Снайперы! Огонь! — скомандовал Зайцев.

Выстрелы грянули, а в ответ — очередь по мирному народу.

— Уходим! — скомандовал Зайцев своему отряду. Отступили, а немцы — вот они. И снова прикрываются детьми и женщинами.

— Али мы не лесники? — спросил своих Герасим Семенович. — Надо проучить эту сволочь. Пришли воевать — воюйте, а они за юбки прячутся, за ребятишек!

Зашел Зайцев со своими пулеметчиками в тыл к немцам. Целый взвод расстреляли. Позволили женщинам убежать, унести, увести детишек вглубь леса.

— Заяц, он и есть заяц! — посмеивался Герасим Семенович, уводя отряд резко в сторону и возвращаясь чуть ли не на то же самое место, откуда бежали. И снова — за спиной у немцев.

Без передыху весь день в движении, натываясь на врага и на своих мирных беглецов, не ведающих, где же им искать спасения от войны.

Завечерело. Немцы прекратили огонь. Отдых. Партизанское начальство сошло на совет.

Луговой, командир Бытошского отряда, он же — секретарь парторганизации партизанской бригады, речь сказал короткую:

— Я сам поведу бригаду на прорыв. Немцы впереди, немцы в тылу, немцы с флангов. Пробьемся — будем живы.

Еще один вопрос обсудили — о кострах. Всем и без приказов понятно: огня нельзя зажигать. В небе гудят самолеты-разведчики.

Весь день без пищи, и теперь — каши не сварить, на одном хлебушке придется жить, пока хлебушек не кончился, пока живы.

Затемно партизаны подтянулись к просеке. Но просека простреливалась из пулеметов. Спасение — в стремительности.

На левом фланге Бытошский отряд в атаку поднял Луговой. В центре — Золотухин и Алексеев.

На правом фланге в прорыв шли партизаны Жуковского и Дятьковского отрядов.

То ли безумная дерзость ошеломила карателей, а может быть, подхваченное, удесятеренное лесным эхом «Урра!», — каратели побежали, кольцо лопнуло. Партизанские отряды вырвались из леса во влажные после разлива низины, поросшие кустарником и болотными травами.

Вот только оторваться от преследователей не получилось. Немецкая «свинья» разрезала партизанскую бригаду на две части. Отряд людиновцев под командой Александра Королева и Афанасия Суровцева, спасаясь от разгрома, укрылся посреди болота, на полуострове. Это был заранее приготовленный капкан. Удары с воздуха, мины, пулеметы. В мае дни длинные. Солнце на небе, а бой затих. Партизаны не отвечали. Некому было ответить...

Выигрывая время, отряды — Бытошский, Дятьковский, Людиновский, Жуковский — слились в одну бригаду.

Прорывали кольцо за кольцом, маневрировали по лесам Брянщины.

25 мая немцам удалось снова окружить народных мстителей. Все без сил: ночью марш, днем бой, пища — консервы, вода — какая придется, боеприпасы на исходе; много раненых — их надо нести на себе.

Золотая каша

Не только партизанам — даже немцам стало понятно: идет последний бой, бой на уничтожение. Но день минул, а мстители живы, мстители сражаются. Потери среди атакующих очень даже чувствительные. Редеют роты, батальоны.

Утром 26-го, после массивной кровопролитной атаки, немцы прекратили огонь и послали к партизанам женщин и детей. С белыми флагами,

с листовками. Под честное слово немецкого командования партизанам, сложившим оружие, была обещана жизнь и достойная работа в Германии.

Передышка пошла на пользу. Партизаны собрали оружие убитых немцев, автоматы, гранаты, фляжки с водой, со шнапсом. Веселей стало. Немцы, подобравшись, неожиданно ринулись в атаку, тогда и партизаны поднялись: «Ура!» Ярость русских яростней! Немцы бежали. Оружия прибыло. На ночь глядя командиры опять сошлись на совет. Решили пробиваться ночью.

В полночь изготовились. И напоролись на пулеметы.

Утром бой закипел на горелом болоте. Партизаны потеснили немцев на сто пятьдесят — на двести метров. Но в супротивниках две дивизии. В уязвимое место перебросили пулеметы, пробиться не удалось.

Герасим Семенович в своем соседе по болотной кочке узнал Трунова:

— Александр Николаевич! Слава тебе, Господи! Живой.

Обнялись.

— Наш нынче день!

— Наш. А помнишь?

Засмеялся Герасим Семенович:

— Как такое забыть? Мы с тобой заваривали эту золотую кашу. Все схроны уцелели, все пошли на дело.

— У Золотухина глаз на людей точный. Ему бы в секретари обкома.

— Дайте срок, будет и свисток. До мира бы дожить.

Трунов даже крякнул:

— Далекко заглядываешь!

— А чего далекого? Под Сталинградом Гитлера побили. Теперь дело под Курском. Побьем, и тогда уж нас не остановишь!

— Орденок-то у тебя горячо горит, Герасим! А про какую ты кашу говорил, дескать, золотая?

Герасим Семенович улыбнулся:

— Когда 20 мая прорывались, приснилось мне: кашу я сварил — золотую. Ефимию Васильевну каша моя изумила, да и сам я в изумлении. Так это явственно было.

— У тебя крест есть? — спросил Трунов.

— Есть. Я — не коммунист.

— А я — коммунист. Вздремнуть надо, чтоб сил завтра хватило. А крест у тебя далеко?

— На груди.

— Дай мне поцеловать. Интернационал — это, конечно, могучее дело, общечеловеческое. Но я, Герасим, русский человек.

Поцеловал Трунов крестик и заснул. Губами причмокивал. Дитем себя во сне видел.

На рассвете воробьи в кусту Богу песнь спели: «Жив-жив!» И тотчас пулеметы подняли лай. Зайцев позвал к себе Копылова и Степичева:

— Смотрите, ребята, сюда! Ложбинка, кусты вверх. По ложбинке — ползком. В кусту передохнуть. Воду видите? Между кочками? Намокнете, но живы останетесь. Дальше аир, осока, камыши. И ольха, а потом краснотал. Там густо. Можно отсидеться.

— Иди первым, мы за тобой, — сказал Степичев.

— Нет, ты давай мне свой пулемет. Я отвлеку вражью орду на себя, ну, а потом догоню. Лес — мой дедушка.

Бой разгорелся. Алексеев, Золотухин и Луговой снова повели партизан на прорыв. Трунов тоже пошел. Алексеев и Луговой были убиты. Партизаны залегли. И тут пошли власовцы. Как гребешок, партизан вычесывали из леса. Шли и расстреливали из немецких автоматов саму землю.

— Ребята, с Богом! — скомандовал пулеметчику Герасим Семенович. Дал длинную очередь и тотчас отполз за пригорок.

«Какая же мерзость! — говорил он себе, выцеливая власовцев. — По своим стрелять заставили!»

Срезал атакующих, как траву. И с чудесного пригорка — вниз, в кочки. Тут его пчела и ужалила.

«Дупло, что ли, разорили? — спросил себя Герасим Степанович. — Или земляную пчелу обидел ненароком?»

А на руках — кровь.

— Не пчела. Оса стальная.

И поплыл. Увидел чугунок, полный золотой каши. Каша кипела, вываливалась через край.

— Ефимия! Ну где же ты там? Каша убегает! — крикнул Герасим Семенович и ужаснулся: гудящий рой мух кружил над золотой кашей. — Ефимия Васильевна! Мухи!

И, чтобы отогнать всю эту сволочь, приподнялся, приложился к пулемету, бил в упор, по ногам мушиным. Но вой стоял человеческий. Очередь из травы дробила кости, разрывала животы.

Сознание вернулось, глаза смотрели так ясно, как никогда. Увидел: Миша Степичев и Копылов уже в краснотале. Уйдут.

А мухи-то всё — двуногие.

— Какие вы русские! Вы — мухи. Холопы немецкие. Даже стрелять вас противно.

Но на гашетку все-таки нажал.

И понял: устал беспредельно. Без золотой каши не будет сил уйти за Степичевым. Откинулся, положил голову на локоть.

Господи! Небо!

Засмотрелся...

Чудо

Пришли старушки к отцу Викторину:

— Батюшка! Приютили мы у себя странника. Христианин. Пуля шальная сидит в нем. Исповедуй ты его, пособируй.

Послал одну из старушек отец Викторин в больницу, за Олимпиадой. Вдвоем пришли к страннику.

Открылся батюшке: под Прохоровкой попал в плен. Был в Зикеевском лагере, забрали на работы. В Шупиловке бежал. Охрана огонь открыла, пуля в ребрах. Олимпиада Александровна рану осмотрела, пуля сидела неглубоко. Сама сделала нехитрую операцию.

Раненый, хватив стакан самогонки, чтоб не чувствовать боли, повеселел, разговорился:

— Батюшка! А я ведь чудо видел. Истинное чудо. И вся наша деревня видела. Я сам-то — Белгородской земли человек. В Хлевищах жил. За день ли — за два перед большим боем на Курской дуге наши деревенские углядели в небе человека, ходящего по облакам. Человек был в черной рясе, борода седая, а в руках это самое, для сладкого дыма...

— Кадило?

— Ага! Меня сестричка из дома позвала, Нюрочка. Дверь отворила и кричит: «Мама! Ваня! Верка! Анюта! Человек в небесах!» Вышли во двор: верно. Я гляжу — у старца крест на груди огнем сияет. А сам он ходит туда и сюда. И, наклонясь, землю дымом огораживает.

— Кадит.

— Ага! Долго это было... Стали мы спрашивать: «Что за старец?» А в деревне жил потаенно монах. От него узнали: по небу ходил святой человек Сергий Радонежский.

— Как же это получается, — спросила Олимпиада Александровна, — бои на Курской дуге еще не начались, ты в деревне жил. А когда же попал в Красную армию?

— В те самые дни. Наши войска пришли. Всех парней записали в армию. В военное обрядили, а оружия не успели дать. Тут — немецкие танки. Война у меня вышла плачевная.

— Выздоравливай! Навоюешься, — сказала Олимпиада.

А батюшка подарил свой крестик солдату необученному, но испытавшему плен, концлагерь, подневольную работу, побег...

— Да хранит тебя Бог! Спасибо за чудо. Земля, которую благословил преподобный Сергей Радонежский, — земля нашей победы. Центр русской жизни. Будь ей верен.

На дворе середина августа. У немцев очередной траур. Оставили Орел, Белгород. Бои шли под Харьковом. Потери на Курской дуге снова полумиллионные.

Полициаи не пачкали своей чернотой улицы. Правду сказать, и партизаны притихли. Не могли оправиться от майского разгрома. И все-таки урон в своем тылу немцы понесли значительный. Партизаны Белоруссии и России пустили под откос четыре сотни эшелонов, вывели из строя тысячу паровозов.

Но цена побед — прежняя: жизни. Большинство бойцов, собранных Василием Ивановичем Золотухиным для борьбы с оккупантами, погибли.

А тут пошли еще чиновничьи мерзости. Стало непонятно: в подчинении кого находится отряд людиновских партизан, кто должен снабжать бойцов боеприпасами, оружием, продовольствием?

Наконец Золотухину разрешили прибыть в штаб Брянского фронта, которым командовал генерал

Попов. Генерал удовлетворил запросы партизан Людинова, но частично. Оказалось, северо-западные отряды, дислоцированные на Орловской земле, переданы в подчинение штабу орловских партизан.

Золотухин приехал в Елец, где находилось руководство области. Начальник штаба Матвеев наотрез отказался снабжать людиновцев боеприпасами: «Это дело Попова». Все, чего добился Василий Иванович, — краткосрочное свидание со своей семьей. Семья была эвакуирована в Башкирию.

На обратной дороге, в Москве, Золотухин побывал в Центральном штабе партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандующего.

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко принял Золотухина, но все его заботы были связаны с Белоруссией.

— Людиново на днях будет советской территорией, — сказал Пономаренко. — Вы свое дело сделали хорошо. Спасибо.

Руководство Людиновского района Золотухин нашел в деревне Печки.

Людиново все еще было у немцев.

Самогон

Бенкендорф пристрастился к самогонке.

— Русский самогон, умело сваренный, превосходит шотландского виски! — говорил граф. — Прелесть самогона в том, что его нужно закусывать салом и хлебом.

Самогонку граф пивал с Митькой Ивановым.

— Твоя регистрация с семьей на эвакуацию в Минск удовлетворена, — объявил командиру батальона полиции Дмитрию Ивановичу Иванову комендант Людинова майор граф Александр Александрович Бенкендорф. — Людиново Бог

создал для покоя и вдохновения. Увы! Мы жили здесь суетно, хлопотно. И не потому, что любители командовать людьми, — фронтовой город. Разведка, контрразведка... Я не могу смотреть на свои руки, хотя сам никого не губил.

Митька невольно поглядел на ладони, повернул обратной стороной.

— Советую покинуть город очень тихо и быстро. Мы — испаримся. В Минске нас ждет завод. Военный, но без особых секретов. Производит ракетницы. Я — директор, а ты, Дмитрий Иванович, получишь должность виртшафтеляйтера.

— Хозяйственный руководитель?

— Да, это так. И охрана, разумеется. Твои организационные способности неоспоримы.

Они допили бутылку до донышка.

— А вы не хотели бы проститься с Зарецким? — спросил Митька.

— Нет! — быстро сказал Бенкендорф. — Зарецкий — истинно русский человек. Мне пришлось обманывать батюшку. Ведь мы даже храма не смогли уберечь.

— Он — партизан, — сказал Митька.

— Какое это имеет значение? Он знает народ, он служит народу. Зарецкий — мое замечательное воспоминание о России.

— А Россия — уже воспоминание?

— Дружочек мой! Не строй из себя фашиста, а тем более дурака. Миллион солдат по дороге к Москве, миллион под Москвой, полтора миллиона на Волге, полмиллиона на Курской дуге. И, скорее всего, миллион — под Ленинградом. Всё это — убитыми. У Гитлера уже нет его победоносной армии.

— Но немецкий дух!

— На немецком духе мы будем теперь цепляться за города, за реки — такие, как Днепр, Дунай, Висла, Одер... Цепляться и отступать.

Бенкендорф вдруг рассмеялся:

— Митька! Ты видишь, какое коварное у русских зеленое вино.

И окаменел лицом.

— Виртшафтелейтер! Вам дано три часа на сборы. — И снова рассмеялся, пьяный, счастливый. — А то ведь придется бежать. По-тараканьи.

Слово Патриарха

9 сентября 1943 года Людиново стало советским городом.

12-го Василий Иванович Золотухин встречался с отцом Викториним.

Золотухин был усталый, у отца Викторина черты лица обострились.

— Мою дочь, Нину, вчера назвали «немецкой овчаркой».

— Людям есть за что ненавидеть немцев.

— Нина работала, рискуя жизнью. Вы это знаете.

Золотухин головой pokrutil:

— Рассекретить вас, отец Викторин, и вашу дочь мы пока не можем. Такова судьба разведчиков. Ваша слава — впереди.

— О славе разве речь? Кстати, в Лазаревской церкви я — на птичьих правах. Казанский собор будут восстанавливать?

— Разумеется. И позвольте, отец Викторин, поздравить вас с очень большим праздником для всех христиан нашего государства. Восьмого сентября на Патриарший престол Собором русских иерархов избран митрополит Сергей Страгородский. Интронизация Предстоятеля Русской Православной Церкви состоится сегодня, двенадцатого сентября.

— Тогда позвольте мне удалиться. Надо приготовить храм и душу к нынешней службе. Сегодня

день воистину великий для русского народа. Народ обрел Патриарха. Через столько-то лет. Это, Василий Иванович, наше воскресение.

Золотухин промолчал.

А спустя несколько дней отец Викторин прочитал в храме «Обращение Патриарха Московского и всея Руси Сергия к жителям оккупированных территорий». Чтение предварил словом.

— Братия и сестры! — сказал батюшка и перевел глаза с бабушек на детей, со вдов на девушек, на девочек, на мальчиков. Все как один — серьезные.

Родные лица. Измученные, но в радости.

— Нынче праздник на Русской земле. А у нас то с вами прямо-таки — Пасха. Воскресение. Нас всех Господь избрал для жизни. Уж как мы порадеем ради русской земли, ради народа русского — такой и быть России.

Батюшка смотрел на прихожан, и они все тянулись к нему взглядом.

— Церковь очень высоко ставит смирение. Да только жизнь последних лет научила нас уж так терпеть — у двужилых пупы полопались бы, а мы — ничего, но смириться мы никак не могли. Не смирились. И вот у нас, в Людинове — Россия, а не Германия, и Патриарх у нас теперь есть... Церковь в Людинове крошечная, но придет время — наши молитвы Господь услышит, даст нам много больше, чего мы желали себе и детям. А теперь — о послании Святейшего Патриарха Сергия. Оккупация стала страшным прошлым, но в слове Патриарха мы услышим высокую похвалу нам с вами и напутствие трудам нашим, жизни нашей... Войны еще много впереди. Гора. Но мы ее осилим, ибо веруем в Бога, а Бог есть Любовь. Слушайте своего Патриарха: «Пусть ваши местные партизаны будут для вас не только примером

и одобрением, но и предметом постоянного попечения». Братия и сестры! Было в нашем Людинове такое попечение?

— Было, — сказали прихожане.

— Продолжаю. «Участник партизанской войны не только тот, кто с оружием в руках нападает на вражеские отряды. Участник и тот, кто доставляет партизанам и хлеб, и все, что им нужно в их полной опасности жизни». Братия и сестры! К нам это относится?

— Да! — сказали люди.

— «Кто скрывает партизан от предателей и немецких шпионов, кто ходит за ранеными и прочее». Братия и сестры, это о нас?

— О нас, батюшка! — радостно, но уже со слезами выкрикивали бабушки и внуки их.

— «Помоги Бог и вам внести в общенародное дело все, что каждому посильно и подручно... Итак, укрепите руки ослабевшие и утвердите колени дрожащие; ободритесь, малодушные, укрепитесь, не бойтесь. Пусть самый слабый скажет: “Я силен”. Будем все мужественными. Скажем нашим врагам: “Страху вашего не убоимся, ниже смутимся. Хотя бы вы и снова собрались с силами, снова побеждены будете”. Яко с нами Бог! Тому слава и держава и победа во веки. Аминь».

Целовать крест подходили люди, волнуясь, и на каждом — на старом и малом — был свет, и все видели этот свет. И не почитали его за чудо.

Такой вот батюшка отец Викторин.

О тех, кто выжил

Из группы Алексея Шумавцова дождались освобождения Римма Фирсова и Тоня Хрычкова. Минеры. Николай Евтеев — Сокол — ушел на фронт гнать немцев с родной земли. Убит 23 декабря 1943 года.

Саша Цурилин был молод, его в армию не взяли, а Миша солдатскую шинель надел.

8 февраля 1944 года он написал последнее письмо: «Здравствуйте, дорогие мама и сестра Капа! Шлю вам свой красноармейский привет. Хочу сообщить вам, что я жив-здоров, сегодня меня выписывают из госпиталя, и я иду опять на передовую освобождать свою родную землю от фашистского ига».

Письмо пришло из Белоруссии. 10 февраля боец Михаил Цурилин погиб.

Победу над Германией добывал и добыл Виктор Апатьев. Все людиновцы воевали в составе 283-й стрелковой дивизии.

Апатьев служил в разведке. Его награды: орден Славы 3-й степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Погиб Ястреб в Порт-Артуре. Известно, что он сбежал из госпиталя на фронт. Добывали японцев. За подвиги в борьбе с оккупантами в Людинове посмертно награжден орденом Красного Знамени. Похоронен на русском кладбище в Порт-Артуре.

Нина Зарецкая, закончив школу в 1946 году, поступила в Тульский пединститут. В 1950-м распределилась в школу города Сельцо Брянской области. Жила с мамой, с Полиной Антоновной.

Нина Викторовна преподавала немецкий язык, разработала свою методику преподавания.

Правительство наградило Зарецкую орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».

Последнюю службу священник Свято-Лазаревского храма отец Викторин Зарецкий служил 18 июля 1944 года.

28 июля соборовался, причащался.

Отошел ко Господу 15 августа в 9 часов 45 минут.

Перед смертью благословил образом Богоматери «Споручница грешных» Полину Антоновну и Нину.

Батюшка — последний в ряду награжденных за работу в людиновском подполье.

А теперь — о постыдном.

Староста Свято-Лазаревского храма Титов, выслуживаясь перед протоиереем Николаем Кольцовым, изгнал вдовую матушку Полину Антонову и дочь ее Нину сразу же после похорон отца Викторина из дома под колокольной. Мать и дочь до переезда в город Сельцо снимали комнату на улице Володарского.

А как же подвиги?! Спасение батюшкой партизанских семейств от уничтожения?!

Многие из тех, кто знал о тайной деятельности людиновского священника, погибли в боях.

Золотухин за превышение власти — застрелил кого-то — был осужден на десять лет.

Но награды тоже ведь были.

Матушку Полину Антонову Господь наградил. Замечательной дочерью, внуком, закончившим факультет атомной энергетики МВТУ им. Баумана. Долголетием.

Матушка умерла 19 января 1999 года, в день Святого Богоявления. Ей было 103 года.

Всех обманувший, да суд у Бога

Из Магадана до Находки по серебряно-серому Охотскому морю — плавание изумительное, если качка нипочем.

По одному борту — немислимые просторы земли, по другому — море и Камчатка.

Александр Иванович Петров о просторах имел понятие положительное.

Плаванием по Охотскому морю начиналась новая жизнь. Начиналась санаторием. Пора было обратить внимание на здоровье. Сердце не каменное; сколько пришлось пережить, перетерпеть...

На палубе чувствуешь себя центром Галактики. Над тобой — необъятное небо, под тобой — неукротимая стихия воды, и до всей человеческой дряни уж так далеко, что за себя наконец-то не страшно.

И главная прелесть: глотнул простора, и — в буфет. С холода рюмка водки — нечто! На закуску — крабы, красная икра. Европа с ума бы сошла.

— Митя! — Александр Иванович чуть было стакешек не раздавил. — Ты что же, не узнаёшь?

Хорошая, смущенная улыбка на мордатой физиономии проступила, как из небытия.

— Саша! Горячкин!

Обнялись. Сели. Хватили по стаканчику.

— Живые, — сказал Горячкин. — Не хуже других. Я свое искупил десятью годами... Между прочим, не жалею, что сюда упрятали. Земля — воистину золотая... О тебе ничего не слышно было. Тебя, помню, Бенкендорф в Минск увез...

— На заводе работал, ракетницы выпускали. Мое дело было штатское: углем завод обеспечивать. Осенью сорок четвертого Бенкендорфа направили в Данию, а я повез Магду и ее дочь в город Калиш. Это в Польше. У Бенкендорфа там имение. Магда взяла меня на работу лесником. Места сказочные, но Красная армия — вот она. Пришлось бежать.

— А ты ведь уезжал в Минск всей семьей?

— С мамой, с братом Иваном, с сестрой Валентиной... Мы и в Польшу вместе переехали, и в Германию, в город Торнау-Зюйд на реке Мельде.

— Ничего себе! — удивился Горячкин. — Надо еще выпить. Давай-ка я закажу.

Митька медленно повел глазами по столикам. Не встретить бы знакомых... Горячкин про Петрова ничего не знает и знать не должен.

Выпили.

— Что я тебе скажу! — Горячкин даже голову пригнул. — Шумавцов и его ребята натворили дел

вдесятеро, если сравнивать с «Молодой гвардией». Я кино смотрел, книгу читал. Все геройство краснодонцев — в шахту их кинули. А наши!

— «Наши», — усмехнулся Митька. — Не тот разговор ты затеял. Не для бужета.

— Согласен. — Разлил водку. — А я ребятами горжусь. Махнем за героев?

— За героев! — согласился Митька. — Чем дольше о них не знают, тем наша жизнь спокойней.

В Находке Митька слинял от Горячкина. Героями, идиот, гордится!

До Москвы доехал без приключений, получил в Дальстрое путевку на Кавказ, в Дзауджикау.

В адресном бюро узнал, где живет Наталья Васильевна Иванова. После войны мать, Валентина, Иван перебрались в Подмосковье. Но то было десять лет тому назад.

Новый адрес матери опять же подмосковный, но по другой дороге. Станция Востряково.

Дверь открыла мама:

— Митя?

Он стоял с чемоданом. Опустил чемодан. Опустил руки. Опустился на колени.

— Пошли. Накормлю. Я обед сварила.

Еду подала в комнату. Села напротив.

— Мама, у меня настоящие документы. Чистые. За них заплачено семью годами магаданских лагерей.

— За Людиново сидел?

Митька взял ложку.

— Лапша из курицы. Твоя лапша.

Ел, прикрыв глаза.

— Мама, я твою лапшу помню, когда жили в Бутчино, на мельнице.

Коснулась рукою головы сына:

— Матерый стал мужик... За Людиново сидел?

— Нет, мама. Проводником работал. В Тбилиси. Грузины воровать научили. Возили шампанское.

Полагается процент «боя». Этот «бой» — продавали. Меня пристегнули к делу, дали пятнадцать лет.

— А полицаям дают десять.

— Не таким, как я! — судорожно вздохнулось. —

Семь лет отсидел. Зачли. Был передовиком. На свободе закончил курсы. Я — шофер третьего класса, бульдозерист. Мама, у меня жена. Еще не расписались... Хочу в Москве завербоваться на Дальстрой. Это совсем другие деньги. Вернусь в Усть-Неру, к жене, деньжат заработаем, а потом уж — в Россию, где потеплей. К Якутии привык, жить можно.

— Ты в Усть-Нере и сидел?

— Заканчивал срок. Сначала меня упекли в Сольвычегодск, потом — в Нижнюю Туру, на Урал. А Якутия оказалась то что надо.

Мать смотрела, как сын обедает.

— Будто отец за столом... Одну ночь можешь побыть. В Нахабино к нам энкавэдэшник приезжал. Тебя ищут. Я от греха поменяла жилье. — Глаза заблестели вдруг. — У жены-то внучка моего не оставил? Как зовут жену?

— Татьяна. У нее сын от первого мужа. Пять лет мальчику. На всякий случай запомни: я — Петров Александр Иванович. Родина моя — Смоленск. Мать — Мария Ивановна, отец — рабочий депо — Иван Афанасьевич. Адрес родителей — Советская, дом 23. Дом одноэтажный, деревянный.

Наталья Васильевна поднялась со стула, сняла икону со стены, прижалась к иконе лицом.

— Богородица! За что нам такое? Мы — работали, мы хлеб растили, зерно мололи. — Положила икону на подоконник. — Митя, ты бы мог быть очень хорошим человеком.

— Бенкендорф меня ценил.

— Бенкендорф! Он — сатана.

Уже в постели Митька попробовал охватить сердцем ли, душою, жизнь матери. Голова

закружилась, почувствовал — засасывает. А карусель, беспощадная, во все небо.

Глаза боялся закрыть. И, должно быть, заснул. Глаз не смежая.

Грехи каменные

Подмосковная электричка Иванову-Петрову — бюро знакомств. Пожалел женщину, помог донести сумки до квартиры, и вот она, сердечная теплота, — москвичка приютила одинокого.

— Какая церковь дивная на вашей улице! Я смотрю, люди идут, идут. Должно быть, намоленная! — выказал благочестие вчерашний зэк.

— Это же — Преображенская! В нашей церкви Патриарх служит. Певчие — из Большого театра. Сам Козловский поет.

— А внутрь пускают?

— Церковь открыта для всех. Сходи, поинтересуйся. За мое здравие записочку подай. Помнишь, что я — Валентина? Всю службу не стой! Я — скупливая.

Церковь золотыми цветами расписана, иконы — огромные, а очередь — к малой, да зато — чудотворной. Казанской.

За свечами тоже очередь. Здесь как раз записочки подавали.

Вписал имя матери, сестер, хозяйки квартиры, Горячкина — «Александр». А вот как себя назвать? Тоже ведь теперь — Александр.

В Красной армии служил и даже воевал под именем Николай.

Рука дрожала, но вывела: «Дмитрий».

Оглянулся — все заняты своей родней.

— Записки подавать и свечи ставить — слишком легкое дело, — сказала Митьке женщина со строгими глазами. — Надо исповедаться и прича-

ститься Святых Даров. Болезни как рукой снимает. Жить легче.

Послушался, пошел, куда показали, занял очередь. Монах в шелковой рясе, роста громадного. Руки белые, а в лице уж такая белизна, будто под кожей не кровь, а сливки.

Митька знал: Бог простит, если правду рассказать. А не простит, так хотя бы от князя тьмы по своей воле отгородишься.

Очередь двигалась. Монах накрывал головы исповедующихся, что-то говорил, улыбался.

«Нет! — сказал себе Митька. — После исповеди взаправду до дверей не успеешь дойти. Храм патриарший, охрана та же самая, что в Кремле и на Лубянке».

Вернувшись, посетовал на дебелих старцев. Валентина согласилась с Александром Ивановичем. Повезла на другой день своего нечаянного мужичка в монастырь.

Инок, изможденный постами, вселял доверие в душу. Назвался Николаем. Каялся, однако, за Митькины грехи. Начал с Минска. Работал-де на заводе немца Бенкендорфа, у жены его, Магды. Это уже в Польше. А когда Красная армия настигла беглецов в Германии, выдал себя за военнопленного, уроженца Гомеля. Попал в саперный батальон. Воевал на совесть. Чехословакию освобождал. Все бы, конечно, хорошо, но война закончилась, и стрелковый корпус перевели в Овруч, под Киев. Казармы ремонтировали. Тут сержант-писарь шепнул по пьянке: контрразведка тобой интересуется. Говорил Митька монаху, как было:

— За часики золотые получил я от писаря красноармейские чистые книжки, денежные и довольственные аттестаты, проездные документы — махнул в Киев. Из Киева — в Харьков, из Харькова — в Тбилиси.

— Тюрьма — твоя спасительница, — сказал монах и обеими руками оттер лицо свое. — Ты начинай исповедь сначала, ибо конец твоего пути мне ведом.

— Я был полицаем, — сказал Митька. — Ловил партизан, допрашивал.

— Уродовал молодых ребят, насилывал дев... Убивал.

— Война. Я ведь и спасал многих. Священника мог бы арестовать, его сестру. Не тронул. Бить — били, признаю. Так ведь мальчишки и девчонки минами игрались.

И увидел: старец смотрит на его руки.

— Греха «вообще» не бывает. Надо отвечать за каждый.

— Называть все — месяца не хватит.

— Это я вижу, — старец прямо-таки вглядывался в Митькины руки.

— Ну ладно, — согласился старший следователь и голос потерял. Шепотом пришлось говорить: — Моя мать шестерых родила. Два брата и сестра ушли на фронт. Я был у немцев. Еще один брат тоже хотел немцам служить, его партизаны убили... Скажи! На матери за меня, окаянного, вина лежит? Ей держать ответ за сына? Старик! Я ведь хочу жить семьей, трудом, хочу детей родить... А то, что со мной было... Это была работа. Генерал приказал, мои подчиненные исполнили — детей постреляли.

Монах вдруг сказал:

— Я был снайпер. Мой счет — за сотню. Но моя война — избавление Родины от врага. Твоя война — корысть.

— Я — мстил!

— А сколько у тебя тайников? Часы, кольца, серьги? Приготовь себя к исповеди. Мне тоже надо помолиться, чтобы слушать тебя.

— Неужто есть путь спасения для таких, как я?
Но старец ушел в алтарь.

Память и памятники

В Александре Ивановиче Петрове на Павелецком вокзале 10 ноября 1956 года некий гражданин опознал полицая Дмитрия Иванова. Это был спектакль госбезопасности. За квартирой матери Дмитрия Иванова вели наблюдение. И сын к матери пришел.

Судила Иванова Калуга, расстреляла Москва.

21 июля 1957 года приговор Калужского областного суда был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме.

12 октября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Шумавцову Алексею Семеновичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Другим Указом в тот же день посмертно были награждены: Апатьев Анатолий Васильевич, Лясоцкий Александр Михайлович, Хотеева Александра Дмитриевна, Хотеева Антонина Дмитриевна. Все — орденом Ленина.

Посмертно — орденом Красного Знамени — Азарова Клавдия Антоновна, Апатьев Виктор Иванович, Евтеев Николай Георгиевич.

Ордена Красного Знамени удостоены Михайленко (Хотеева) Зинаида Дмитриевна.

Красной Звезды — Ананьева (Хрычикова) Антонина Васильевна, Вострухина Мария Кузьминична, Зарецкая Олимпиада Александровна, Савкина (Фирсова) Римма Дмитриевна.

И только в 2007 году медалью «За отвагу» посмертно награжден протоиерей Зарецкий Виктор Александрович, а в 2008 году медалью «За отвагу» награждена и его дочь Нина Зарецкая.

Бессмертная слава...

В Людинове улицы носят имена героев-комсомольцев: Шумавцова, Лясоцкого, Апатьева, сестер Хотеевых.

Возле Казанского собора, в парке — памятник людиновским подпольщикам.

Бюст Шумавцова на станции Людиново II, памятник на месте расстрела партизанских семей.

Памятник на месте гибели Алеши Шумавцова и Саши Лясоцкого.

Написаны брошюры. Основательная книга Теодора Гладкова и Юрия Калиниченко «Людиново — воздание и возмездие».

Поэт Владимир Котов сочинил поэму «Сердце помнит их».

Возрожден Казанский собор. В соборе есть музей с витриной, где собраны материалы об отце Викторине Зарецком — священнике, партизанском разведчике.

Последнее

Брянский лес — образ. Сама природа — воин. Застава. Ненастья — с Запада, и войну наносит на нашу землю с Запада.

Брянский лес для Брянского — сказочная глухомань. Стена сосен, хранящая тайну и древность. Обитель святых старцев-молитвенников.

— Такие вот нынче — Брянские леса! — Батюшка Алексей показывает на бросовое до горизонта место: березки, как волоски на бородавке, щетины кустарника по низинам. Батюшка вздыхает: — Здесь боры стояли великие.

До сосен мы все-таки доехали. Но вместо Брянского леса, символа непостижимой вечности и такой же непостижимой русской души, — маячило перед внутренним взором дерево-сирота.

Листва, за которую страшно. Осенняя. Опадающая. Вот он, образ нашего времени.

— Куява! — Батюшка остановил машину.

Казенный, старой постройки дом, словно увядший. Поговорили с женщиной. Приезжая. О прошлом Куявы ничего не знает.

Станция заброшена, растаскана.

Прежняя, где четверо мальчиков дали бой батальону СС, сгорела, а эта, возобновленная, сама похожа на убитую.

В Думлово веселее. Голубой, аккуратно обшитый тонкими досками домик Герасима Семеновича Зайцева. В нем живут чужие. Летом. Большинство домов — собственность дачников.

Вечером батюшка Алексей пел народные песни:

Долина-долинушка,
Долина широкая,
Ой, люли-люли да любовь!

Батюшка собрал старое рукоделье, платья, рубахи, платки, рушники. Прабабушки, прадедушки красоту сами творили, без красоты жизни не чаяли.

Отец Алексей — хранитель Родины.

Без рубля в казне начал он восстанавливать Казанский собор, и вот собор уже дарит чудным светом прихожан. Чтимая Людиновская икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих» в хрустальном киоте. Девятое февраля — праздник возвращения чудотворного образа народу Людинова. Для здешней земли Богородица — Благодатный Покров и Стена Нерушимая. Икона, слава Богу, дома, но воротится ли на Брынскую, на Брянскую землю сокровище России, стена России, сказка русская — лес, Брынский, Брянский?

В доме батюшки мы говорили о бедах лесного хозяйства — это всего лишь одна из бед русского

народа — с лесником Валентином Андреевичем Сныткиным. У немцев в ловцах партизан были две дивизии, батальоны полицаев, батальоны власовцев, но отряд все-таки уцелел.

Сегодня полка хватило бы перебить мстителей. Нет у нас больше великого леса! Пилят корабельные рощи, продают бесценное, покрывают воровство пожарами. А самое страшное — лес, загрязенный людьми, загроможенный упавшими деревьями, умирает, ибо заражен всеми страшными болезнями дерева.

Какие рубки ухода?! Какие посадки, школы? Три лесника на огромный партизанский край. Сныткину, с которым мы о лесе плакали, 80 лет. Человек могучий, но ведь — восемьдесят!

Немцам, завоевателям, сокрушить русскую крепость — Брынский, Брянский лес — оказалось не по силам. Войне — не по силам. А вот для поборников капитализма, для Кремля с орлами, с крестами... был бы рынок. Богатых прибыло — победа, убыл — лес? Вырастет. Нет, господа, убитый лес если возродится — так через сотни лет.

Повез меня отец Алексей в Черный Поток — в семейное свое гнездовье.

Изумительная часовня, недавно поставленная уроженцами деревни на сельском кладбище, — уже нынче святая память древнему поселению.

Обвалившиеся крыши, крылечки без ступенек.

У большого дома — когда-то ведь был гордостью хозяина! — встретила нас одинокая старушка, согбенная. Батюшке она — родственница. Позвала пить чай, но вечерело, батюшку ждали в городе.

Эта оставленная народом земля, за которую умирали в сражениях с Ордой, с литовцами, с французами, с немцами, — она ведь моя гордость, гордость русского человека, богатство моего народа, мое богатство, моих потомков? И содрогнешь-

ся! Неужто это и есть земля моих предков? Но другой нет. Она. Она, что ни век поливаемая русской кровью, дабы взошла поросль племени, чтобы был в семьях *на-род* и была бы земля весела от родной речи, от голосов детишек.

Услышит ли Господь молитвы наших пастырей? Наши молитвы, усердные, горячие...

Сколько народу полегло в эту землю — родительницу нашу — в Великую войну?! Тут хоть целый век копай, и будешь упираться в кости.

Кто же нас победил? Экая загадка! Те, кто труда народ лишил. Труд и право на жизнь — одно понятие.

Для кого освобождаем от себя землю нашу? Враг России — как змий. Он и есть змий. Не торопится объявиться. Объявился бы — поднялись, в куски бы изрубили. Нет! Змий таится. Ждет, когда вымрем, когда будет сокрушен народ беспамятством. Водка, льющаяся в глотку, пиво — много хуже раскаленного свинца.

Батюшка Викторин Зарецкий сражался с немцами за Родину.

Батюшка Алексей Жиганов — поет песни с женщинами, не забывшими эти песни. Возрождает храмы. Окунает в купель младенцев, входящих в мир на Людиновской земле.

Живы. Живем. Выживаем.

Алеша Шумавцов, Тоня и Шура Хотеевы, Саша Лясоцкий, Толя Апатьев — они ведь смотрят на сверстников Людинова. Недоуменно.

Когда вернулся из Людинова, у меня появились вопросы к митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту. Рассказал я о поездке, вырвалось:

— Владыко! Старушка согбенная в оставленном людьми Черном Потоке, для меня — образ нынешней России.

Владыка взял листок бумаги, что-то долго рисовал и отдал мне.

Дом. Крыша с двух сторон рухнула. Посреди — заплата. На крылечке — женщина.

— Это я видел, когда пересекал Рязанскую землю по дороге в Калугу, — сказал владыка. — Проехать не удалось, дорога была разворочена и заросла.

Россия без России для владыки — личное горе. Лицо высокопреосвященного было спокойно, в самой осанке с ее монашеской замкнутостью и в глазах я не увидел обреченности.

Да не оскудеет в нас вера.

Не оставим Господа, и Господь не оставит нас.

Не обмельчаем в любви к России, любовь-то и возродит нас для великих трудов, Родины ради.

Все Воинство Небесное с нами. И среди этого воинства — юноши и девушки Людинова, верящие в нас, потому что за нас отдали жизни, и с ними отец Викторин, пастырь.

Глаза предков — зрячие. Нельзя нам быть слепыми. Сие — непозволительно для русского человека.

Содержание

Слово к читателю	3	Оккупация	104
Людиновский батюшка	5	Пистолет в грудь	111
Благословение	11	Двоенко	117
Вечер семейного счастья	17	Безвременье	122
Сражение на футбольном поле	22	Просохнет ли роса? . . .	125
Проповедь	32	Темная лужа на асфальте	128
Старец	37	Как простак умных надурил	132
Грозовые песни	40	«Будем!»	137
Дела не для погляду . . .	47	Разведчица	141
Молитва в святом месте	50	Самозванство	148
Тетеревиная охота	55	Непобежденная	154
Опасные стихи	58	Немецкая карта	159
Ночь песен	63	Керосин	162
Война	67	Хождение не зазря	164
Проводы	69	Как немцы сами себя проучили	167
Государственная тайна	73	Час правды	171
Учеба	78	«Облекся»	175
Орел	80	Внук и бабушка	180
Обман ради высшей правды	85	Русские мальчики	181
Еще бы миг, и жизнь ждала иная...	90	Панихида	185
Отдание Воздвижения	95	«Получилось!»	189
Немцы	98	Партизан Лиза	192
		«Митя»	194

Прием у коменданта . . .	200	Ростовский	321
«Ночь перед Рождеством»	206	Война минеров	326
Несчастья Ивановых . . .	209	Агеевка	329
Утрата	212	Оккупированное лето . .	332
Советская жизнь	217	Гибель своего от своих . .	337
Орел и ворон	221	Соцкий и пролитая кровь	339
Щука	225	Карьера предка	343
Откровенная беседа . . .	227	С крестом по Людинову	347
Следователь Иванов . . .	233	Каины	350
Начало минной войны	235	Победы графа Бенкен- дорфа	352
Бой в Мосеевке	237	«Тонкая операция» Тай- ной полиции	356
Выкуп	241	Провокация	358
Сретение	244	Директор лесного банка	360
Смерть агента	247	Гибель подрывника . . .	364
Переводчица	250	Тяжелая жизнь подпо- лья	367
Блины	254	Митькино геройство . . .	371
Семен Щербаков	256	Глава вместо Примеча- ния	374
Диверсии	259	Трагический просчет . .	376
Большая мина	262	Горькое письмо Непо- бежденной	378
СС и русские мальчики	264	Цена доверчивости	380
Беспризорник Щербаков	271	Служба в Колчине	383
Прогулка с желтыми подснежниками	273	Новоселье	385
Допрос на дому	277	Провал	387
Работа Иванова	281	Кнуты и пряники	390
Непрошенные гости	285	Допросы	394
Браслет из платины	288	Лясоцкие и Рыбкины . .	402
Исповедники	293	Казнь	405
Мины к празднику	298	Верить своим	408
Побег из баньки	301	Расстрелянный Рыбкин	412
Лесник Царьков	304	Непутевый провал	415
Майские беды 1942 года	309		
Самолет со звездами . . .	311		
Война и вера	314		
Разведчицы	317		

Арест К. А.	419	Самогон	442
Многая лета!	421	Слово Патриарха	444
Ложь и правда	424	О тех, кто выжил	446
Новая молитва	427	Всех обманувший, да суд у Бога	448
Курская дуга	429	Грехи каменные	452
В окружении	434	Память и памятники . .	455
Золотая каша	436	Последнее	456
Чудо	440		

*Книга издана при содействии
администрации г. Людиново и Людиновского района
и предпринимателей Олега Потапова, Алексея Хопченко,
Андрея Петрова, Олега Савинова и других.*

Религиозно-просветительское издание

Владислав Анатольевич Бахревский

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

**Герои Людиновского подполья
в годы Великой Отечественной войны**

**Заведующая редакцией
духовно-просветительской литературы**

Т. Тарасова

Редактор М. Панфилова

Технический редактор З. Кондрашова

Корректоры А. Артамонова, Т. Горячева

Верстка М. Алимбиев

Дизайн обложки С. Головки

Подписано в печать 15.08.2012.

Формат 84 x 108 1/32.

Объем 29,0 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 3 000 Заказ № 2038

Издательство Московской Патриархии

Русской Православной Церкви

119435, Москва, ул. Погодинская, д. 18.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»

105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Оптовый отдел реализации:

(499) 246-20-85, 246-52-08

Магазин: (499) 245-30-68

E-mail: books@rop.ru; Http://www.rop.ru



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от славного Дня Победы, когда в мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война и в дома миллионов людей по всей Земле пришли мир и спокойствие. Нашим народом была принесена неоценимая жертва — десятки миллионов людей отдали свои жизни, боль и страдания вошли в каждую семью, но ничто не смогло заставить людей отказаться от любви к Богу и Родине. Люди разного сословия, в том числе и священнослужители, со дня объявления войны шли защищать свой дом, свои святыни, свою веру. Одной из ключевых фигур Людиновского подполья был протоиерей Викторин Зарецкий. О его подвиге в советское время не говорили, имя его не упоминалось и в учебниках истории. Но прошли те времена, и сегодня мы имеем возможность ознакомиться с историей непростого жизненного пути священника Русской Православной Церкви, его семьи, близких и знакомых, которые ценой собственной жизни, не жалея сил, помогали партизанам в нелегкой борьбе с немецкими захватчиками.

*Председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви
митрополит Калужский и Боровский
КЛИМЕНТ*